

Ольга Денисова

ОДИНОКИЙ ПУТНИК





Ольга ДЕНИСОВА



ОДИНОКИЙ ПУТНИК

УДК 82-3
ББК 84.445
Д33

Редактор *Елена Липлавская*

Денисова Ольга Леонардовна
Д33 Одинокый путник: роман. – СПб.: Издательство
Сморода, 2013. – 354 с.

ISBN 978-1484853900

Лешек обладает волшебным даром — его песни бере-
дят людские души. И хотя вырос Лешек в монастыре,
он — внук волхва и не станет служить чужому ревнивому
богу.

Пронзительная история о временах двоеверия, о по-
бедоносном шествии по земле христианства, о последних
волхвах и колдунах, убитых, сожженных, стертых с лица
земли вместе с их книгами, их Знанием, их «сказками о
богах» и «мудростью волшебной».

УДК 821-3
ББК 84.445

ISBN 978-1484853900

© *Ольга Денисова*, 2012

И уходит где-то в направленье юга
Одинокий путник в январе холодном...

Ё-вин (Лина Воробьева)

Ветер дул с севера — ледяной, резкий, он принес с собой колючую снежную крупу и дышал жестоким холодом. Лес выл под его ударами, трещал сорванными сучьями и швырял их на лед реки. Тучи неслись по небу, как кони от степного пожара, меж ними мелькала полная луна, от чего по земле бежали мрачные тени. Во тьме мерещились зловещие крики, хохот, рычание, конский топ и ржание огромных коней, под копытами которых дрожит земля.

Лёшек шел и улыбался. И если сначала его била крупная дрожь — не от страха, от возбуждения, — то теперь ее сменила невероятная легкость. Пожалуй, он был счастлив. Он не хотел думать о том, сколько ему придется пройти, имея два стакана пшена и огниво. Он не хотел думать о холоде, пронизывавшем его полушубок, о ветре, обморозившем лицо и руки, которые он старательно втягивал в узкие рукава, о поземке, заметающей наезженный санный путь, об одиночестве и голодных волках, которые, наверное, наблюдают за ним из леса.

Он не знал, который час, а рассмотреть звезды сквозь обрывки туч не успевал. Судя по тому, как повернулась луна, он шел около пяти часов, а это значит, что в монастыре уже проснулись и обнаружили его исчезновение. А если они заметили пропажу хрусталя, то, возможно, и снарядили погоню. И от этого ему вовсе не было страшно, наоборот, ему хотелось, чтобы Дамиан понял, кто унес хрусталь, чтобы он топал ногами и орал на всех, кто подворачивается ему под руку, размахивал плетью и скрипел зубами от злости. И мысль эта заставляла Лешека улыбаться еще шире.

Ветер дул ему в спину.

Между тем архидиакон Дамиан, ойконом Усть-Выжской Пустыни, вовсе не топал ногами, не орал, а разве что скрипел зубами. Если авва узнает о том, что хрусталь исчез, был украден, то, пожалуй, виноватым окажется сам Дамиан, если не успеет изловить вора.

По своей сути Дамиан был так же далек от служения Богу, как авва — от потворства блудницам, и, наверное,

поэтому так и не получил сана иерея, но, волею судьбы оказавшись в монастыре, сумел высоко подняться и здесь. От приютского мальчика до бесправного послушника, от новоначального до настоятеля приюта — к сорока пяти годам Дамиан добрался до вершины и стал, по сути, воеводой Пустыни. Хотя должность эта и называлась по старинке «ойкономом», на плечах его в первую очередь лежала забота о силе монастыря, охрана его рубежей, расширение земель и лесов, приносящих обители доходы. И если пришлые разбойники опасались трогать хорошо укрепленный монастырь, то постоянные стычки с людьми князя Златояра заставили авву согласиться на содержание дружины, монахов-воинов, хорошо вооруженных и обученных.

Монастырь стал тесен Дамиану, подниматься выше было некуда (а он отлично понимал, что аввой ему не стать никогда), оставалось только расти вместе с монастырем, что вполне устраивало авву, из соперника превращая в союзника. Не то чтобы отец-настоятель мог поколебать достигнутое Дамианом могущество, но выступить против него в открытую означало ни больше ни меньше разрушить Пустынь, превратить ее из монастыря в мелкое княжество, а этого Дамиан не хотел, во всяком случае пока: монастырский устав с его жесткими законами, иерархией, послушанием позволял править им не задумываясь о настроениях насельников.

Крусталь примирял честолюбие Дамиана и стремления аввы, они оба нуждались в нем, каждый по-своему, и его исчезновение означало возвращение к давнему противостоянию, в котором Дамиану не суждено было взять верх.

Он обнаружил пропажу сразу, едва слышал било, созывавшее братию на службу. Сам Дамиан давно получил разрешение молиться в своей келье, и только тогда, когда появляется время, свободное от многочисленных праведных трудов на благо обители, однако он привык вставать рано, поэтому просыпался зачастую задолго до подъема братии.

Сундучок был открыт, как будто вор хотел, чтобы исчезновение крустала заметили немедленно. А может, побоялся щелкнуть замком еще раз. А может, просто забыл, по глупой неопытности.

Робкий стук в тяжелую дверь просторной светлой кельи заставил Дамиана вскочить и захлопнуть крышку сундучка — посторонним незачем знать о пропаже.

— Кого там принесла нелегкая? — проворчал он себе под нос. — Входи!

Благочинный — разжиревший на доходах Пустыни иеромонах — робко сунул пуговичный нос в щелку: Дамиана побаивались все, зная о его крутом нраве и привычке впадать в ярость по пустякам. Дамиан же терпеть не мог толстяков, особенно мелких ростом. Сам он был сухощав (хотя и прикладывал к этому немало усилий), высок и широк в плечах.

— Доброго здравия, отец Дамиан, — тихо, с придыханием начал благочинный. — Я бы не решился тебя потревожить с таким пустяком, но, зная твою щепетильность в подобных вопросах...

Дамиан поморщился:

— Зайди и закрой двери.

Благочинный снова кивнул, шумно сглотнул и с усилием прикрыл тяжелую дверь.

— Я бы не стал... но такого у нас давно не случалось...

— Ну?

— Ушел послушник Алексей, певчий, тот, которого ты привез два месяца назад... Ну, которого похитил колдун и...

— Я понял, — грубо оборвал Дамиан. — Куда он ушел?

— Я... Я не знаю. Он ушел из Пустыни.

— Как? Куда он мог уйти? Что ты несешь?

— Вот, — благочинный протянул клубок тряпок.

— Что это? — Дамиан поморщился.

— Его вещи. Переделся в мирское и ушел. И сказал, что ни секунды здесь больше не останется. — Благочинный перешел на шепот: — Он сорвал крест...

— Ты понимаешь, что говоришь? Куда он уйдет? Январь! Кругом лес, за окном метель, он заблудится и замерзнет еще до рассвета! И где он взял мирскую одежду?

— Украд у келаря, наверное...

Дамиан, разумеется, помнил послушника Алексея, которого два месяца назад нашли и вернули в монастырь после восьмилетнего отсутствия. Лешек — заблудшая душа, Лешек — дар божий. И за его волшебный голос экклесиарх, старенький отец Паисий, прощал ему заблудшую душу, равно как и все

остальные прегрешения. Высокий, худенький, этот Лешек более всего напоминал отрока, хотя от роду ему было что-то около двадцати — он всегда выглядел моложе своих лет, Дамиан запомнил его еще в приюте. Тот и ребенком отличался от сверстников, простеньких крестьянских мальчиков, чем уже тогда приводил Дамиана в раздражение: мальчик вызывал у него странный подспудный страх, непонятное стремление спрятаться от взгляда его огромных светлых глаз, как будто укорявших в чем-то. Глядя на это дитя, Дамиан испытывал чувство вины, и, наверно, именно поэтому его преследовало желание запугать, заставить опустить глаза, пригнуть голову мальчика к земле... Только от чувства вины это не спасало — по сравнению с другими приютскими детьми тот и так был запуган без меры, потому что отставал от сверстников по росту, и нравом обладал слабеньким, слабая который ничего не стоило.

В детстве певчий напоминал кутенка, сосущего молоко из брюха матери: младенческие безвольные чуть приоткрытые губы; бесхитростные, как у гукающего грудничка, движения тонких пальчиков, постоянно что-то перебиравших; продолговатая ямочка на подбородке, которую мальчик все время пытался разглядеть рукой; узкие плечи, которые Дамиан мог полностью покрыть ладонью. Взгляд, всегда удивленный, из-под длинных, загнутых вверх ресниц стремился куда-то вдаль, и по гладким волосам цвета зрелого каштана так и тянуло провести рукой.

Лешек — дар божий... В придачу к никчемно-умилительной внешности отрок имел поистине ангельский голос. Гости монастыря (а среди них попадались богатые и влиятельные люди) таяли от его пения и пускали сладкие сопли. Что говорить, и сам Дамиан, слушая волшебный голос ребенка, чувствовал, как нежно ломит грудь и как обрывается дыхание и влажные глаза поднимаются к куполу церкви... И это тоже приводило архидиакона в бешенство: ему казалось, что не он, тогда настоятель приюта, имеет полную власть над приютским мальчиком, а тот владеет его душой. А этого Дамиан вынести не мог.

Пустынь не имела ни одной из святынь, являвших миру чудеса: ни исцеляющих мощей, ни целебных источников,

ни чудотворных икон. Хотя богомаз был, и неплохой, а иконы его украшали церкви не только на землях монастыря, но и далеко за их пределами, однако ни одна из них не мироточила, не помогала от болезней, не спасалась сама собой от пожаров — в общем, никаких волшебных странностей не обнаруживала.

Но, несмотря на это, Пустыни было чем привлечь знатных гостей: монастырь славился своим хором. Его наставник — экклесиарх Паисий — обучался на Атоне и сам когда-то обладал хорошим голосом, но, главное, умел найти способных учеников, обучить их крюковой грамоте, поставить голос: пел его хор чисто, слаженно и красиво. Настолько красиво, что послушать его приезжали из самого Новограда, и из Удоги, а однажды — и из далекого Оленца. И, конечно, оставляли серебро!

В детстве отрок Алексей был украшением хора, его жемчужиной, и когда обитель потеряла его, ничто не могло утешить экклесиарха. Но с тех пор как Пустынь обрела его снова, Паисий, убедившись в том, что сломавшийся голос не утратил волшебной силы, ходил счастливым; Дамиан же рассчитывал с его помощью приобрести для монастыря сильных покровителей.

Послушника забрали у колдуна вместе с хрусталем.

— Келаря ко мне, и очень быстро! — выплюнул Дамиан благочинному в лицо. — И певчих, и послушников, которые видели, как он уходил.

— Всех? — присел благочинный.

Дамиан прикинул и кивнул:

— Самых толковых. Человек пять, не больше. Только очень быстро. И... не надо чесать языками!

— Я понимаю, я только тебе...

— Да ты-то только мне, а остальные? Лишние разговоры пресекать!

— Понял...

Ну как эта мокрая курица будет пресекать разговоры? Вот когда сам Дамиан был благочинным, никто не смел ослушаться приказа. Потому что каждый знал: его сосед по келье может первым доложить об этом многочисленным помощникам архиерея.

Через полчаса, вытряхнув душу из доверчивого келаря и отупев от допроса безголовых певчих, Дамиан

спустился во двор, с удовольствием вдохнул свежий морозный воздух и направился к сторожевой башне. Еще не рассвело, но ветер потихоньку стихал: день обещал быть солнечным и холодным.

И этот щенок посмел! Он посмел войти в келью к спящему ойконому, открыть дверь, мимо которой и благочинный проходил на цыпочках! Он обманул келаря, сказав, что за одеждой его послал отец Паисий. И тот поверил! Потому что никто из насельников не решился бы на обман, и келарю в голову не могло прийти, что парень нагло лжет!

И ни один из послушников не побежал докладывать об его уходе, ни один! Ну, это на совести благочинного, с ними со всеми придется разобраться отдельно.

Щенок, мальчишка! Дамиан не ожидал такого поступка, и от кого? От жалкого певчего, труса и слюнтяя, который два месяца ходил втянув голову в плечи, радуясь, что его не убила вместе с колдуном. Такого не случилось никогда, с тех пор как Пустынь встала на берегу Выги! Да, кто-то уходил, и уходил тайно, но летом, летом, не зимой! И уж тем более не прихватывал с собой монастырского добра. И не срывал креста на глазах двадцати человек, и не произносил речей, от которых послушники теряли голову. Как же можно было так ошибиться? Пригреть змею на груди? Это все Паисий — он взял мерзавца под крыло!

Дамиан со злостью распахнул дверь в трапезную сторожевой башни (с некоторых пор его собственная «братия» начала и трапезничать отдельно от остальных монахов). За столом дремал только один дружник, в грязном подряснике, подложив скомканный клубок под щеку. Дамиан покрепче хлопнул дверью, не желая тратить время на выволочки: понятно, что вчера братья пили и вели непристойные беседы чуть не до самого утра.

— Всех сюда, быстро... — прошипел Дамиан сквозь зубы, когда проснувшийся монах вскочил на ноги.

Может быть, они были не дураки пожрать и выпить, но по приказу ойконома умели действовать без промедления: не прошло и двух минут, как молчаливые воины-монахи, мрачные с похмелья, расселись за столом.

— Сегодня ночью Пустынь покинул послушник

Алексий, Лешек — заблудшая душа, — тихо начал Дамиан, — он ушел и унес принадлежащую мне вещь, очень важную для обителя вещь. Перед уходом он сорвал крест и произносил богохульные речи перед другими послушниками. Найти мерзавца. Любой ценой. И притащить сюда. Живым.

Братья многозначительно переглянулись, но не произнесли ни слова — ни удивления, ни вопросов не было на их лицах, и Дамиан в который раз порадовался, каких славных воинов ему удалось выпестовать своими руками. Многие из них стали его дружиной, будучи приютскими мальчишками, многие пришли в Пустынь послушниками, некоторых (лучших) он сам привел со стороны, соблазнив сытой жизнью в стенах монастыря.

— Следы вокруг обителя наверняка замело, но в лесу их можно отыскать, — продолжил архидиакон, усевшись во главу стола, — но если он не дурак, в чем я сильно сомневаюсь, он пойдет по реке, это его единственная возможность выжить. Поэтому разделитесь, пусть большинство двигается на север, обыскивает озеро и лес, а небольшой конный отряд сторожит Выгу и деревни. Разошлите гонцов в скиты и на заставы. Если он не отыщется сегодня, завтра искать придется слишком долго и далеко.

— Да он наверняка замерз в лесу или замерзнет в ближайшие часы! — усмехнулся брат Авда, старший в башне. Он один из немногих должен был понять, какую вещь унес с собой послушник.

— Значит, вы найдете его тело и принесете сюда, — кивнул Дамиан. — Наказать мерзавца было бы полезно, но мне нужна украденная им вещь гораздо больше, чем он сам.

На рассвете ветер стих, в воздухе зазвенел мороз, и выбеленный небосвод словно покрылся инеем. От холода захватывало дух, лес замер и вытянулся по струнке, скованный стужей, лед потрескивал под ногами, и иногда от этого становилось страшно — Лешек без труда представлял себе глубокую черную воду, и сосущее течение, и саженную корку льда над головой.

Он сильно озяб и подозревал, что обморозил лицо и пальцы. Иногда он растирал лицо рукавами, но только напрасно сдирал кожу: заиндевельный волчий мех на обороте не согревал, а царапал. Поначалу он еще дышал на руки, но потом отказался от этого: они обветривались, но не согревались. Теперь же Лешек казался, что дыхание его остыло и выдыхает он точно такой же морозный воздух, какой и вдыхает.

Надо было уходить с реки в лес: при свете дня его увидят издалека, а конные нагонят его так быстро, что он не успеет как следует спрятаться. Странно, но погони Лешек не боялся, и легкая улыбка все еще играла на обветренных губах. Будто его страх, вечный страх, остался в монастыре, будто он скинул его с себя вместе с ненавистным подрясником, сорвал с шеи вместе с крестом.

Лешек огляделся: лес стоял по обоим берегам реки, но один берег был крутым, а другой — пологим. На пологом берегу его скорей начнут искать, зато, поднимаясь на крутой, он не сможет замести следы. В конце концов он выбрал пологий берег — если погоня обнаружит его следы, то его найдут за час, не больше.

Жаль, что стихла метель. Лешек оглянулся — на санном пути следы его мягких меховых сапог не были заметны, метель сдула с реки снег, уложив его валиком на берега. Конечно, следы можно было разглядеть, и тот, кто станет его искать, несомненно их увидит. Он вздохнул и прошел по собственному следу назад, прошел довольно далеко, с полверсты. Теперь они точно не найдут того места, где он углубится в лес.

Засыпать глубокие дырки от сапог на берегу оказалось тяжелей, чем он думал: снег набился в рукава, и заломило запястья. Самое обидное, что за ним все равно

оставалась широкая полоса потревоженного снега, которую при желании можно разглядеть, как бы тщательно он ее ни заравнивал.

Лешек только-только добрался до первых елей с толстыми стволами, когда услышал глухой стук копыт. Сердце упало, он присел и постарался слиться с серой корой дерева. Но, на его счастье, кто-то проехал мимо в сторону монастыря — на санях, запряженных парой коней, с молодецким гиканьем и свистом. Из-под полозьев во все стороны летела легкая на морозе снежная пыль, и Лешек выдохнул: теперь его следов точно не увидят, напрасно он шел назад. Удача снова тронула губы улыбкой.

Он зашел в лес довольно далеко — при свете солнца невозможно заблудиться. Сначала он собирался идти вдоль реки вперед, но пришлось отказаться от этой мысли: сугробы кое-где доходили ему до пояса. Но и остановиться на несколько часов было опасно: мороз убьет его, как только он перестанет двигаться. Осталось лишь разжечь костер и отогреть наконец лицо и руки. Высушенные морозом дрова будут гореть бездымно; что-то, а костры Лешек разжигать умел. Он без труда нашел подходящую валежину и только потом сообразил, что топора у него с собой нет. Пришлось ломать сухие сучья непослушными руками.

Прозрачный, почти невидимый огонь жарко разгорелся за несколько минут, сжирая ветки со сказочной быстротой. Лешек протянул к нему тонкие посиневшие пальцы, и вскоре к ним вернулась чувствительность. Пришлось перетерпеть боль: ему казалось, что любой звук разнесется по лесу на несколько верст. Однако руки отогрелись, загорелось лицо, и мучительно потянуло в сон.

Есть Лешек не хотел — слишком сильное волнение всегда перебивало голод, поэтому пшено он решил поберечь. Чтобы не уснуть, он наломал еще сучьев, на этот раз потолще, пожевал еловую ветку и пососал снег — можно ничего не есть несколько суток, но пить и жевать еловую хвою при этом надо обязательно, так научил его колдун.

Если он уснет, то костер погаснет через полчаса. И даже если он зароется в снег, как это делают на морозе собаки, то все равно может замерзнуть.

Лешек попал в Усть-Выжскую Свято-Троицкую Пустынь, едва ему исполнилось пять лет. Между тем, он хорошо помнил свое детство. Помнил мать — сначала молодую, веселую, румяную, а потом в одночасье состарившуюся от болезни. Помнил ее прозрачное лицо с синевой на щеках, тонкие руки, обнимающие его за шею, губы, целующие его лоб. А вот отца и деда он помнить не мог — их убили, когда ему не было и года.

Через много лет, передавая колдуну рассказы матери, Лешек узнал, что дед его был знаменитым волхвом Велемиром; им и его сыном князь Златояр когда-то откупился от церковников. Дом сожгли, и они с матерью прятались у чужих людей, переходя из деревни в деревню. Голод, горе, несложившийся быт подкосили ее, и первая же лихорадка высосала из нее жизнь. Лешек отдал в приют, к монахам, не желая связываться с хлипким, болезненным мальчонкой, который никогда бы не стал в семье хорошим работником.

Монахи тоже не обрадовались этому приобретению. Из приюта для подростков воспитанников вели два пути — стать послушником или поселиться в какой-нибудь деревне, которые во множестве были разбросаны по монастырским землям, и платить монастырю подати, размер которых с каждым годом становился все больше, не оставляя возможности выбраться из нищеты. И какой из этих путей выбрать, каждый решал для себя сам.

Любой послушник мечтал стать монахом, однако большинство из них доживали до старости, так и не добившись пострига. Зато те, кому это удалось, превращались в «белую кость» монастыря — их ждала сытая, безбедная жизнь и необременительный труд. Послушники же, еще более бесправные, чем слободские крестьяне, выполняли и черную работу при монастыре, и пахали землю, которую монастырь еще не роздал под крестьянские наделы.

Лешек не годился ни для того, ни для другого. И только когда обнаружился его чудесный голос, который монахи упорно называли божьим даром, они смирились с его существованием. Он один из немногих мог быть

уверен в том, что из послушника превратится в монаха очень быстро, а возможно, когда-нибудь получит духовный сан.

Его обучали грамоте, но этим и исчерпывалась разница между певчими и остальными приютскими детьми. Лешек вспоминал семь лет в приюте с содроганием: с первого до последнего дня эта жизнь казалась ему кошмаром.

Его не любили воспитатели за его странную поведку — слегка отстраненную, что со стороны казалось надменностью, а может, ею и была. Они хором твердили о «грехе гордыни» и смирении, но в те времена он их не понимал. Он так и не привык к побоям и всегда думал, что непременно умрет, когда его будут сечь, но так и не умер, только всегда долго плакал, не столько от боли, сколько от унижения. Страх перед розгой не делал его умней и осторожней — он просто не понимал, почему все вокруг стремятся его уязвить, и хотел стать хорошим, но не знал как. Мир казался ему несправедливым и непонятным.

Его не любили сверстники, завидуя его исключительному положению даже среди певчих, и при каждом удобном случае старались либо расправиться с ним самостоятельно, либо свалить на него вину за свои преступления. Он не пытался им понравиться, держался особняком, вызывая еще большее озлобление. А при его хрупком сложении перед сверстниками он был беззащитен.

По ночам, свернувшись клубком под тонким одеялом и дрожа от холода, Лешек думал о маме. Он, конечно, знал, что она умерла — об этом ему частенько напоминали воспитатели, — но не вполне понимал, что это значит. Он воображал, как она приходит в спальню, садится на кровать рядом с ним, обнимает его и целует. Иногда эти мысли согревали его и утешали, а иногда заставляли тихо и безысходно плакать, зажимая рот подушкой, чтобы никто не услышал, как он испуганно шепчет себе под нос: «Мамочка, приди ко мне, пожалуйста! Приди только на минутку!» Мама любила его, гладила по голове, понимала с полуслова и жалела. Лешек даже не думал о том, что она может защитить его или просто забрать из этого мрачного, холодного

места — так далеко его мечты не простирались. Возможно, допусти он такую мысль хоть раз, и безнадежность свела бы его с ума. Нет, о таком он мечтать не смел — ему хотелось лишь, чтобы его пожалели и приласкали. Поэтому в грезах он и пересказывал ей свои горести и представлял, как мама прижимает его к себе и шепчет ласково: «Мой бедный Лешек».

Он был бесконечно одинок, и его первые попытки сблизиться с кем-то из ребят всегда заканчивались плачевно: если его и принимали в игру, то лишь для того, чтобы насмеяться, оставить в дураках или заставить плакать. Став постарше, Лешек понял, что таковы были правила игры: и смеялись, и оставляли в дураках, и доводили до слез не только его одного. Но лишь он один сдавался и бежал от таких игр, бежал сам, когда его никто не гнал. В конце концов он оставил попытки подружиться со сверстниками, замкнулся в себе, и всякое приглашение к игре испуганно принимал в штыки, чем настраивал ребят против себя еще сильнее, пока окончательно не превратился в изгоя, довести которого до слез считалось не только не зазорным, но и в некотором роде почетным. И если сначала ему было скучно, то потом — страшно и стыдно.

Он ходил, стараясь слиться со стенами, и в спальне забивался под одеяло, чтобы лишний раз не попасться кому-нибудь на глаза — тому, кто не знает, чем сейчас заняться, и найдет развлечение в том, чтобы немного его помучить. Лешек был гадок самому себе, противный страх сковывал его с головы до ног, если кто-то заступал ему дорогу или стаскивал с него одеяло. Он не был способен даже на то, чтобы разозлиться, и неизменно мямлил и просил его не трогать.

Но мама, которой Лешек откровенно поверял свой ужас и свою унижительную беспомощность, в его воображении никогда не осуждала его, напротив, утешала и объясняла его слабость понятными и простительными причинами. С ней он говорил о своих мыслях, далеких от окружающей его жизни, пел ей песни и рассказывал трогательные истории, которые придумывал сам.

Только через три года его жизнь изменилась к лучшему — в приюте появился десятилетний Лытка, крещенный Лука. У него обнаружился слух, и волею отца Паисия

паренька определили в певчие, однако он оказался таким крепким, здоровым парнем, что и тринадцатилетние ребята побаивались его задирать. В приюте старшие редко обращали внимание на младших, но Лытку, как показалось Лешеку, уважали и совсем большие ребята.

Лытка не стремился к верховодству, но всякая несправедливость вызывала в нем бешенство, и он восстанавливал ее при помощи увесистых кулаков. Он не собирал вокруг себя «своей» ватаги, но его уважали, к нему тянулись, и очень быстро получилось так, что приют зажил по новым порядкам, и по этим порядкам никто не смел обижать маленького Лешека. Лытка привязался к нему, как к родному братишке, сначала просто оказывая покровительство, а потом, сойдясь поближе, начал смотреть на Лешека снизу вверх, находя его не только способным, но и необыкновенно умным.

Сам Лытка обладал практичным крестьянским умом, но мог бесконечно слушать несмелые рассуждения Лешека об устройстве мира и людей. Лешек с легкостью рассказывал, о чем шепчутся между собой звезды, когда их никто не слышит, что думает трава, когда ее косят, о чем мечтают лошади. И очень смешно изображал монахов: это развлечение полюбил не только Лытка, но и другие ребята. Они залезали в сарай с сеном и смотрели в щелки на проходивших мимо воспитателей и других взрослых.

— Во, толстый Леонтий! — шептал Лытка. — Чего он делает?

— Он ищет, чего бы съесть, — с готовностью сообщал Лешек, стараясь Леонтия изобразить, — он всегда думает только о еде и больше всего на свете любит свое пузо!

Мальчишки прыскали в кулаки, а Лытка искал следующую жертву.

— Старый Филин просто не знает, чем заняться. Но боится завалиться спать, потому что тогда ему влетит от Дамиана.

Лешек показывал, как Филин хлопает глазами и подозрительно смотрит по сторонам, будто хочет что-то украсть.

— Отец Паисий! Давай, Лешек!

— Нет, я не хочу, чтобы вы смеялись над Паисием! Он добрый, он слышит музыку.

Лицо его само по себе приобретало мечтательное выражение отца Паисия, и мальчишки все равно смеялись, потихоньку, ибо (как говорилось в уставе) «душе, изливающейся в смехе, легко отпасть от своего гармонического состава, оставить попечение о благе и еще легче впасть в дурную беседу» — смех не считался в монастыре добродетелью.

Лешек расцветал, когда все на него смотрели и все его слушали, и, наверное, чувствовал себя счастливым. Он быстро забыл обиды и простил тех, кто совсем недавно не давал ему прохода, да и ребята перестали считать его ничтожеством — Лытка заставил их уважать Лешека и ценить.

Лытка был первым, кому Лешек осмелился петь свои песни. Они настолько потрясли крестьянского мальчика, что он требовал Лешека петь их снова и снова, а потом предложил послушать их и другим ребятам. Собственно, ничего особенного в тех песнях и не было, Лешек пел о том, что видел вокруг, — о небе, о земле, о монастыре, но когда замолкал, не раз замечал, что на лицах мальчиков блестят слезы.

Лешек же смотрел Лытке в рот: он боготворил своего друга, восхищался каждым его словом или жестом, считал его героем и посвящал ему песни. Множество раз Лытка спасал его от наказания, принимая на себя вину и подставляясь под розги. Лытка относился к наказаниям с легкостью, никогда не плакал, терпел молча, даже если секли как взрослых, по спине (чем вызывал у Лешека еще большее восхищение).

Его пение однажды услышал толстый Леонтий, и как назло, песня была малопристойной — о ненавистной воскресной службе (в песнях Лешека монастырь всегда рисовался черной краской). Никакие увещания Лытки на этот раз не помогли — Лешека наказали очень жестоко, и, как бы ему ни хотелось быть похожим на друга, он все равно не смог удержаться от криков и слез, а потом целую неделю лежал на животе и плакал, когда его никто не видел. И, хотя его посадили на хлеб и воду, Лытка умудрялся утащить из-за стола что-нибудь вкусенькое для него.

— Лытка, я такой слабый... — сокрушался Лешек, жуя яблоко или морковку, — я так хочу быть таким, как ты.

— Чепуха! Ты не слабый. Просто у тебя кожа тонкая и косточки торчат. А у меня — потрогай — спина, как рогожа.

Лешек трогал его мускулистую спину и снова восхищался.

— Зато ты поешь песни... — вздыхал Лытка.

— Лучше бы я не умел петь, — Лешек снова готов был расплакаться и удерживался только из гордости.

— Чепуха! Мы просто будем осмотрительней, чтобы никто тебя не слышал!

Но с тех пор Лешек боялся петь и соглашался на уговоры, только если кто-то из ребят вставал под дверь. А главное — не получал от этого настоящего удовольствия, не позволяя голосу развернуться в полную силу.

Голова упала на грудь, и Лешек понял, что задремал, только проснувшись от этого неожиданного толчка. Костер потух, но холода не чувствовалось, и Лешек испугался: да он чуть не замерз!

Он набрал еще сучьев, хотя надобности в них не было, — просто так, чтобы двигаться. Тепло от огня на этот раз вызвало озноб: Лешек кутался в полушубок и согреться не мог. Придвигаясь к костру, он чуть не прожег сапог, а это стало бы настоящим бедствием: сейчас он хотя бы не боялся отморозить ноги. Эти сапоги сшил ему колдун, ни у кого таких не было — теплые, удобные и легкие, не то что лапти, которые он оставил в монастыре.

Тягучее время ползло медленно, солнце не дошло и до полудня: идти оказалось гораздо легче, чем сидеть, пусть и у костра. Почему-то на ходу мысли текли легко и увлекательно, песни складывались сами собой, а сидя Лешек не замечал ни красоты заснеженного леса, ни прозрачной голубизны небес.

Он представил себе, как его ищут, как по реке туда-сюда верхом снуют монахи, как бесится сейчас Дамиан, и снова улыбнулся. Это здорово — не чувствовать сомнений и страха. Даже если он замерзнет здесь, в лесу, они все равно не найдут его и никогда не получат хрусталя. И Дамиан это понимает.

Волк вышел из леса неожиданно — он не мог подобраться к Лешеку со спины, потому что сзади его закрывал высокий сугроб и ствол елки, волку пришлось подходить сбоку, и Лешек уловил его движение боковым зрением.

Это был волк-одиночка, от голода и отчаянья не побоявшийся приблизиться к огню: Лешек много лет прожил в лесу и поведение зверей изучил хорошо. Однако голод и отчаянье — хорошие помощники на охоте, и если зверю нечего терять, он не остановится.

Лешек осторожно потянулся к костру и взялся рукой за сук, на успевший догореть до основания. Волк смотрел на него внимательно, не мигая, и не двигался. Лешек тоже замер: первый испуг прошел, и теперь он старался придать взгляду убедительную твердость. Наверное, ему это удалось, потому что волк повернул

голову в сторону и приподнял верхнюю губу, что означало явный отказ от поединка — у меня есть клыки, но драться я не хочу. Что-то вроде последней попытки напугать: уверенный в себе зверь клыков показывать не станет, он начнет их применять без предупреждения. Лешек дожал его, продолжая смотреть не мигая еще с минуту, и волк в конце концов сдался — развернулся и ушел в лес, опустив хвост и голову.

Сук тлел в руке, растревоженный костер погас, и пришлось раздуть его, поднимая вверх легкие хлопья пепла. Один волк — это не опасно, Лешек знал, что справится с ним и в открытой схватке. Но если зверей будет хотя бы двое...

* * *

Отец Паисий однажды вызвал его к себе. Лешек удивился и испугался: Паисий никогда не приглашал в свою келью приютских детей. Жилище иеромонаха было роскошным: широкое ложе под пологом, дубовый стол с разложенными на нем пергаментами, высокая каменная печь, огромный резной сундук, обитый горячей медью... Лешек оробел на пороге и не смел через него переступить. Он искренне любил Паисия и теперь боялся какого-нибудь подвоха, который разрушит эту любовь.

— Ну что ты испугался? — ласково улыбнулся ему иеромонах. — Заходи и садись. Только закрывай двери.

Он указал на низкую скамеечку возле ложа, на котором сидел сам.

Лешек еще раз восторженно осмотрел келью и перешагнул через порог.

— Садись, дитя, не бойся. Я слышал, ты поешь ребятам песни?

Лешек обмер и замотал головой, от страха не в силах вымолвить ни слова. Все равно подслушали! Как Лытка ни убеждал его в том, что охрана надежна, их все равно подслушали! На глаза навернулись слезы и потекли из глаз крупными каплями.

— Что ты, дитяtko? — Паисий поднялся и усадил Лешека на скамеечку, поглаживая по голове. — Что ты плачешь?

— Нет... Это не я... — сумел выговорить Лешек, — я не пел, ничего не пел!

— Да не бойся же, я не собираюсь тебя за это наказывать.

Но Лешек не поверил ему: наверняка иеромонах просто прикинулся добрым, чтобы выведать у него эту тайну, вырвать признание. Но кружка подслащенной воды и просвирка, которую обмакнули в мед, немного Лешека успокоили — по крайней мере, он перестал плакать.

— Я обещаю, что ничего плохого тебе не сделаю и никому не расскажу о нашем разговоре, — Паисий присел на колени перед Лешekom, чем сильно его смутил и растрогал: теперь слезы готовы были хлынуть из глаз от теплых чувств к иеромонаху, — я просто хочу услышать, что за песни ты поешь. Только и всего.

— Тебе не понравится, — вздохнул Лешек.

— Откуда ты знаешь?

— Знаю.

— А ты попробуй. Выбери что-нибудь подходящее.

И тут Лешек вспомнил, что у него есть одна песня, которую он сочинял, думая именно о Паисии. Конечно, ничего о монахе в ней не было, просто Лешек о нем думал, когда ее сочинял. Он помялся немного, теперь просто смущаясь и волнуясь (вдруг песня окажется недостаточно хороша?), но все же запел, на этот раз позволяя голосу литься так, как хочется. В этой песне соловей свил гнездо на хорах церкви, и, когда пришла пора служить всенощную на Пасху, ему не позволили петь, а гнездо выбросили в окошко.

Паисий слушал его со странным выражением лица: наклонив голову и широко открыв глаза. Брови его поднимались все выше, и в конце, на самом красивом месте, где соловей видит разрушенное гнездо, Лешек заметил слезы в его глазах.

Иеромонах долго молчал, и Лешек было снова испугался, но тот погладил его по плечу и тихо попросил:

— Спой мне еще что-нибудь.

Дело в том, что Лешек очень любил петь. Он мог делать это бесконечно, даже если его не слушали. А когда слушали, он испытывал небывалое ликование и ему было трудно остановиться. И он спел монаху про старую собаку, которая живет у сторожевой башни, и

про облака, которые ветер гонит по небу, куда ему вздумается. И еще — про кузнечика, и мрачную песню про темную келью схимника. Про схимника он, наверное, пел напрасно, потому что никакого восхищения его подвигом в песне не было, только страх перед чернецом, запертый в своем добровольном заточении.

— Послушай, а что ты думаешь о Боге? — спросил его Паисий.

Лешек пожал плечами и честно начал читать «Символ веры», но иеромонах быстро его перебил:

— И больше ты ничего сказать не можешь? Кроме того, что тебя заставили вызубрить наизусть?

Лешек снова пожал плечами: бог представлялся ему черной тучей, готовой в любую секунду выпустить молнию, которая поразит его, если Лешек чем-то этой туче не понравится.

— Может быть, ты можешь спеть? — предложил иеромонах.

Лешек подумал немного и спел о туче и немного о страшном суде и мучениях грешников. Но, видно, что-то в этой песне Паисию не понравилось: он стал хмурым и задумчивым. Да что говорить, так себе получилась песня...

После этого случая Паисий каждую неделю приглашал Лешека к себе и рассказывал ему истории из Благовеста, может быть, немного не так, как они были там записаны. И все надеялся, что Лешек сможет об этом спеть. Но сердце Лешека молчало — в этих рассказах он видел совсем не то, чего хотелось иеромонаху. Он спел песню про шелковицу, на которой уродились плохие плоды, и шелковица представлялась ему почему-то сливой с зелеными ягодами. И ему было очень жалко эту сливу, потому что никто не ест ее плодов. А из Угорской проповеди получилась песня о плаче, который ничто не утешит. Грустная получилась песня.

Нет, иеромонах хотел совсем не этого, но Лешек не понимал, чего он хочет, — его душа оставалась глухой к подвигам Иисуса, он не воздал должного даже распятью и честно признался: если бы на месте Христа оказался Лытка, он бы не позволил так над собой издеваться, а прямо бы сказал, что жить нужно по правде и по-честному. И все бы ему поверили. И семью рыбами

он накормил бы весь мир до самого конца света, чтобы никому не пришлось голодать.

В любовь Иисуса Лешек не верил. Если Иисус любит людей, то почему не сделает их счастливыми? Просто так, ни за что. Почему в рай он берет только тех, кто не грешит? Лешек был уверен, что ни в какой рай его не возьмут: судя по проповедям, получалось, что грешит он на каждом шагу и не подозревает об этом.

Надо отдать должное иеромонаху — он был терпелив. Но, видно, всякому терпению приходит конец, и Паисий отказался от своего замысла: Лешек продолжал петь в церковном хоре, тщательно выводя слова и мелодии тропарей канона и стихир. Впрочем, и этого хватало: и монахи, и гости от его пения начинали часто дышать и проливать слезы. Только это были не те слезы, которые хотел вызвать у них Паисий.

С тех пор с легкой руки иеромонаха к Лешеку приклеилось прозвище «заблудшая душа».

Короткий зимний день склонился к закату, и Лешек решил пробираться поближе к реке: когда сядет солнце, он легко потеряет нужное направление. Зимой солнце садится быстро, и темнеет в лесу сразу: недолгие серые сумерки оборачиваются светлой, снежной ночью.

Лешек осторожно засыпал костер и спрятал в сугроб наломанные сучья, которые не успел сжечь, пососал еще немного снега и пожевал еловой хвои — только теперь от этого захотелось есть. Он сунул руку в карман и набрал горстку пшена: мелкая крупа противно скрипела на зубах, жевать ее было неудобно, но ничего лучшего все равно не нашлось, и Лешек радовался тому, что есть. На ходу глотая непрожеванную пшенку, он добрался до реки и осторожно выглянул из-за деревьев.

К ночи снова завыл ветер, но не так, как накануне, а тихо и протяжно, словно голодный волк. По реке неслась поземка, и если в лесу стало совсем темно, то на открытом пространстве все еще сгущались сумерки — мрачные зимние сумерки, неуютные, бескровные, унылые, сжимающие сердце беспомощной тоской. И в вое ветра Лешеку почудилось чье-то рыдание, тонкое и жалобное.

Поземка то прижималась к земле, то взлетала вверх, свивалась маленькими воронками, и снова расстилалась понизу, и бежала, бежала вперед. Лешек плохо видел в сумерках и не сразу заметил двух всадников, двигавшихся в сторону монастыря. Когда они немного приблизились, сомнений не осталось — это дружина Дамиана, монахи-воины. Их клобуки развивались на ветру, как будто у каждого за плечами сидела черная птица с раскинутыми крыльями; полы темных суконных мантий, расстегнутых до пояса, поднимались и опадали в такт движению лошадей — всадники скакали неспешной рысью.

Хорошо, что Лешек не поспешил выйти на лед: его бы сразу заметили. Он подождал, пока всадники проедут мимо, но, к его удивлению, они, добравшись до поворота реки, повернули назад такой же неспешной рысью — монахи несли дозор. И наверняка за следующим поворотом тоже неторопливо двигаются еще двое,

а дальше — еще и еще. Лешек сжал губы: так легко, как в первую ночь, ему идти не удастся. Что ж, путь на лед закрыт, значит, надо идти по снегу, вдоль реки. В темноте, под пологом леса они его не заметят, зато он сможет видеть преследователей.

Если бы он догадался об этом заранее, то за день смог бы сплести себе снегоступы — у костра это было бы не так трудно. А сейчас он просто отморозит руки...

Иногда проваливаясь в снег по пояс, он пробирался вперед, только когда монахи ехали к нему спиной, и старался всегда держать их в поле зрения. От ходьбы Лешек быстро согревался, но, стоило ему остановиться, мороз брался за него еще крепче. На его беду над лесом поднялась полная луна и осветила реку лучше, чем сотня факелов: теперь монахи могли заметить его, если бы случайно оглянулись.

Сук треснул под ногой неожиданно громко, и даже свист ветра этого звука не заглушил. Лешек зарылся в снег и замер, задержав дыхание, — монахи остановили лошадей и оглянулись, прислушиваясь, а потом пустились в его сторону. Он спрятал лицо в снегу и сжался в комок — только сейчас он в первый раз подумал о том, что с ним будет, если его поймают.

Лешек не сомневался в том, что Дамиан его убьет и смерть его будет долгой и мучительной. Чтобы другим послушникам было неповадно разбежаться из монастыря. Лешек подумал об этом отстраненно и спокойно: если его поймают, ему надо будет всего лишь с готовностью принять смерть. Гораздо страшней представлялся другой путь: жизнь в монастыре. Его могли ослепить, сделать калеккой — Дамиану хватит выдумки навсегда приковать его к обители, чтобы ничего светлого в его жизни больше не осталось. И на этот случай Лешек приготовил решение: тогда он умрет сам, по своей воле. Ему нет дела до того, что об этом думает их злобный бог Юга. По всему выходили только мучения и смерть.

Страх не было.

Всадники подъехали к берегу и остановились в нескольких саженях от Лешака.

— Да это от мороза ветка хрустнула, — сказал один.

— Погоди. Я все же посмотрю.

Лешек улыбнулся и расслабился — или его увидят,

или не увидят. Ночь, он в тени, снег вокруг рыхлый и... он обмер: следы. Они увидят его следы!

Всадник спешил к лесу — Лешек слышал, как скрипит снег у него под ногами, но вскоре шаги замедлились и стихли:

— Да тут снегу по пояс! Он тут не пройдет! Наверняка давно замерз где-то!

— Помолись, чтобы этого не случилось, — крикнул ему второй.

— Почему?

— Потому что тогда мы будем не верхом прогуливаться по реке, а ползать по пояс в снегу, разыскивая его тело! Дамиан же ясно сказал!

Шаги повернули от берега, монах сел на лошадь, и вскоре Лешек перестал слышать мерный топот копыт. У него стучали зубы — то ли от волнения, то ли от холода.

* * *

Лешек боялся Дамиана. Всегда. И не он один — настоятеля приюта боялись все: и воспитанники, и воспитатели. И больше всего в приюте боялись его «помутнений», как их называл Леонтий. Этими помутнениями он частенько пугал мальчиков:

— У брата Дамиана от этого случится помутнение! — говаривал он, и иногда бывало достаточно только припугнуть какого-нибудь расшалившегося ребенка тем, что сейчас его отведут к Дамиану и у того случится помутнение, чтобы самый отчаянный шалопай разрыдался от страха и на коленях молил о прощении.

А «помутнения» у Дамиана и вправду случались: на него, особенно после обеда, когда он неизменно пил вино, нападала безотчетная ярость, и, если рядом не находилось кого-нибудь вроде благочинного или отца Паисия, он мог и убить в запале того, на кого эта ярость обрушивалась. За поясом Дамиан всегда носил кожаную плеть, очень тяжелую, с треугольным наконечником из железа, и говорили, что десять ударов ею достаточно, чтобы вышибить дух из взрослого человека. Во всяком случае, иногда мальчикам доводилось ее попробовать, и рваные раны, нанесенные плетью, не заживали по нескольку недель.

Впрочем, Дамиан мог и изображать свои «помутнения», просто так, чтобы его боялись. Но это всегда было заметно: когда он притворяется, а когда нет.

Лешек Дамиан казался демоном ада, посланным на землю наказывать грешников, не дожидаясь их смерти. Слово «грех» Лешек понимал очень по-своему, потому грешниками считал всех вокруг, и себя самого, и Лытку. В его голове не укладывалось, можно ли быть грешным «больше» или «меньше». То, в чем ему велели каяться на исповеди, в его мыслях имело равную цену. Убийство ничем не отличалось от лишнего куска хлеба, съеденного за столом, ибо именовалось это чревоугодием, и плохо прочитанная молитва считалась нарушением первой заповеди, и чуть выше приподнятая голова — грехом гордыни. А Лешек был любопытен и опускать глаза долу все время забывал. В конце концов он примирился с тем, что каждый его шаг грешен, и успокоился на этом.

Единственное, что хоть немного приводило в порядок путаницу в голове, это епитимии, назначавшиеся духовниками после исповеди. Разумеется, на исповеди мальчики никогда не признавались в том, что могло бы повлечь за собой серьезные наказания, и ими давно были придуманы «невинные» грешки, за которые могли назначить чтение «Отче наш» в течение часа на коленях, или тридцать поклонов распятию, или еще что-нибудь столь же необременительное. Признаваться в чем-нибудь надо было обязательно, и у каждого имелся в запасе набор «грехов». Между собой мальчики обменивались этими «грехами», боясь выдумывать что-то новое, так как никто не знал, какое за этим может последовать наказание. Только самые отчаянные пополняли эту копилку «грехов» — Лытка, например. И Лешек снова вздыхал в восхищении и тоже хотел стать таким же отчаянным, но так ни разу и не решился.

Дамиан, сам в прошлом из приютских, хорошо знал эти хитрости и смеялся над духовниками, иногда в открытую, прямо при мальчиках. Лешек часто замечал, что настоятель приюта с пренебрежением относится к иеромонахам, и это укрепляло его в мыслях о том, будто тот состоит на службе у Дьявола, поэтому и не боится Бога. Мелкие грешки приютских мальчиков Дамиана не волновали, он ставил во главу угла только те проступки,

которые могли вызвать недовольство благочинного или самого аввы. Впрочем, если какой-нибудь воспитатель притаскивал к нему мальчишку, Дамиан мог впасть в гнев только потому, что его потревожили из-за пустяка.

Однажды вечером, после ужина, к мальчикам заглянул отец Леонтий, что само по себе показалось странным — Леонтий любил поспать и, если вечернюю службу не служили, уходил в свою келью как можно раньше.

— Лешек, — ласково позвал он прямо от двери, и голос его был так сладок, что Лешек сразу почувствовал неладное, — пойдем со мной, тебя зовет отец Паисий.

Однако привел его Леонтий не в келью к иеромонаху, а в трапезную братии, где Лешек до этого ни разу не был. Огромные хоромы с длинным широким столом оставались почти пустыми, только во главе стола сидели трое: сам Паисий, благочинный и Дамиан. Лешек так испугался, что не сумел как следует осмотреться. Леонтий провел его через всю трапезную, и Лешек, памятуя о наставлениях Лытки, опустил голову как можно ниже и смотрел только на свои босые ноги.

— Лешек, не бойся, — улыбнулся ему Паисий и поставил так, чтобы все трое могли его хорошо видеть. — Этот разговор никаких последствий для тебя иметь не будет. Мы ведем богословскую беседу и хотели бы, чтобы ты послужил примером для некоторых наших измышлений, только и всего.

Лешек не особенно понял смысл его слов, но ему стало еще тревожней.

— Да, дитя, мы знаем, что все вы опасаетесь гнева брата Дамиана, — благочинный погладил его по голове, — но сейчас можешь чувствовать себя свободно — брат Дамиан пообещал нам, что не будет тебя наказывать, даже если тебе придется признаться в чем-нибудь, заслуживающем кары.

Лешек совсем струсил — он вовсе не собирался ни в чем сознаваться. Он бросил короткий взгляд на Дамиана и понял, что и благочинный, и Паисий заблуждаются на этот счет: на губах настоятеля приюта поигрывала легкая улыбка, а в глазах прятался подозрительный злой огонек.

Они спрашивали его, что он думает о Боге, о грехе, о молитве, и Лешек сначала отвечал односложно или пытался пересказывать то, чему его учили. Отец

Паисий не скрывал разочарования, стараясь его расшевелить, и Лешек внезапно пожалел эkkлисиарха: ему показалось, что он делает иеромонаху больно тем, что не хочет сказать правды, разрушает какие-то его надежды. Он разрывался между страхом и жалостью и в конце концов позволил себе высказать некоторые собственные мысли.

— Посмотрите, — Паисий повернулся к благочинному, — дитя, несомненно, понимает божий страх, но не может разобраться, что есть хорошо, а что — плохо. Он верит, искренне верит, но вера его не имеет под собой любви. И, я думаю, любой приютский мальчик, если вообще умеет выражать словами свои мысли, скажет нам то же самое. А это означает, что в воспитании отроков мы делаем упор на послушание и страх, но не даем им настоящей, глубокой веры, которая может поднимать человека над собой, которая зажигает сердце...

Благочинный кивнул:

— Ты что-нибудь можешь предложить?

— Да! — воскликнул Паисий. — Я думаю, что отроков надо отдавать на попечение только тех монахов, которые имеют духовный сан, чтобы воспитатель был ребенку одновременно и духовником, и учителем.

Дамиан презрительно поморщился и обвел трапезную глазами. Ему не нравился этот разговор: все, не исключая приютских детей, знали, что авва отказал ему в рукоположении.

Лешек имел на этот счет собственное мнение, но и ему показалось правильным заменить всех воспитателей на духовников: те хотя бы делали вид, что интересуются мыслями мальчиков, а еще не были такими крикливыми и не имели привычки чуть что хватать за уши или бить по затылку.

— Лешек, — обратился к нему благочинный, — ты бы хотел, чтобы вместо брата Леонтия твоим воспитателем стал отец Нифонт?

Лешек посмотрел на Леонтия и очень быстро понял, что отца Нифонта назначат воспитателем еще не скоро, а брат Леонтий через несколько минут поведет его обратно в приют.

— Я очень люблю брата Леонтия, и отца Нифонта тоже люблю... — пробормотал он.

Паисий сжал губы и запрокинул лицо вверх, закатывая глаза. Лешек посмотрел на него виновато, и Паисий слабо ему улыбнулся.

— Дети забыты, они боятся своих воспитателей, вместо того чтобы их любить, — гневно произнес он и поднялся, — попробуйте протянуть руку, чтобы погладить отрока по голове, — он втянет голову в плечи, потому что не ждет от взрослых ничего, кроме подзатыльника!

С этим Лешек был согласен, еще больше полюбил иеромонаха и решил, что сочинит про него песню.

— Наказания не вредят детям, — парировал благочинный, — они лишь усмиряют их гордыню, приближают к Господу через телесные муки, помогают почувствовать Божье величие по сравнению с собственной ничтожностью.

— Я буду говорить об этом с аввой, — закончил отец Паисий и вышел из трапезной широким уверенным шагом, и это было немного смешно, потому что ростом он не вышел и широкий шаг совсем не соответствовал его внешнему облику.

— Я полагаю, разговор окончен? — развел руками благочинный.

Как только Паисий покинул трапезную, Лешек почувствовал себя очень неудобно: ему показалось, что Благочинный не разделяет точку зрения Паисия, и вовсе не хотел приближаться к Господу путем телесных мук, а Дамиан между тем посмотрел на него так выразительно, что у Лешека задрожали колени. Взгляд этот не ускользнул от благочинного.

— Оставь дитяtko, брат Дамиан. Ты обещал. Отец Паисий близок к авве, он тебе этого не простит.

Все трое поднялись, Леонтий взял Лешека за руку и сжал ее так сильно, что ему захотелось запищать. Однако по глазам воспитателя было понятно, что делать этого не следует. И тут до Лешека дошло, что он наделал: он, подтверждая слова Паисия, тем самым рыл яму Дамиану, он доказывал правоту иеромонаха, но одновременно подтверждал неправоту настоятеля приюта! Да еще и именно в том, в чем тот был наиболее уязвим, — в вопросах веры! Эта мысль поразила его как громом, он понял, что ни Дамиан, ни Леонтий никогда ему этого не простят, и их обещание — пустые слова, они всегда найдут повод придаться, так что Паисий не сможет уличить их в обмане. И Лытка его не спасет, и ничто теперь его не спасет...

Благочинный свернул к лестнице, и Лешек остался наедине с Дамианом и Леонтием, беспомощно глядя благочинному вслед. Ноги не хотели передвигаться, и если бы Леонтий не тащил его за собой, Лешек бы точно упал.

— Ну что, значит, Бога ты не любишь? — хмыкнул Леонтий, когда они вышли во двор.

— Люблю, — немедленно ответил Лешек, ощущая, как слезы наворачиваются на глаза. — Очень люблю, честное слово!

Дамиан шел вперед и не оглядывался, но спина его, напряженная, натянутая, говорила о том, что он в гневе и гнев этот сдерживается могучим усилием воли.

— Плохо любишь, если отец Паисий этой любви в тебе не нашел.

Лешек молча расплакался и не сумел ответить. Он не винил Паисия, ведь иеромонах хотел как лучше. Он хотел убрать воспитателей и Дамиана, и, наверное, ради этого стоило помучиться, но Лешек к венцу мученика готов не был, и напряженная спина Дамиана приводила его в трепет.

Тот распахнул двери в уютский коридор, на стене которого горела лампадка, и наконец обернулся. Лешек остановился и уперся ногами в порог, впрочем, сопротивляясь не очень сильно: Леонтий легко втощил его в коридор и подтолкнул к Дамиану. Лешек дрожал и плакал и от страха не мог вымолвить ни слова, когда Дамиан, одну руку положив на рукоять своей страшной плети, взял Лешека за трясущийся подбородок и нагнулся к самому его лицу.

— Я тебя запомнил, — он кивнул и легко усмехнулся.

Противная тошнота подкатила к горлу, и без того расплывчатое от слез лицо Дамиана закружилось перед глазами, ватные ноги подогнулись, и Лешек рухнул на пол как подкошенный.

Через неделю Дамиан был рукоположен в иеродиаконы и, вопреки обычаю, именовался теперь отцом Дамианом.

Лешек шел вперед медленно, но все же шел. Он оказался прав: за следующим поворотом реки ее охраняли еще двое всадников. Усталость и бессонница брали свое: каждый раз, зарываясь в снег, он боялся, что не сможет подняться, такой соблазнительной была неподвижность. Стужа высасывала из него силы, он чувствовал, как тепло уходит из тела с каждой остановкой, он привык к непрекращавшейся дрожи, и только падая в снег, замечал, как затекли непроизвольно приподнятые плечи.

Он не позволял рукам потерять чувствительность, хотя было заманчиво оставить все как есть: через полчаса боль прошла бы сама собой; но Лешек упорно растирал руки снегом, сжимал и разжимал кулаки, заставляя кровь добегать до кончиков пальцев. Замерзнуть на краю леса он позволить себе не мог, тут его тело нашли бы легко и быстро, и тогда — все напрасно.

Наверное, стоило уйти поглубже в лес и развести костер, чтобы хоть немного погреться, но Лешек боялся заблудиться и не хотел терять времени даром — днем он так идти не сможет. Сколько еще он продержится без сна? Сутки? Стоит только задремать, и ему придет конец.

Воспоминание о теплой печке в доме колдуна кольнуло острой болью. Подогретый мед, горячие камни, к которым так приятно прижаться спиной, и неторопливая беседа после морозного дня — что может быть лучше? Лешек отбросил эти мысли: думать о тепле нельзя, нельзя! От одних лишь мыслей голова клонится вниз и закрываются глаза. И... от этих воспоминаний сильно хочется плакать, потому что такого не будет больше никогда.

Нет. Думать надо не об этом. Он ушел, он ушел, и за сутки им не удалось его изловить! Губы разъехались в стороны сами собой, и Лешек почувствовал, как горячий комок сжимается где-то за грудиной и тепло от него расплзается по всему телу.

Дамиан придвинул скамейку поближе к печке и прижался спиной к теплым камням — слишком сильный мороз, давно такого не бывало. Подогретое вино не веселило, а приводило в еще большее раздражение, мясо

казалось пережаренным, и чадящая лампа грозила вот-вот погаснуть. Он вскочил на ноги и прошелся по келье. Ну где же Авда? Монахи спят, за окном воет ветер, давно перевалило за полночь, а его все нет!

Неужели так трудно изловить щенка? Двадцать человек только из обители, и еще больше на заставах и в скитах? И полсотни хорошо обученных воинов за целые сутки не в состоянии найти ни одного следа?

Парень замерз. Если бы он двигался, его бы давно заметили. Скорей всего, он просто замерз, лежит сейчас где-нибудь на краю леса, и его потихоньку заносит снегом.

Стук в дверь заставил Дамиана вздрогнуть. Это не Авда, его тяжелые шаги можно услышать издалека. Дверь приоткрылась — пришедший не стал дожидаться ответа. Авва. Так может входить только авва. Дамиан скрипнул зубами и стиснул кружку в руке, так что она едва не лопнула.

— Ай-я-яй, Дамиан... — авва покачал головой, — вкушать пищу в келье строго запрещено уставом.

Дамиан хотел сказать, что плевал на устав, но придержал язык. Авва присел на край скамьи, придвинутой к печке:

— Морозно сегодня. Не обращай внимания, я понимаю, что в заботе об обители тебе некогда было поесть днем.

Дамиан кивнул, не ожидая ничего хорошего. Авва умен, очень умен.

— Скажи мне, почему бегство какого-то жалкого певчего заставляет тебя не есть, не спать и гонять людей по морозу ночь напролет?

Дамиан был готов к этому вопросу:

— Он смущал послушников богохульными речами, он сорвал крест, проклял Бога — это ли не повод?

— Не надо, Дамиан! Тебе нет никакого дела до Бога, — авва перекрестился и вознес очи горе, — и настроения послушников — ответственность благочинного, или я не прав?

— Я пекусь о благе обители, — пожал плечами Дамиан, — а парень мог бы принести ей много пользы своим пением. И в его возвращении есть смысл. А кроме того, его поступок колеблет незыблемость наших устоев. Он должен быть наказан.

— Само собой. Давай говорить откровенно — я ведь не враг тебе: он унес хрусталь?

Дамиан скрипнул зубами: авва просто сложил два и два. Архидиакон кивнул и отвел глаза.

— Ты мог бы сразу сказать мне об этом. Или ты считаешь, что я ничем не могу тебе помочь?

— Этого я не знаю, — Дамиан вздохнул и сел. — Мальчишка скорей всего замерз в лесу, и отыскать его тело будет не так-то легко. Чем ты можешь мне помочь?

— Ну, я могу дать тебе людей, например. Но я бы не стал полагаться на этот случай, а рассмотрел другую возможность: предположим, он не замерз. Что тогда? Ты знаешь, куда он пойдет?

— Понятия не имею! — фыркнул Дамиан. — Он настолько глуп, что не потрудился закрыть крышку сундучка с хрусталем, он кричал о своем уходе перед двадцатью послушниками, вместо того чтобы тихо выскользнуть за ворота. Он... Я не могу предсказать поведение глупца!

— Вот видишь. Ты, такой бывалый хват, такой хитрый лис, не можешь понять поступков юноши, а между тем они лежат на поверхности: он хотел, чтобы ты понял, кто унес хрусталь. Он бросил тебе вызов, лично тебе. Он хотел, чтобы ты скрипел зубами и ходил по келье из угла в угол, без еды и без сна. И он своего добился. Я смотрю, мясо тебя не радует, заснуть ты не можешь, а вино не приносит тебе удовольствия, или я не прав?

— Да! — рявкнул Дамиан. — Да, все это так! Но он слишком труслив для того, чтобы бросить вызов мне!

— Тебе стоило понять это раньше, до того, как он ушел. Ты слишком полагаешься на страх, а это не самое сильное человеческое чувство.

Иногда авва раздражал Дамиана до зубной боли, и ему стоило немалых усилий не ответить ему грубостью.

— Неужели? Для кого-то — может быть, но не для этого жалкого певчего. Я помню его еще ребенком.

— Еще бы ты его не помнил! И, однако, он ушел и унес хрусталь, а ты — скрипишь зубами и не можешь спать. Подумай, куда он пойдет? Он, может быть, и глупец, но и поведение глупцов иногда бывает вполне предсказуемым.

— Я не знаю! — завыл Дамиан и швырнул кружку на пол. Но она не разбилась, чем взбесила его еще сильнее.

— Успокойся. Он добивался именно этого, он лишил тебя возможности думать. Я тебе скажу, куда он пойдет, — он пойдет к Невзору, ему больше некуда идти. Он понимает, что от хрусталя ему надо избавляться, он не может всю жизнь бегать от тебя, как заяц от гончей. И он пойдет к волхву, потому что ему доверяет.

— А почему не к князю? Там он точно окажется в безопасности.

— Потому что цель его высока и добродетельна, неужели ты еще не понял? Он хочет отдать хрусталь в надежные руки, тому, кто, по его мнению, не воспользуется им во зло. А князь к числу таких людей не относится.

— Князя я бы тоже отметить не стал... — проворчал Дамиан. Высокие и добродетельные цели не были ему понятны.

— Не отметай, — просто согласился авва. — Но и волхва не упускай из виду.

Он поднялся и подошел к двери:

— Если что-нибудь узнаешь — докладывай мне. Я не буду бесполезным в этих твоих поисках.

Дамиан кивнул.

— Спокойного сна, — вкрадчиво ответил на его кивок авва и ушел так же бесшумно, как и появился.

За этой мягкостью и спокойствием Дамиан разглядел раздражение, если не сказать больше. Авва никогда не показывал переживаний, никогда. Он оставался неизменно мягким, немного насмешливым. Со всеми. Никто не мог угадать настроение аввы, но Дамиан чувствовал, что скрывает его улыбка. Наверное, поэтому и смог подняться на самый верх по ковровой дорожке, которую авва для него расстелил.

Интересно, он собирается жить вечно? Авва со всей тщательностью закрыл Дамиану дорогу на свое место, и даже после его смерти Дамиану не получить полной власти над Пустыней. Его замыслы, которых Дамиан не понимал, как ни старался, оставались далеко идущими, рассчитанными на годы, если не на десятилетия. И очень честолюбивыми. Зачем старцу честолюбивые замыслы? Не проще ли принять схиму и остаться в памяти потомков верным слугой Господа, как это делали настоятели до него?

Дамиан подозревал, и небезосновательно, что авва хочет от него избавиться. Авва считал, что расширять земли дальше бессмысленно и опасно: обитатели не хватит сил удержать то, что они сегодня имеют. Захват земель прошел столь стремительно, что обитель не успела набрать сил и средств для того, чтобы их удержать. Авва хотел сделать передышку, но Дамиан не мог с ним согласиться: расширение земель ослабляло главного противника — Златояра.

Крусталь решал и эту задачу, и множество других. И открывал перед аввой еще более широкие горизонты, и по дороге к ним Дамиан снова был для него желанен и необходим.

Не успел он поднять кружку и вытереть пролитое вино, как услышал тяжелые шаги по лестнице; на этот раз можно было не сомневаться: наверх поднимался брат Авда. Уже по его походке Дамиан понял, что никаких вестей начальник сторожевой башни ему не принес, — он всегда безошибочно угадывал такие вещи.

Авда зашел в келью, пригибая голову под притолоку, и замер, прикрыв за собой дверь. Его словно высеченное из дерева лицо ничего не выражало, на щеках не проступило румянца с мороза, губы оставались плотно сжатыми. Высокий чистый лоб не хмурился — Авда всегда смотрел исподлобья и сдвигал клобук немного на затылок, отчего боковые крылья клобука приподнимались, сужая нижнюю часть лица и делая его похожим на череп.

— Садись, — кивнул Дамиан на скамью, где только что сидел авва.

Авда не стал отказываться ни от мяса, ни от вина.

— Ничего, вообще ничего! — пробормотал он, запихивая в рот жирный кусок утиной грудки. — На четвертом участке ребята слышали, как треснула ветка, но в лес не пошли — снега по грудь.

— Напрасно, — сжал губы Дамиан.

— Прикажешь пройти?

— Прикажу. Сами могли бы догадаться, не дожидаясь приказа.

— Мороз трещит.

— Верю. Но проверить стоило. Он не может замечать следы бесконечно, ему это не под силу. В Никольской

слободе дозоры поставили?

— Пять человек вокруг, и пятеро ходят по домам. Там же поле, он не сможет подобраться незамеченным. — Авда шумно глотнул вина.

— Если он идет по лесу, то просто обойдет слободу кругом.

— Дамиан, он слабенький юноша, а не лось. Ты можешь себе представить, каково оно — идти по лесу? Я говорю тебе, он замерз! Нам надо искать его тело, а не сторожить реку.

— Если ты будешь уповать на это, ты никогда его не возьмешь. Сними людей с дороги до четвертого участка и отправь к слободе. Идите цепью по левому берегу от слободы к монастырю. До четвертого участка.

Авда кивнул.

Лешек очень устал, каждый шаг давался ему с трудом. Он хотел пить, но от снега во рту ему становилось еще холодней, и он отказался от этого. В горле першил сухой кашель, но кашлять он не осмеливался — могли услышать. Ему нужно было отдохнуть. Давно перевалило за полночь, луна скрылась за лесом, когда ему послышался далекий лай собак: Никольская слобода. Лешек удивился, насколько далеко от монастыря удалось уйти. Впрочем, верхом сюда можно было добраться за два-три часа, если хорошенько гнать лошадь.

Мысль забраться на чью-нибудь повесть, зарыться в сено и поспать показалась ему очень соблазнительной, но Лешек немедленно отбросил ее в сторону: наверняка вокруг слободы полно монахов, ему не удастся дойти до жилища незамеченным. Значит, надо обходить ее вокруг. Он вздохнул и стиснул зубы: ничего страшного. Он сможет. Они ждут его в слободе, они не поверят, что он ее обойдет.

Теперь лай собак не дал бы заблудиться, и Лешек зашел в лес немного глубже, чтобы его точно никто не заметил с реки. Это позволяло идти не останавливаясь, но Лешек быстро понял, насколько вынужденные остановки помогали собирать силы.

В глубине леса ветра не было слышно, тишина зазвела в ушах, и ему казалось, что шум его дыхания слышен и на реке. Впереди и немного слева хрустнула ветка. Хрустнула громко, отчетливо и довольно далеко. Он замер и прислушался. Еще одна. Это не мороз: Лешек достаточно долго слушал звуки леса, чтобы понять, как ветки трещат от мороза, а как — под чьей-то ногой.

И все же они шли ему навстречу очень тихо, не переговаривались, не раздвигали ветвей руками... Но он как зверь ощутил их присутствие. Бежать назад? Далеко он не убежит, это понятно. Монахи — здоровые, крепкие ребята, они нагонят его за несколько минут, как только обнаружат его след. Наверняка они шли цепью. Но не через весь же лес они протянули эту цепь?

Лешек вернулся по своему следу назад — по проторенной дорожке двигаться было легче и быстрее, — а потом свернул в глубь леса, стараясь замести за собой след.

Среди деревьев темно, луна скрылась, и даже если они станут светить себе факелами, разглядеть потревоженный снег будет очень трудно. А факелами они светить не будут, они хотят остаться незамеченными.

Дело было трудным и двигалось медленно, а время поджимало. Они могли если не увидеть, то услышать его. Лешек скинул полушубок, и работа пошла быстрее. Саженой сто, если не больше, он полз назад, заравнивая за собой снег, когда услышал у реки голоса: они наткнулись на его следы. Но наткнулись на них не там, где он их оборвал, а ближе к реке, там, где он свернул к лесу, обнаружив поблизости слободу. Значит, он выскользнул из облавы очень удачно — увидев оборванный след сразу, они бы смотрели по сторонам внимательней.

Однако найти его теперь — дело времени. Их много, с рассветом монахи легко увидят весь его путь, как бы он ни старался замести следы. Значит, у него есть только один выход: пройти там, где его след не будет одиноким. Там, где прошла цепь.

На след монахов он наткнулся нескоро, продолжая засыпать за собой снег, — они двигались совсем близко к реке. Лешек надел полушубок мехом наружу и нарочно повалился в снег — так он будет не слишком виден издали. Пока темно и нет луны, у него есть возможность по следам преследователей добраться до слободы незамеченным.

* * *

Когда Лешек рассказал Лытке о разговоре с монахами, тот сначала забеспокоился и всячески Лешека оберегал и прикрывал, но, видно, Дамиану хватило того, что он напугал отрока до обморока, поэтому ничего страшного за неделю с Лешекком не случилось. А когда Дамиана рукоположили в иеродиаконы, Лытка просто взбесился от злости: он не боялся настоятеля приюта, он его презирал и ненавидел одновременно.

— Лытка, вот объясни мне, за что его сделали диаконом? — Лешек понял лишь, что с должности настоятеля Дамиана теперь точно не снимут, и очень расстроился. И Паисия он жалел: по всему было видно, что

иеромонах этим огорчен. А Лытка отличался не только силой и смелостью, он еще и хорошо разбирался в больших монастырских делах: ему доставляло удовольствие разведывать и собирать слухи об отцах обители, наблюдать за ними, выяснять, кто кого продвигает вперед и кто кому переходит дорогу. Лешек ничего в этом не понимал, но слушал измышления Лытки с удовольствием и удивлялся его проницательности.

— Авва двигает Дамиана, — с готовностью ответил Лытка, — но не может же он совсем не прислушиваться к иеромонахам?

— Но ведь раньше он ему отказал? Все же знали...

— Ну какой из Дамиана иерей? Знаешь, я думаю, он и в Бога-то не очень верит... — это Лытка на всякий случай сказал шепотом, — авва тоже не дурак. Если Дамиан станет иеромонахом, то его, чего доброго, сделают игуменом, он же такой, без масла куда хочешь влезет... Ведь это не авва будет решать, а где-нибудь повыше. Епископы какие-нибудь... Представь себе Дамиана на месте аввы! Да он весь монастырь разнесет со своими помутнениями!

Лешек судорожно хохотнул: ему совсем не хотелось видеть Дамиана на месте аввы. Авву он, правда, встречал только на праздничных службах и ничего о нем толком не знал. Но Дамиана на этом месте представлял хорошо.

— А зачем авва его тогда двигает?

— Не знаю. Не понимаю я этого. Или он хочет весь монастырь сделать похожим на наш приют? Чтобы все по струнке ходили... Не знаю.

— Противно получилось, — вздохнул Лешек. — Паисий хотел Дамиана убрать, потому что у него сана нет, а вышло еще хуже... Может, авва просто не знает, какой Дамиан на самом деле? Может, с аввой он прикидывается добрым?

Лытка пожал плечами, что могло означать все что угодно: от его неуверенности до полного согласия с этими словами. Лешеку хотелось думать про авву хорошо: пусть в монастыре будет хоть один человек, на которого можно уповать в случае чего. Из этой истории он сделал вывод, что Паисий не имеет настоящей власти и надеяться на его заступничество не приходится.

Лытка сказал, что Дамиан забудет эту историю. Наверное, он просто хотел Лешека успокоить, но Дамиан и вправду его не трогал, удовлетворившись маленькой победой над Паисием. Лешеку от этого было не менее страшно, он обмирал при виде Леонтия и старался ходить по стеночке, как мышка. Но прошло время, все забылось, жизнь вошла в привычное русло, и в следующий раз он столкнулся с Дамианом только через год.

Лешеку к тому времени исполнилось одиннадцать, а Лытке — тринадцать, причем Лешеку никто бы не дал больше восьми, а его друга запросто можно было принять за пятнадцатилетнего юношу: он вытянулся и заметно раздался в плечах, у него начал ломаться голос, а над верхней губой пробивался светлый пушок.

Паисий на время запретил Лытке петь, и Леонтий определил ему другое послушание — поставил помощником к старому углежogu Дюжу. Дюж, человек довольным крупный и мрачный, на проверку оказался добрым, жалел Лытку, называл его «чадушко», отчего тот слегка обижался, и не подпускал к работе.

— Побегай, чадушко, поиграй. Когда еще доведется?

Лешек завидовал Лытке — уголь жгли в лесу, у Ближнего скита, а походы в лес Лешек очень любил. Во второй половине лета и осенью мальчиков отправляли за ягодами и грибами, но стоял солнечный май, а до июля надо было дожиться.

Времени на игры у детей в приюте и вправду не было: в обычные дни не менее шести часов отнимали церковные службы, а остальное время ребят, как и других насельников, занимали послушанием. Певчим повезло больше остальных — их послушание состояло в спевках, остальные же приютские помогали на скотном дворе или в мастерских. Только после ужина, если не служили всенощную, мальчики были предоставлены сами себе — от повечерий и полунощниц их освобождали.

Воскресенья и праздники Лешек ненавидел: несмотря на любовь к пению, отстоять на клиросе всенощную — а она заканчивалась в половине пятого утра — само по себе было тяжело, а уже к восьми требовалось явиться к исповеди, к десяти снова подниматься на клирос и петь во время трехчасовой литургии, после обеда — какой-нибудь молебен, а в шесть пополудни — опять служба...

В субботу вечером он непреодолимо хотел лечь и умереть, а в воскресенье после ужина засыпал как убитый, хотя воспитатели обычно расходились по кельям и время считалось очень подходящим для веселья и шалостей. Правда, и послушаний никаких в воскресенье не назначали, но Лешку от этого легче не становилось.

— Лытка, вот объясни мне: зачем нужны эти всенощные? — интересовался Лешек каждую субботу. И тогда Лытка пускался в рассуждения о Боге.

— Я думаю, это такой бог, которому надо служить. Иначе он останется недоволен. Чем больше ему служишь, тем больше ему нравится.

— Лытка, мы и так все попадем в ад, так зачем мучиться еще и при жизни?

— Ну, я думаю, не все. Вот схимники, например.

— Знаешь, когда я думаю про схимников, мне в рай что-то не хочется... Представь себе, что это за рай, в котором никого больше нет, кроме чернецов...

— Все равно служить надо. Ведь Бог может покарать и здесь. Если ему не служить, возьмет и устроит конец света. Или убьет молнией. Леонтий рассказывал, помнишь? Про нерадивого отрока?

Лешек, конечно, помнил. Много лет назад, когда сам Леонтий был мальчишкой, одного из приютских — по словам Леонтия, нерадивого в служении Богу, — на самом деле убило молнией. Монахи иногда поминали его молитвой в годовщину смерти, и одинокое дерево с обугленной верхушкой, около которого он погиб, до сих пор стояло недалеко от монастырской стены. Эту историю частенько рассказывали в назидание мальчикам, и на маленького Лешка она нагоняла такого страха, что он неизменно плакал в конце. Каждый раз, когда рассказ доходил до того места, где мальчик бежал к дереву, Лешек надеялся, что Бог промахнется и молния ударит мимо. Но — как ни странно — история всегда заканчивалась одинаково: злой бог достиг дитя и убивал. Лешек даже сочинил песню, в которой мальчику удалось спрятаться в лесу, и бог, рассерженный неудачей, долго кружил над ним, но деревья надежно укрыли отрока сенью своих ветвей.

По воскресеньям Лешек Бога особенно ненавидел и думал: как было бы здорово, если бы нашелся какой-нибудь отважный герой, который бы поднялся на небо,

убил его и освободил людей от непосильного ему служения. Наверное, Иисус хотел спасти людей от Бога, но выбрал для этого какой-то странный путь, а потом, все же поднявшись на небо, и вовсе остался там и помогает теперь вершить страшный суд.

Лытка службами не тяготился: он осиротел довольно поздно и, по сравнению с тяжелым трудом землепашца, многочасовое стояние на клиросе трудным не считал. Зато он ненавидел пост. Лытка всегда хотел есть, хотя кормили приютских не так уж плохо: и молоко, и яблоки, и каша с постным маслом, и рыба по праздникам. Наверное, он рос слишком быстро и ему действительно не хватало того, что отпускалось детям строго по уставу. В постные дни Лытка непременно был скучным, а к концу продолжительных постов становился раздражительным и несчастным. Лешек, который к еде относился равнодушно, делился с ним, что, кстати, строго запрещалось монастырским уставом, но легче от этого Лытке не становилось.

Оказавшись помощником углежога и несколько часов в день предоставленный сам себе, Лытка, конечно, ни во что не играл — вышел из этого возраста, — но зато получил возможность обследовать окрестности монастыря, и в первую очередь Ближний скит. По вечерам он рассказывал Лешеку о своих приключениях, и Лешек завидовал ему еще сильнее.

Вообще-то в ските никто не жил: три отдельно стоящие кельи пустовали с давних времен, а в маленькой часовне раз в год служили молебен преподобного Агапита, игумена Усть-Выжской Пустыни, умершего лет пятьдесят назад. Однако скит не был заброшен: дорожки двора тщательно выметены, избы подправлены — хоть сейчас въезжай и живи. Лытка не понимал, зачем это нужно, пока однажды, без дела шатаясь по лесу, не увидел цепочку монахов, молча пробиравшихся через лес к скиту.

Он присел, спрятавшись в малиннике: монахи шли тихо, как будто крались, и с ними вместе был один человек, одетый в мирское, по-военному. Когда же в одном из монахов Лытка узнал авву, а в другом — ойконома Гавриила, то не смог преодолеть любопытства и решил непременно за ними проследить.

Монахи вошли в небольшую, отдельно стоящую трапезную скита, внимательно осмотревшись по сторонам,

но Лытку, разумеется, не увидели — он умел прятаться. Один из монахов остался снаружи и время от времени обходил домик по кругу, как будто чуял, что кто-то захочет подслушать разговор. От этого Лытке еще сильнее захотелось узнать, о чем они говорят.

С задней стороны, к трапезной вплотную, густо росла смородина, и Лытка, дождавшись, пока сторож скроется за поворотом, спрятался за ней и прижался к бревенчатой стене: с тропинки, по которой ходил монах, разглядеть Лытку было нельзя, зато он слышал все, что происходило за стеной.

В этом разговоре Лытка сначала ничего не понимал, но быстро догадался, что военный — один из приближенных князя Златояра, который, по сути, стал лазутчиком монастыря. Военный рассказывал о князе, о его ближайших замыслах и, в чем Лытка не сразу смог разобраться, о далеко идущих намерениях. Это было так интересно, что он забыл про все на свете и, открыв рот, жадно ловил каждое слово, стараясь запомнить то, что не понял сразу. За сухими словами война ему виделась княжеские палаты, конница с развевающимися плащами, жители деревень, прячущиеся по домам при виде отряда сборщиков податей. Монахи обговаривали сказанное сдержанно, а после и вовсе перешли на обсуждение монастырских дел, что Лытке показалось еще интересней.

Вечером он, захлебываясь от восторга, передавал услышанное Лешеку, но взял с него клятву никогда никому об этом не говорить. А потом долго не мог уснуть, переваривая услышанное, додумывал остальное и следующим вечером снова говорил с Лешком — теперь уже о своих соображениях.

Лешек не очень хорошо разбирался в таких высоких материях, но слушал Лытку с удовольствием. Из рассказов он понял только, что князь Златояр притесняет монастырь и обирает его деревни, отчего в обители скоро совсем нечего будет есть. Подати, которые крестьяне платили монахам, ушли в кошелек князя, и у крестьян нечего больше взять. И никакое Божье слово не поможет убедить деревенских в том, что людям князя ничего отдавать нельзя: его дружина действует силой, а не убеждением.

За месяц Лытка выяснил, что собираются монахи в скиту два раза в неделю — в понедельник и среду. Причем

в среду всегда приходит лазутчик, а в понедельник они просто обсуждают монастырские дела, не предназначенные для чужих случайных ушей. Лешеку очень хотелось хотя бы раз побывать там вместе с другом, посмотреть на незнакомого воина, послушать, о чем говорят между собой авва и ойконом, когда их никто не слышит. Его не очень волновали ссоры с князем, но зато внутренняя жизнь обители касалась его напрямую. Что авва думает о Паисии, о Дамиане, какими словами они говорят друг о друге — всего этого Лытка как следует рассказать не мог, он больше интересовался внешней стороной дела. Да и вообще, такое увлекательное приключение будоражило его кровь: лес, скит, тщательно оберегаемые тайны и причастность к чему-то большому, важному, вместо скучной приютской жизни и надоевших богослужений.

Лытка тоже хотел хоть раз взять Лешека с собой — может быть, для подтверждения собственных рассказов, а может и потому, что вдвоем это гораздо интересней. Но не мог же Лешек прямо попросить отца Паисия отпустить его погулять по лесу вместе с Лыткой!

И тогда Лытка придумал маленькую хитрость, на которую ни один воспитатель бы не поддался, зато отец Паисий наверняка не заподозрил бы подвоха: Лешеку надо было притвориться больным, но не раньше, чем на спевке, потому что иначе воспитатели могли быстро его раскусить. В понедельник после завтрака Лытка сам угольком изобразил Лешеку черные круги вокруг глаз, и без того больших и глубоких. Вид получился впечатляющий: хиленький мальчонка на грани истощения, на лице одни глаза остались. Он велел Лешеку почаще тяжело вздыхать и петь как можно тише.

Надо сказать, Лешеку было не очень приятно обманывать отца Паисия, но по дороге в церковь он так повеял в свой обман, что и вправду начал чувствовать себя изможденным и больным: после воскресенья это было неудивительно. Разумеется, Паисий, услышав два-три тяжелых вдоха, сам спросил Лешека о самочувствии и отправил его в приют, выспаться и отдохнуть. Ни в какой приют Лешек, конечно, не пошел, а потихоньку, вдоль монастырской стены, проскользнул к восточным воротам, где его ждал Лытка. До Ближнего скита они пошли кружной дорогой, чтобы не попасться на глаза

монахам. И только тут Лешек подумал о том, насколько рискованное дело они задумали.

— Слушай, Лытка, а что будет, если нас поймают? — он приостановился, раздумывая.

— Высекут, — усмехнулся Лытка.

Таким отчаянным трусом, как год назад, Лешек уже не был, но у него все равно передернулись плечи.

— А ты что, боишься? — спросил Лытка и посмотрел на Лешека с вызывающей улыбкой.

— Нет, — поспешил ответить Лешек — он во всем хотел быть похожим на Лытку, — я не боюсь. Но, знаешь, мне кажется, так легко мы не отделаемся... Наверняка об этом расскажут не Леонтию, а Дамиану.

— Да ну! Ты слышал, что Дамиану запретили бить приютских его плеткой? Чтобы он не убил никого ненароком.

— Нет. Ну и что, что запретили. Он все равно с ней ходит... — Лешек не сомневался, что нарушить запрет Дамиану ничего не стоит.

— Да ладно, пошли, никто нас не поймает! — рассмеялся Лытка. — Я целый месяц хожу, и ничего.

Но Лешека мучило нехорошее предчувствие, он все чаще вздыхал, однако делиться с Лыткой опасался — чего доброго, его друг и вправду решит, что ему страшно.

Они успели залезть в смородину до того, как в ските появились монахи, но сидеть без дела им пришлось недолго. У Лешека от волнения стучали зубы: он так долго ждал этой минуты, и наконец его мечта сбывается! Он даже забыл о своих смутных сомнениях, а страх только усиливал нетерпение. В глубине души он, конечно, мечтал, чтобы все поскорей закончилось благополучно и они с Лыткой вернулись в приют. Лешек уже представлял себе эту обратную дорогу по солнечному лесу, и их разговор, и гордость собой за столь дерзкую вылазку.

Монахи подошли к трапезной бесшумно, Лешек услышал их, только когда раздался скрип двери. И волнение его было вознаграждено сторицей: поговорив немного о запасах зерна на конец лета и сборе податей будущей осенью, монахи стали обсуждать Дамиана. Разговор их был долгий и путанный, Лешек не все в нем понимал.

— Я думаю, Дамиана рано поднимать наверх, — мрачно сообщил ойконом, — он не вполне владеет собой,

гневлив и, между прочим, понимает, что авва ему благоволит, поэтому ведет себя не всегда выдержанно.

— Ну и что? — возразил благочинный. — Он молод, а этот недостаток со временем, как известно, проходит. Не забывайте, в одночасье он ничего не добьется, ему потребуется несколько лет для того, чтобы его начинание стало приносить настоящую пользу.

Монахи говорили по очереди и не перебивали друг друга, Лешку показалось, что кто-то — наверное, авва — делает им знаки, когда можно начинать говорить.

— Я считаю, что у него есть другой недостаток, — сказал иеромонах, голоса которого Лешек не узнал, — он равнодушен к мнению о нем братии и, что будет сильно мешать, к мнению иеромонахов. Духовники мальчиков жалуются на него, Паисий только и ищет повода прижать его к ногтю, а Дамиану — как с гуся вода.

— Паисий ничего не решает, — не согласился благочинный.

— Паисий — да, но лишний ропот нам тоже не нужен. И потом, Дамиан не любит отроков и запугивает их сверх меры.

— Э, тут ты не прав, — снова вступил в разговор ойконом. — Мы позволили ему действовать по его усмотрению и не чинили препятствий. И посмотрите, как он расставил людей, добился послаблений для воспитателей. Я посмеивался и восхищался тем, с какой легкостью ему удалось сократить послушания для мальчиков, как он наладил хорошее питание — между прочим, мальчики сейчас едят больше, чем некоторые монахи, а с послушниками я бы и сравнивать это не стал. Он отлично ведет хозяйство, и при всем при этом приют приносит пользы больше, чем требует расходов. Вся заготовка грибов и ягод лежит на отроках, а пять лет назад они не собирали и трети всех запасов. Раньше монахи отказывались от помощи приютских и считали их обузой, а не подспорьем, а теперь наоборот — рады и даже просят в помощь мальчиков. А ведь время, отпущенное на послушание, он сократил почти вдвое.

— Конечно, дети настолько запуганы воспитателями, что опасаются отлынивать от работы.

— Нет. Это, конечно, тоже имеет значение, но основная заслуга Дамиана не в этом: мальчики высыпаются,

достаточно отдыхают, хорошо едят — неудивительно, что они больше не похожи на голодных сонных мух, которых мы видели пять лет назад. Знаете, как он добился полных корзинок с ягодами, которые приносят ему из леса? Во-первых, поход в лес в приюте считается наградой, туда не пускают тех, кто нарушает порядок. Во-вторых, мальчикам не запрещают есть ягоды, но при этом они должны собрать полную корзинку. Раньше дети выбирались в лес, чтобы набить живот и подремать под кустиками, теперь же — чтобы погулять с пользой для дела.

Лешек слушал открыв рот: ему никогда не приходило в голову, что Дамиан заботится о них и добивается для них каких-то послаблений. Он, конечно, слышал, будто раньше послушания начинались в шесть утра и заканчивались в десять вечера, но никак не связывал это послабление с Дамианом — в те времена он был слишком мал, чтобы понимать разницу между воспитателем и настоятелем приюта.

— Но в приюте действительно не уделяют должного внимания вере, — сказал кто-то незнакомый Лешеку по голосу, — детей заставляют вызубривать непонятные для них канонические тексты, и, если бы не проповеди, они бы вообще не имели представления о Боге!

— Ну, это можно отнести к просчетам Дамиана и даже пожурить за это, но сейчас-то мы речь ведем не об этом, — вставил благочинный.

— Дамиана нужно держать в ежовых рукавицах, — этот голос Лешек тоже не узнал, — он слишком... пронырлив и слишком любит власть. И его начало над приютом это лишь подтверждает. Я думаю, он может стать опасным не только для наших врагов, но и для нас, рано или поздно.

— Дамиан никогда не подставляет своих людей, — добавил благочинный, — заметьте, он ни разу ни одной своей неудачи не списал на воспитателей или воспитанников. Он принимает ответственность за их поступки на себя и разбирается, как с отроками, так и с воспитателями, самостоятельно.

Все замолчали, и молчание длилось довольно долго, пока наконец Лешек не услышал голос аввы:

— Я выслушал всех, кто хотел что-то сказать? Тогда я скажу так: Дамиана не стоит пускать наверх. Пока.

Пусть остается настоятелем еще некоторое время, вернемся к этому через год-другой. Но мы можем ввести его в наш круг — это будет для него полезно и приятно, толкнет вперед. Он будет понимать, в чем состоит его задача, и, возможно, уже сейчас начнет ее решать. И те несколько лет, которые отделяют его от той самой «настоящей пользы», он может благополучно совмещать с должностью настоятеля приюта.

Лытка, слушавший монахов сжав зубы и сузив глаза, от злости хлопнул кулаком по коленке: никакие заслуги Дамиана не могли поколебать ненависти Лытки к нему. Лешек понял, что чувствует Лытка: разочарование в авве и крушение надежд на то, что Дамиан когда-нибудь будет наказан по заслугам. Его детское, немного наивное представление о главах обители трещало по всем швам, и если Лешек спокойно принял грубую откровенность этого обсуждения, то Лытка принимать такого не желал.

Он был так возмущен, что еще раз хлопнул рукой по коленке и со свистом втянул в себя воздух. Это он сделал напрасно: монах, обходивший трапезную дозором, услышал странный звук и быстрыми шагами направился в их сторону. Лешек сполз на землю, поглубже зарылся в кусты и прикрыл руками голову, стараясь слиться с травой и смородиной, но Лытка был слишком большим для такой уловки — как только сторож раздвинул ветки, он тут же обнаружил его вихрастую голову, которую и ухватил за волосы.

— Хо! — крикнул монах, и разговор за стенкой немедленно стих.

Лешек лежал ни жив ни мертв. В голове появилась мысль немедленно кинуться на сторожа и попытаться вызволить друга, но страх сковал его движения, и за то короткое время, пока монах вытаскивал Лытку из кустов на тропинку, Лешек так и не собрался с духом это сделать. А потом было поздно, потому что неожиданно подбежать к монаху сзади у него бы точно не получилось.

Сторож ни слова не говоря потащил Лытку в трапезную — Лешек услышал, как открывается дверь. Наверное, для него это был самый подходящий случай убежать незамеченным, но бросить друга вот так, даже не выяснив, что с ним произойдет дальше, он посчитал совсем позорным.

— Я вытащил его из кустов смородины, — сказал сторож, — я думаю, он подслушивал.

Монахи не вскакивали с мест и не шумели. Лешек показалось, что они даже не удивились.

— А Дамиан молодец... — глухо засмеялся ойконом. — Такого я от него не ожидал.

— Я не вижу в этом ничего смешного, — возразил некто, с самого начала нападавший на Дамиана. — Не сомневаюсь, что он догадывался о наших сходах, но это вопиюще! Посылать лазутчика к самому авве!

— Погодите, — оборвал его благочинный. — Может, мы сначала спросим отрока, зачем он здесь и кто его прислал?

— Чадо, — обратился к Лытке сам авва, — скажи нам, что ты тут делал?

— Я оказался здесь случайно, — Лешек по голосу догадался, что Лытка вовсе не испугался, — и мне стало очень любопытно. Прости меня.

Голос у Лытки был смешной — то он басил, а то срывался на писк.

— И отец Дамиан тебя сюда не посылал?

Видно, Лытка покачал головой, потому что ответа Лешек не услышал.

— Брат Василий, сходите в приют и позовите сюда отца Дамиана, — попросил авва. — Вот для него и настала минута появиться здесь по приглашению. Хороший повод, ничего не скажешь.

По голосу аввы невозможно было догадаться, сердится он или, наоборот, доволен случившимся. Монах, дозором обходивший трапезную, вышел во двор, и Лешек услышал его скорые удаляющиеся шаги.

— Ты был один? — спросил авва, и от этого вопроса Лешек обмер. Нет, он нисколько не сомневался в том, что Лытка его не выдаст, но ведь ему придется солгать самому авве! А вдруг это как раз такой грех, за который Бог непременно поразит его молнией?

— Один, — спокойно ответил Лытка.

— Отец Гавриил, посмотрите, пожалуйста, нет ли там еще одного лазутчика.

Лешек понял, что надо срочно менять расположение, выскользнул из кустов, перебежал тропинку и спрятался за толстым дубом, сжавшись в комочек у его корней.

Но ойконом не стал обыскивать весь двор, осмотрев только смородиновые кусты, да и то не очень тщательно. Нет, убежать Лешек не мог. Он бы никогда не простил себе этого. Вернуться в смородину он побоялся и нашел себе другое укрытие, в зарослях высокого иван-чая сбоку от крыльца трапезной. Оттуда почти ничего не было слышно, а говорили монахи негромко, зато был виден вход и ворота скита.

Лытка потом рассказал ему и о разговоре с монахами, и о приходе Дамиана. По словам Лытки, Дамиану устроили настоящую выволочку, как будто и не посмеивались перед этим над его приткостью, и не восхищались его успехами. И уж конечно не позвали к себе в друзья, как решил до этого авва. Лытка чуть было не поверил в то, что его подслушивание перечеркнет будущее Дамиана. Монахи нисколько не сомневались в том, что Лытку послал настоятель приюта, но припомнили ему и жалобы Паисия, и его неумение держать себя в руках, и много других мелких прегрешений. Дамиан огрызался и оправдывался, ссылаясь на то, что Лытка должен был помогать Дюжу, но отлынивал от работы. На что ойконом, который несколько минут назад расхваливал работу отроков, не преминул заявить:

— Приютские дети часто относятся к послушаниям без должного рвения. Их работу приходится проверять, они все время ищут способа увильнуть от нее, и сегодняшней случай — не исключение, а закономерность. И это твой огрех! Стоит побольше внимания уделять отрокам, а не своим тщеславным замыслам. Почему бы не разъяснить чадам, что монастырь — это семья и что монахи недаром зовут друг друга братьями?

Ойконом сделал паузу, но Дамиан молчал, и, слушая рассказ Лытки, Лешек живо представлял его лицо: с виду спокойное, но с горящими глазами и бегающими по скулам желваками.

Ойконом продолжил, так и не дождавшись ответа:

— Благодаренье Богу, каждому из отроков повезло оказаться здесь, и мы заботимся о них не ради того, чтобы они на нас работали, но трудиться нам заповедал Господь, и вот этого-то как раз твои воспитанники не понимают. Может быть, воспитателям надо почаще говорить с детьми о божественном? Как ты считаешь?

На это Дамиану пришлось ответить, и голос его был как будто спокоен:

— Разумеется, отец Гавриил. Мы сегодня же поговорим с детьми о божественном.

— Иди с глаз моих! — добродушно усмехнулся авва. — Надеюсь, ты сделаешь из этого разговора верные выводы.

Лешек видел, как Дамиан вывел Лытку на крыльцо, сжимая его руку чуть выше локтя. Лицо архидиакона перекосила гримаса брезгливой ярости:

— Ну что? Поговорим о божественном? — рявкнул он и тряхнул Лытку за руку.

Лытка и тут не испугался, и Лешек с ужасом смотрел на то, как его друг сам роет себе яму: ему достаточно было пересказать, что он услышал, для того чтобы Дамиан сменил гнев на милость. Но он промолчал, с вызовом глядя настоятелю в глаза.

— Шкуру спуцу, — прошипел Дамиан и сдернул Лытку с крыльца вслед за собой. Видно, его задело бесстрашие мальчишки, потому что он поспешил добавить: — И не надейся на розги, это для тебя будет слишком ласково.

Лешек зажал рот рукой — Дамиан хочет наказать Лытку своей страшной плеткой! И в этом нет ничего удивительного: если авва не поверил, что Дамиан Лытку не посылал, то тому придется избить мальчику до полусмерти, если не до смерти, чтобы убедить авву в обратном.

Они проходили в двух шагах от головы Лешека, и тот зажмурился от страха: ему казалось, что Дамиан насквозь видит заросли иван-чая.

— Тебе запретили бить приютских плетью! — с вызовом ответил Лытка на его угрозы, и Лешек зажал рот еще крепче — что же Лытка делает! Зачем он грубит Дамиану? Или считает, что ему нечего терять? Так ведь есть, есть!

— Поговори, щенок! — Дамиан дернул Лытку за руку сильней и потащил вперед, ускорив шаги. Если бы он так сжал руку Лешека, она бы наверняка сломалась.

— Не думай, что об этом никто не узнает! Я расскажу Паисию! — злобно процедил Лытка.

— Не успеешь... — хмыкнул Дамиан. Лешек не видел его лица, но легко его представил, и ему стало так страшно, что пересохло во рту. Надо что-нибудь

сделать! Надо подбежать сзади и наброситься на Дамиана, чтобы Лытка успел вырваться и убежать! Но вряд ли они смогут одолеть взрослого мужчину даже вдвоем, а Дамиан славился силой и среди монахов. И если они не смогут убежать, то тогда будет ясно, что Лешек подслушивал тоже, и тогда... Нет, так действовать следует только для того, чтобы очистить совесть...

Может быть, войти в трапезную и сказать авве, что Дамиан собирается убить Лытку? Лешек вспомнил, с какой насмешливостью монахи обсуждали дела обители, и понял, что им наплевать, убьет Дамиан Лытку или нет: они, чего доброго, с улыбками восхитятся находчивостью Дамиана и возведут это ему в заслугу. И потом, ему и тут придется признаться, что он подслушивал тоже...

Дамиан уже провел Лытку через открытые ворота, а Лешек никак не мог решиться на какой-нибудь поступок и мучился, разрываясь между страхом, совестью, любовью и жалостью к другу и желанием ему помочь. Лытка бы на его месте не рассуждал — он бы действовал, отчаянно и бесстрашно.

Паисий! Вот единственный человек, который может помочь! Ему на Лытку не наплевать, он не любит Дамиана, он обязательно Лытку спасет! Но Паисий в летней церкви, а мимо нее лежит самая короткая дорога к приюту от восточных ворот.

Надо обогнать Дамиана, во что бы то ни стало! Успеть! Лешек хотел вскочить, но вовремя опомнился: настоятель уводил мальчика по тропинке в лес, и ему стоило лишь оглянуться, чтобы увидеть Лешека и все понять. Но как только они скрылись за деревьями, на крыльце вышел монах-сторож и внимательно оглядел скит. Лешек прижался к земле и зажмурился: он не успеет! Если он будет прятаться и дальше, то не успеет! Монах его не догонит, надо немедленно вставать и бежать! От страха дрожали коленки, Лешек собирался с духом, глубоко вздыхал, подбирался... но так и не решался подняться на ноги.

Монах стоял на крыльце целую вечность, но потом, оглядевшись как следует, все же начал снова обходить трапезную кругом. Лешек дождался, когда он скроется за стеной, — теперь надо было действовать тихо и быстро, а это он умел.

Он бежал через лес со всех ног, как заяц перепрыгивая через кочки, ныряя под развесистые еловые лапы, спотыкаясь о корни и разбивая коленки. Ему пришлось огибать прямую тропу, ведущую к скиту от восточных ворот, чтобы Дамиан не только не увидел его, но и не услышал.

Но как только он выскочил на открытое пространство перед монастырской стеной, так сразу понял, что опоздал: Дамиан подводил Лытку к воротам. Ни обогнать его, ни пробежать незамеченным Лешек ну никак не успевал! Ему пришлось снова ждать и мучиться страхом и угрызениями совести до тех пор, пока Дамиан не зашел на монастырский двор.

Лешек перелетел открытое поле, которое просматривалось со всех сторон, быстро, как ласточка, — вперед его подгонял страх быть замеченным — и побоялся бежать к летней церкви напрямик, пустился в обход, прячась в тени ограды скотного двора. Он видел удалявшуюся спину Дамиана, которому до дверей приюта оставалось всего несколько шагов.

Из окна летней церкви доносилось пение взрослых — красивый высокий голос выводил сложную мелодию канона, и снизу его подхватывал хор, разложенный на нескольких голосах. Мальчики так петь не умели, им было положено сидеть, слушать и учиться такой же слаженности и чистоте звуков. Лешек подумал об этом невольно, между делом.

Спевки Паисий устраивал на хорах, чтобы не мешать прибирать храм и готовить его к новой службе, да и голоса сверху звучали красивей и звонче. Лешек вбежал в церковь с бокового входа и крикнул, так громко, что у него самого заложило уши:

— Отец Паисий! Скорей! Пожалуйста!

И только после этого подумал, что Паисий по своей наивности запросто может сказать Дамиану, кто его позвал. Но было поздно: его крик гулко разлетелся под деревянными сводами, и хор замолк, а Паисий посмотрел вниз.

— Скорей, спаси Лытку! Дамиан хочет убить Лытку!

Вообще-то орать в церкви было не положено, и за одно это Лешеку могли устроить изрядную выволочку. Да и такое обращение к иеромонаху несколько нарушало

приличия... И Дамиана следовало назвать отцом Дамианом... Лешек растерялся, испугавшись того, что сделал, но отец Паисий понял, что случилось, и простил эту наглую выходку. Во всяком случае, ничего Лешеку не сказал, а очень быстро начал спускаться вниз, едва не спотыкаясь на крутых ступенях.

Вместе с ним к приюту направились двое здоровенных певчих, из чернецов, и это Лешеку понравилось больше всего — ведь Дамиан мог и не послушаться Паисия.

Лешек не смел просить их двигаться быстрее — иеромонах и так перебирал ногами со всей возможной торопливостью, — но сам успел добежать до дверей приюта и вернуться обратно и снова побежал вперед. Он был уверен, что они опоздают!

Но Дамиан явно не ожидал, что ему кто-то может помешать, да еще и в его собственной вотчине, поэтому никуда не торопился. И вышло все гораздо лучше, чем могло бы: появившись Паисий на минуту позже — и Лытка могли и не спасти, а секундой раньше — Дамиан бы отговорился и выпроводил монахов восвояси.

От дверей приюта хорошо была видна трапезная, и один из певчих — помоложе и посообразительней — бегом пронесся по коридору. Лытка был привязан к лавке, и Дамиан занес над ним плеть, когда Паисий крикнул:

— Остановись, Дамиан! Ты убьешь дитя!

Впрочем, остановили архидиакона не слова иеромонаха, а твердые руки певчего. Лешек побоялся зайти в трапезную, наблюдая за происходящим у двери в спальню, готовый в любую секунду за этой дверью скрыться. Он думал, что воспитатели придут Дамиану на помощь, но те только отступили в сторону, не желая вмешиваться: они боялись настоятеля, но его выходку вряд ли одобряли.

Дамиан сопротивлялся и сквернословил, и, надо сказать, двойм певчим с трудом удалось его скрутить. Паисий негодовал: его подбородок дрожал от возмущения и руки сжимались в кулаки, чего Лешек от иеромонаха не ожидал.

— Не сомневайся, после этого я добьюсь, чтобы тебя убрали из приюта! — выговорил он с тихой злобой, но

Дамиан с заломленными за спину руками только рассмеялся ему в ответ.

— Развяжите отрока, — велел Паисий воспитателям. — Я не знаю, в чем он виноват, но смертью преступления ребенка карать не стоит.

Воспитатели переглянулись и не посмели ослушаться.

— Мы пойдем к авве, — сообщил иеромонах и с достоинством кивнул ухмылявшемуся Дамиану, — и он сам решит, что с тобой делать.

Лешек благоразумно спрятался за дверь и, когда Паисий увел Дамиана, сидел тихонько в спальне, надеясь, что Лытку отпустят и они сообща решат, что делать дальше. Но Лытку не отпустили, а заперли в кладовой, и Лешек снова испугался: если кто-нибудь зайдет в спальню, то сразу догадается, что Паисия позвал Лешек, и Дамиан ему этого никогда не простит. Он сел на пол за кроватями, чтобы его нельзя было увидеть от двери, но не сомневался: его обязательно начнут искать и найдут.

А потом вспомнил, что все певчие, и мальчики, и взрослые, видели и слышали, как он позвал Паисия. И кто-нибудь обязательно расскажет об этом воспитателям, а те доложат Дамиану. От этого ему стало еще страшней, почти до слез. Он думал про Лытку: ведь авва ни за что не уберет Дамиана из приюта, теперь это ясно, как божий день. И что будет, когда Дамиан вернется? Что он сделает с Лыткой?

Лешек дрожал в спальне до самого обеда — службу он пропустил, потому что боялся высунуть нос в коридор.

Дамиан появился в приюте, когда мальчики обедали, и, как ни странно, был весел и доволен собой. Он зашел в трапезную, обвел глазами своих воспитанников, поманил рукой Леонтия и сказал, нарочно громко, чтобы его все слышали:

— Разузнай, кто сдал меня Паисию. Хотя, я, наверное, и сам догадаюсь...

Он снова внимательно посмотрел на ребят, и Лешеку стоило большого труда не сползти под стол: ему казалось, что Дамиан давно понял это и теперь просто играет с ним, как кошка с мышью. Да и глаза певчих непроизвольно косили в его сторону.

Лытку не выпустили из кладовой до ужина, а после ужина все равно высекли, «взрослыми» розгами, и

настолько сильно, что он не смог сам встать с лавки — Леонтий постарался угодить Дамиану. Лешек жмурил глаза и вздрагивал от каждого удара, но Лытка ни разу даже не застонал.

Двое ребят постарше помогли ему дойти до спальни и уложили на кровать, и только тут Лешек увидел, что Лытка прокусил себе губу до крови. Лешек присел около него на колени и расплакался от жалости: как бы его друг ни хабрился, розги все равно ободрали кожу на спине.

— Лытка, — Лешек погладил его руку, — Лытка, тебе очень больно?

Лытка повернул голову в его сторону, слегка зажмурив один глаз.

— А чего ты ревешь? — спросил он и улыбнулся.

— Просто.

— Да ты чего, меня жалеешь, что ли? — он улыбнулся еще шире.

— Ну да...

— Не реви, все хорошо! — он неловко положил руку Лешеку на голову и пошевелил его волосы. — Это чепуха! Вот если бы Дамиан меня плеткой высек, то еще неизвестно, был бы я сейчас жив или нет. А это — чепуха!

Лешек кивнул: наверное, Лытка прав. Но плакать все равно не перестал.

— Знаешь, я очень хочу узнать, кто позвал Паисия, — Лытка кряхтя повернулся на бок, к Лешеку лицом. — Ну, спасибо сказать... и вообще — за такое я не знаю, чем и расплачиваться буду.

— Лытка, так это же я... — Лешек улыбнулся сквозь слезы: наконец-то и он сумел сделать для друга нечто такое, что тот ценит очень высоко. Единственное, что омрачило его радость, так это то, что Лытка мог бы и сам догадаться об этом. А так получалось, будто он совсем в Лешека не верил.

Но Лытка почему-то не обрадовался этому, а наоборот — сел на кровати и поднял Лешека за локти, чтобы не смотреть на него сверху вниз. И лицо у него стало встревоженным и напряженным. Он подозрительно осмотрелся по сторонам, убедился в том, что никто к ним не прислушивается, но все равно перешел на шепот:

— Да ты что? Это ты?

— Ну да...

— Лешек... — Лытка вздохнул и опустил голову. — Зачем же ты это сделал? Ты понимаешь, что ты сделал?

— Понимаю.

— Ничего ты не понимаешь... — Лытка сжал губы. — Я же ничего не смогу сделать, вообще ничего. Не могу же я сказать, что это я позвал Паисия...

— Зачем? — не понял Лешек.

— Я сейчас пойду к нему и попрошу, чтобы он сам что-нибудь придумал. Его же кто угодно мог позвать, правильно? Кто-нибудь из послушников, например.

— Лытка, ляг! Не надо! Дамиан все равно понял, что это я! И Паисия ты можешь встретить завтра, ведь правильно? И ребята видели, как я его позвал. Кто-нибудь меня сдаст, вот увидишь.

Лешек говорил это и страха не чувствовал. Он вдруг начал очень гордиться собой, и ему совсем не хотелось, чтобы Лытка думал, будто он жалеет о сделанном и боится гнева Дамиана.

Лытка обвел спальню взглядом исподлобья и громким баском сказал:

— Значит так! Тому, кто хотя бы намекнет воспитателям, что это Лешек позвал Паисия, я ноги вырву, и жить в приюте ему придется ой как несладко. Все поняли?

Обычно ребята его слушали, но Лешек понимал: если кто-нибудь его сдаст, его друг просто не узнает о том, кто это сделал.

Когда они улеглись спать, после рассказов и обсуждений случившегося, Лытка неожиданно окликнул его:

— Лешек, ты спишь?

— Нет. А что?

— Лешек, ты мой самый лучший друг.

У Лешака от счастья на глаза навернулись слезы, и он не смог ответить.

Снег скрипел. Не очень громко, но Лешека насто-
раживало и это. Монахи переговаривались за его спи-
ной — потихоньку; разобрать, о чем они говорят, он и не
пытался. Они шли так близко, что могли услышать не
только скрип снега, но и его дыхание. Но другого пути
у него все равно не осталось.

Лешек сознавал, насколько рискует и чем. Внутри
него натянулась тугая струна, которая грозила вот-вот
лопнуть и вытолкнуть наружу панику. Но ее натяжение
одновременно создавало полную сосредоточенность. Ни
одного лишнего движения. Ни одного лишнего звука,
вдоха, удара сердца. Чувства обострились: он видел все,
что мог увидеть, и слышал все, что мог услышать.

Белое поле, расстелившееся за кромкой леса, просмо-
тривалось со всех сторон и темным не казалось. Лешек
легко разглядел черные тени конных монахов, окружив-
ших слободу. В отличие от них, он был не столь хорошо
заметен на снегу.

Узкая дорожка следов вела к слободе, и снег вокруг нее
доходил Лешеку до середины бедра — пригнувшись, он
мог легко спрятаться от случайного пристального взгляда.
Он скользнул по тропе снежной тенью, светлой, как и про-
странство вокруг, — никто не заметил его передвижения,
никто не поднял тревогу и не направил коней в поле.

За нешироким оврагом, засыпанным снегом до самого
верха, вокруг слободы бежала проходящая утоптанная
тропа, по которой время от времени проезжали всадники,
всматриваясь в кромку леса. Лешек притаился в глубо-
ком снегу оврага — монахи, проложившие узкую дорож-
ку, здесь проходили к полю и здесь же вернутся обратно.
Именно поэтому конные так часто останавливались на
этом месте: они ждали вестей от прочесывавших лес. И
стоит только кому-то из тех, кто видел его следы, выйти на
край поля и дать конным знак, как его тут же обнаружат.

Лешек слушал конский топот, долго выбирал минуту
и в конце концов решил: поднялся наверх и юркнул
через тропинку к тени заборов, окружавших слободские
дома, слился со сплошными деревянными заборами.
Здесь его следов не найдут: единственная улица сло-
боды была не только растоптана, но и раскатана, как

ледяная горка. Он побоялся бежать — быстрое движение всегда заметней спокойного. Собаки, потревоженные монахами, и так лаяли в каждом дворе, появление еще одного человека не сильно их разволновало.

Один из всадников свернул на улицу и пронесся мимо замершего Лешека так близко, что тот лицом почувствовал тепло, шедшее от разгоряченных боков коня. Но всадник смотрел вперед, а не по сторонам. И тут же с тропы послышались крики; вслед за первым по улице промчались еще трое всадников, и Лешек понял, что монахи, нашедшие его следы, дали знать об этом конным. Интересно, они догадались, что он прошел по их следам? Если еще не догадались, то догадаются. Не сейчас, так на рассвете.

Он перевел дух и успокоил бешено бившееся сердце. Пока его никто не заметил и нет причин для паники. В слободе было около тридцати дворов, Лешек прошел до самого конца улицы — монахи теперь собрались на другой стороне, и здесь его никто не ждал. Зайти в крайний дом показалось ему неосмотрительным, и он выбрал третий с южной стороны, потому что в нем не было собаки. Пробраться в него огородами означало не только появиться на открытом пространстве, но и наследить. Лешек примерился, подпрыгнул и ухватился руками за обитую железом верхнюю кромку ворот.

Пальцы приклеились к железу, несмотря на то что оставались совершенно холодными — греть руки Лешек не решался с тех пор, как услышал прочесывавших лес монахов. Один рывок. Всего один, последний рывок. Очень быстрый: зависнуть над темным забором и дать рассмотреть себя издали в его замыслы не входило. Руки не хотели подтягивать его вверх, онемевшие пальцы нестерпимо заломило от холода. Лешек стиснул зубы, кое-как подтянулся, неловко перевалился через ворота и рухнул вниз, на утопанный снег двора. Удар о землю показался ему очень громким и очень болезненным. Пальцы жгло — кожу он оставил на кромке ворот.

В доме еще спали. Во всяком случае, так Лешеку показалось. Он осмотрелся и заметил под крыльцом низкую дверцу. Ходить по двору и искать другие входы он не решился и нырнул в темноту подклета: дверь не скрипнула. В подклете было гораздо теплей, чем на дворе, но

не настолько, чтобы согреться. Лешек ощупью пробрался на другую сторону дома, двигаясь на запах хлева, — наверняка это самое теплое место в доме, но и самое опасное: скотина может испугаться чужака и поднять шум. Да и выйдет хозяйка к скотине затемно.

Но если он не согреется, то не сможет идти дальше, мороз в конце концов убьет его. Пока его не начали искать, надо пользоваться передышкой. В лес ему все равно не уйти — он наследит, и с рассветом в поле его следы обнаружат в несколько минут. Может быть, хозяева сжалятся над ним, если найдут? Помогут спрятаться? Он не сомневался в том, что дома обыщут еще не раз, когда догадаются, что он ушел в слободу по их собственным следам.

Лешек почуял запах лошади — наверное, именно лошадям он доверял больше всего, хоть и понимал, что из всех обитателей хлева лошадь испугается быстрее остальных. Но конь лишь тихонько заржал, будто приветствовал его, и не поднялся с соломы — спокойный, ленивый битюг, не иначе. И даже волчий полушубок не напугал его — то ли потерял запах зверя, то ли хозяин лошади тоже носил волчий мех, что было бы неудивительно. Лешек привык к темноте, но ровно настолько, чтобы не наткнуться на стены. От коня веяло теплом, и Лешек нашел его голову ощупью, протянул на ладони немного пшена, чем окончательно его успокоил, и лег на солому рядом с огромным горячим телом, подальше от копыт, уповая на то, что умное животное не станет давить его своей спиной.

Сразу уснуть ему не удалось — он согревался медленно, дрожа от озноба. Руки, прижатые к спине лошади, ломило долго и нестерпимо, колени, едва прикрытые полушубком, саднило, как будто с них сорвали кожу, лицо горело и ныло. Лешек лежал, кусая губы, и думал, что надо было стряхнуть с полушубка снег, но встать и сделать это ему не хватило силы. Он не заметил, как заснул — словно провалился в черную яму, — и сон его больше походил на глубокий обморок.

В двух шагах стукнула дужка ведра, и он проснулся, не понимая, где он и что с ним происходит. Ему все еще было холодно, очень холодно, но это был не тот холод, что мучил его в лесу — скорее, его просто знобило.

Гладкая теплая шкура рыжего коня нервно подрагивала во сне, а в высокие маленькие окна пробивался скудный свет. Но Лешек все равно не разглядел хлева из-за загородки, только уловил движение через широкую щель между досками. И вскоре услышал, как тонкие струйки молока упруго и глухо бьются в деревянное донышко ведра: хозяйка доила корову. Лешек почувствовал невыносимый голод — рот наполнился слюной, скрутило желудок: он представил себе кружку густого теплого молока, не процеженного, пенистого, пахнущего коровой. За эту кружку он готов был отдать сейчас все что угодно. Что если попросить у хозяйки молока? Что ей стоит? Право, они не обеднеют...

Лешек прогнал из головы соблазнительные мысли, представив, как испугается хозяйка и какой поднимет крик. И если рядом с домом есть хоть один монах, они немедленно будут здесь, все. Ведь уже рассвело, они должны были понять, что он в слободе (больше ему спрятаться негде), и наверняка обыскивают дом за домом. Может быть, ему повезет и хозяйка его не заметит? И тогда он найдет здесь более укромное место, даже если оно будет и не таким теплым.

Хозяйка, закончив доить корову, унесла ведро, и Лешек вздохнул с облегчением, когда услышал шаги на лестнице. Но она не стала подниматься в дом: поставила ведро на ступеньки и вернулась, чтобы накормить скотину.

У нее был нежный, высокий голос, немного певучий и очень ласковый — она говорила с каждой животинной, называла смешными добрыми именами, и Лешеку совсем не хотелось ее пугать. Конь, догадавшись, что сейчас ему тоже что-нибудь достанется, поднялся на ноги и заржал, высунув голову из своей клетушки. Лешек отполз в дальний ее угол, сел и прижал колени к подбородку, стараясь стать невидимым.

Хозяйка наконец распахнула дверь загородки, за которой стоял конь. Она оказалась совсем молодой девушкой, лет пятнадцати, и не хозяйкой вовсе, а скорей всего ее дочерью. Пухленькая, румяная, с широким курносым лицом и толстой косой, обернутой вокруг головы, в меховой безрукавке, надетой поверх рубахи.

Она хотела кинуть огромный пук сена в кормушку, как вдруг увидела Лешака. Сено выпало у нее из рук, и она

уже раскрыла рот, чтобы набрать побольше воздуха и крикнуть, но он приложил к губам палец и прошептал:

— Не выдавай меня. Пожалуйста.

Испуг на ее лице сменился любопытством: она закрыла рот и посмотрела на Лешека, хлопая удивленными глазами.

— Я ничего плохого тебе не сделаю... — добавил Лешек на всякий случай.

Девушка медленно кивнула, о чем-то раздумывая, а потом спросила, тоже шепотом:

— Это ты убежал из Пустыни?

Лешек кивнул.

— А нам сказали, что ты вор. И пообещали тятю два мешка зерна, если мы тебя найдем. Ты правда вор?

Лешек подумал, что хрусталь он не воровал, он просто забрал у Дамиана то, что тому не принадлежит, и ответил:

— Я ничего у вас не возьму, честное слово.

Девушка, все еще раздумывая, подобрала сено из-под ног и сгрузила его в кормушку. Конь, до этого пригивавший голову к полу, выпрямился и закрыл Лешека от девушки, но она зашла поглубже в его клетушку и хлопнула битюга по ляжке, чтобы он подвинулся.

— А что ты украл у монахов?

— Я взял свою вещь, которую они у меня отобрали, — Лешек немного покривил душой, но в целом, наверное, так оно и было.

Девушка понимающе кивнула.

— Послушай, — Лешек вздохнул и закусил губу, но не удержался, — ты не можешь дать мне немного молока?

— Конечно. Погоди, — она выскользнула из клетушки, и Лешек встал вслед за ней. Он думал, что она поднимется в дом за кружкой, и тогда родители ее все поймут, но она нашла где-то плоскую большую миску и налила молока туда.

У него тряслись руки, и молоко из миски, над которой поднимался едва заметный парок, чуть не пролилось на пол. Лешек глотал его жадно, рискуя поперхнуться, и не мог остановиться даже чтобы вздохнуть: наверное, он никогда не был таким голодным.

— Хочешь хлеба? — спросила девушка, во все глаза глядя на то, как Лешек пьет. Ему стало неловко, но он кивнул, не отрываясь от молока.

— Монахи тебя во всех домах искали, — сказала она, — и у нас тоже. Везде искали, даже в сено вилами тыкали... Если еще раз придут, то здесь тебя найдут точно. Я, наверное, тятю скажу, что ты у нас. Ты не бойся, тятя добрый и монахов не любит.

Лешек подумал, что все будет зависеть от того, насколько тятю нужны два мешка зерна, чтобы ради них плюнуть на нелюбовь к монахам: у него семья, которую надо кормить до следующего лета. Вряд ли крестьянин пожалеет пришедшего человека настолько, чтобы отказаться от такого богатства.

— Да не бойся, — повторила девушка, — не надо тятю это зерно. Правда.

Лешек робко пожал плечами и протянул ей пустую миску. Но, с другой стороны, только хозяин дома сможет спрятать беглеца так надежно, чтобы монахи не смогли его найти.

Девушка убежала наверх, и вскоре хмурый приземистый крестьянин, стреляя во все стороны быстрыми темными глазами, спустился в хлев и подозрительно осмотрел замершего Лешака с головы до ног. Впечатление доброго тятю не производил.

— Ты вор? — строго спросил он, закончив осмотр.

— Нет, — ответил Лешек.

— Это правда, что ты сорвал крест, когда уходил?

— Правда, — Лешек вздохнул и опустил голову — обманывать он не хотел.

— Пошли, — хозяин коротко кивнул и направился к лестнице. Лешек не понял, собирается он его сдать или, напротив, согреть и накормить, но повиновался.

В зимней части дома места было очень мало, и каждая его пядь имела свое предназначение. Три детские мордашки выглядывали с полатей, перед печью возилась хозяйка, две большие девочки сидели на сундуке за прялками и еще одна перебирала крупу на длинном узком столе. Во дворе слышались мальчишеские голоса, наверняка принадлежавшие старшим сыновьям, — детей у хозяина было много. На втором сундуке, придвинутом к печке, неподвижно лежал старик, уставив глаза в потолок.

— Раздевайся, — велел хозяин, и Лешек вздохнул с облегчением: похоже, его не собирались выдавать. В

доме было очень тепло, даже жарко, но, раздевшись, он снова почувствовал озноб.

Хозяйка подхватила полушубок Лешека, осмотрела его со всех сторон и повесила поближе к печке. Сапоги долго рассматривал сам хозяин и качал головой — они ему понравились. Шапку Лешек снял, когда входил в дом.

— Мать, дай ему хлеба, — к жене хозяин обратился скорей просительно, чем сурово. — А ты полезай на печь. Обморозился небось?

— Только руки. Немного, — ответил Лешек, поднимаясь на полати, где трое малых в рубашонках подвинулись, освобождая ему место, и с любопытством уставились на него темными, как у отца, глазами.

Хлеб был теплым — хозяйка не пожалела, отломил от каравая почти четвертушку, и Лешек немедленно впился в него зубами, но смутился и замер, так и не решившись вытащить хлеб изо рта.

— Да ешь, ешь, — хозяин впервые улыбнулся.

— Спасибо, — еле слышно выговорил Лешек и почувствовал, как слезы комком встают в горле.

* * *

Довольное лицо Дамиана Лытка пояснил Лешеку легко: наверняка авва сообщил ему, что отцы обители принимают его в свой круг, чем, скорей всего, и спас Лытку от смерти. Во всяком случае, его Дамиан больше не трогал. Разумеется, Лешека кто-то выдал, может быть и ненарочно, но Дамиан остерегся наказать его в открытую (видно, Паисия все же побаивался). Или это авва посоветовал ему не злить иеромонахов. Но взгляды, которые Дамиан бросал на Лешека время от времени, говорили сами за себя.

А Лешек, однажды ощутив, как, оказывается, здорово гордиться собой и ничего не бояться, уже не сползал под стол, но глаза опускал, чтобы Дамиан случайно не увидел в них торжества: ведь ему удалось спасти Лытку! И ничего больше значения не имело, он теперь ни секунды не жалел о содеянном.

Дамиан же был деятелен как никогда, глаза его блестя, на губах играла неизменная улыбка. Из старших

мальчиков приюта он начал сколачивать собственную «дружину», а потом стал привлекать туда и ребят помладше, выбирая крепких, хорошо сложенных и бесстрашных. Как ни странно, насильно в «дружину» он никого не тянул, всегда предлагал выбор: прежнее послушание или занятия воинским искусством. И, несмотря на то, что Дамиана мальчики боялись, в его «дружину» мечтал попасть каждый. Во-первых, «дружники» тут же становились избранными в приюте: их лучше кормили, прощали мелкие грешки, давали больше свободы. Во-вторых, для мальчиков это было необычайно привлекательно — вместо скучного скотного двора они занимались настоящим, «мужским» делом. Дамиан, не полагаясь на свои умения, привез в монастырь учителя — старого, закаленного в боях вояку, искусственного в подготовке молодых бойцов.

К зиме «дружина» прочно встала на ноги и начала не только задирать нос перед остальными ребятами, но и устанавливать в приюте свои порядки. Лытка, со злостью принимавший все, что исходило от Дамиана, и «дружину» возненавидел с первого дня ее существования. И по возрасту, и по телосложению, и по характеру он лучше многих подходил Дамиану, но настоятель не спешил его звать. А когда в конце концов предложил Лытке стать «дружником», тот отказался. Наверное, в приюте он был такой один, и Лешек еще сильнее начал гордиться своим другом, хотя и предостерегал его от мести Дамиана. Но, как ни странно, с Лыткой архидиакон связываться не стал.

К следующему лету в «дружину» Дамиана входили не только приютские мальчики, но и некоторые послушники — помоложе и посильней.

— Они будут воевать с князем Златояром, — пояснял Лытка Лешеку, — чтобы князь не обирал монастырские земли.

Лешек не сильно этим интересовался — пожалуй, единственное, в чем его убедил опыт прошлого лета, так это в том, что влезать в дела отцов обитатели очень чревато. Каждый из них имел какие-то свои, непонятные интересы, и всегда можно было угодить между молотом и наковальней. Впрочем, Лытка тоже все меньше говорил об этом. Во-первых, он терпеть не мог «дружников»

и, даже косвенно, не желал признавать их пользу для обитатели, во-вторых, как бы он ни изображал бесстрашие и невозмутимость, случай с Дамианом здорово его напугал. Ну а в-третьих, у него сломался голос, из резкого мальчишеского превратившись в глубокий и бархатный. Паисий, до этого не считавший Лытку особо одаренным, теперь занимался с ним с утроенной силой. Голос открывал перед мальчиком до этого закрытые возможности: хороший певчий, как правило, становился монахом, едва достигнув тридцати лет (до тридцати лет по уставу в монахи не переводили никого).

В начале лета Лешек посетил нехорошее предчувствие. Предчувствия посещали его довольно часто и, как правило, бывали нехорошими. Но в этот раз к нему примешалась какая-то чистая, звенящая печаль, похожая на грустную песню.

— Знаешь, Лытка, — как-то раз пожаловался он другу, — мне кажется, что я скоро умру.

— Да ну тебя! — фыркнул Лытка. — С чего ты это взял?

— Мне так кажется. Я смотрю на все вокруг, и у меня такое чувство, что вижу это в последний раз. Как ты думаешь, в аду очень страшно?

— Конечно! А то ты не знаешь!

Лешек знал, и к его чистой печали добавился неприятный, сосущий страх: что если предчувствие его не обманывает и он действительно умрет и попадет в ад? Что он будет там делать? Без Лытки, совершенно один? Он представлял себе служителей ада похожими на Дамиана: с глумливыми улыбками, плетками за поясом, в черных клобуках и рясах. И как только Лешек окажется в их власти, ничто не помешает им мучить его сколько им захочется и радоваться его мучениям, смеяться над его криками и слезами. От таких мыслей Лешек холодел и мурашки бегали у него по всему телу.

В первый раз он столкнулся с колдуном в июле, когда их отправили за ягодами. Про колдуна знали все и очень его боялись. Когда Лешек был маленьким, он думал, что колдун ворует из приюта детей, а потом их ест — об этом им много раз рассказывали воспитатели. Но, разумеется, став постарше, перестал верить в эту чушь. Зачем бы тогда его стали звать в монастырь, если он людоед? Но что-то нехорошее и даже страшное

за колдуном все же водилось. И если Дамиана Лешек боялся до дрожи в коленках, то при виде колдуна его охватывали нехорошие предчувствия: нечто гнетущее мерещилось ему в мрачной фигуре колдуна, неизменно закутанного в серый плащ, темноволосого, с хищным, острым, скуластым лицом, с гордо развернутыми плечами. Колдун был довольно молод, не старше отца Дамиана, но Лешек считал почему-то, что ему не меньше трехсот лет от роду.

Летом он приезжал редко, обычно во время литургии, — чтобы никто ему не мешал и никто на него не глазел, но частенько задерживался в больнице и дольше, если того требовали обстоятельства: колдуна звали лечить те болезни, с которыми не справлялся больничный. А больничный, надо сказать, лечить никого не умел. Зимой же, если кто-то из монахов заболел серьезно, за колдуном посылали сани. Колдуну хорошо платили за его работу, и по его виду было понятно, что он человек небедный — и его одежда, и его конь стоили немалых денег.

А еще колдун не верил в Бога. Это знали все, но монахам приходилось мириться с этим — ни одного лекаря, который мог бы сравниться с колдуном, в округе не было. В этом отцы обители проявляли редкое ханжество: порицая колдуна за его язычество, осеняя себя крестным знамением, утверждая, что болезни следует лечить постом и молитвой, они пользовались умениями колдуна безо всякого зазрения совести. Конечно, ему было поставлено условие при лечении использовать только травы, а не его колдовскую силу, но в трудных случаях колдун мог забрать больного к себе и там без монахов решать, какое лечение применить.

Лешек старался не смотреть в его сторону, если примечал колдуна во дворе монастыря — если он детей не ел, то уж обратить в камень мог совершенно точно. Или наслать какую-нибудь болезнь, или сделать еще что-нибудь такое, страшное и опасное. Лешек каждый раз хотел укрыться от взгляда колдуна или хотя бы спрятать лицо в ладонях.

Выходы в лес всегда были для приютских праздником, Лешек же любил их особенно. В лесу он мог петь сколько угодно: воспитатели не ходили с мальчиками, и даже случайно подслушать его никто не мог. Собрать

чернику он тоже любил и всегда помогал в этом Лытке. Во-первых, есть ягоды он не успевал, потому что рот его занимали песни, а во-вторых, его тонкие пальцы легко снимали с куста ягоду за ягодкой, в то время как Лытка их давил, срывал вместе с листьями и чаще клал в рот, чем в корзинку.

Лешек в одиночестве сидел в черничнике (ребята успели перебраться подальше в лес, в поисках более крупных ягод) и пел, довольно громко, наслаждаясь тем, как легко разносится голос меж деревьев. Он не услышал топота копыт, приглушенного мягкой, мшистой землей леса, и заметил всадника, только когда его накрыла серая тень. Лешек замолк и втянул голову в плечи: песня явно не предназначалась для ушей монахов, и теперь ему не миновать наказания. Он робко поднял глаза и хотел слезно попросить не рассказывать об этом воспитателям, не особо надеясь на успех. Но, увидев в двух шагах колдуна, так и не смог выдать из себя ни слова. Вблизи колдун оказался еще страшней, и пристальный взгляд его черных глаз заставил Лешека немного отползти назад. Он подумал, что колдун — это посланник ада, и предчувствие, посетившее его в начале лета, сейчас начнет исполняться.

— Где ты услышал эту песню, малыш? — спросил колдун. Голос у него был хриплый, каркающий.

— Нигде, — тихо ответил Лешек. Ему было двенадцать, малышом он себя не считал, и то, что он отставал в росте от сверстников, сильно его задевало.

— Но ты же пел ее, разве нет? — колдун легко спрыгнул с коня и подошел еще ближе, отчего Лешек вдруг вспомнил рассказы воспитателей, и теперь ему не показалось, что все это чушь: что если колдун действительно ворует и ест детей? Иначе зачем он подошел так близко?

Отпираться было бесполезно, и Лешек кивнул.

— Так откуда ты ее знаешь? — колдун улыбнулся. Наверняка улыбнуться он хотел по-доброму, но у него это не получилось.

— Я сам ее придумал, — пробубнил Лешек себе под нос, подозревая, что колдун от него все равно не отстанет.

— Вот как? — тот поднял брови и наклонил голову набок, рассматривая Лешека, словно забавного зверька. — Ну-ка, спой ее еще раз.

Лешек поперхнулся, но колдун глянул на него своими черными, хищными глазами, и он не посмел послушаться. Если колдун не верит в Бога, он не пойдет жаловаться воспитателям.

Сначала голос дрожал и срывался, но колдун стоял молча, и постепенно Лешек осмелел, песня легко поплыла над лесом, и, как всегда, он почувствовал необыкновенную радость от того, что его слушают. Песня была о злом боге, который, поднявшись на небо, убил остальных богов, для того чтобы стать там единственным. И кончалась она очень красиво и печально: злой бог сидит на небесном троне и вершит страшный суд, и никто не может его остановить.

Лицо колдуна исказилось каким-то спазмом, он глубоко вдохнул, запрыгнул на коня и сказал, прежде чем сорвать лошадь с места:

— Никогда не пой эту песню монахам, детка.

Лешек хмыкнул: а то он без колдуна об этом не догадывался! И еще раз обиделся на «детку». Однако вздохнул с облегчением: на этот раз колдун не стал его воровать или превращать в камень, и в ад тоже не потащил. Может, он наслал на него неизвестную болезнь, которая проявится только через несколько дней?

Лешек целую неделю вспоминал колдуна и искал в себе признаки страшной болезни.

В начале августа по монастырю пронеслась весть о том, что через две недели в обитель приезжает архимандрит: епархия собиралась проверить, насколько Пустынь соответствует своему предназначению. Поговаривали, что вместе с архимандритом приедет и князь Златояр, как будто в паломничество, с женой и дочерьми.

Паисий очень волновался, разрываясь между хором и своими помощниками, на которых давно возложил уход за храмом. Впрочем, волновался не он один. Дамиан заставил мальчиков вылизать приют, усиленно кормил их в каждый скоромный день, велел починить одежду и сам проверял, насколько ухоженными и опрятными выглядят дети. Он свернул занятия с «дружиной» и появлялся в трапезной каждый день, проверяя, хорошо ли мальчики едят.

Уничтожающе оглядывая Лешека, Дамиан кривил лицо.

— Ну что ж ты такой тощий-то? — спрашивал он, больно сжимая шею Лешека двумя пальцами. — Портишь впечатление от приюта. Надо бы тебя отправить в скит, так ведь кто же будет петь архимандриту?

Лешек обмирал, но, впрочем, Дамиан не злился, просто волновался.

Он велел воспитателям поить Лешека молоком трижды в день, невзирая на постные дни, а когда кто-то намекнул Дамиану на то, что он вводит ребенка в грех, заявил, что грешит не отрок, а он, Дамиан, — ему и каяться. Лешек давился этим молоком — столько ему было просто не выпить, — но и вправду через неделю щеки его немного порозовели и округлились.

Постепенно волнение монахов передалось и детям, вся обитель сбивалась с ног, бегала, мыла, чистила, наводила порядок. Службы больше напоминали смотры, после которых разбирали ошибки и раздавали подзатыльники. Паисий велел певчим беречь голоса, но при этом заставлял их петь до хрипоты.

Лешек ждал приезда архимандрита с ужасом: нехорошее предчувствие, появившееся еще в начале лета, заставляло его просыпаться по ночам в холодном поту. Он не сомневался, что сделает что-нибудь не так, и тогда не только Дамиан, но и Паисий никогда ему этого не простит. Лытка посмеивался — он всегда посмеивался над нехорошими предчувствиями и смутными сомнениями Лешека, и тот обычно не обижался, но сейчас со злостью думал, что Лытка будет петь в хоре, да еще и со взрослыми, где его голос прикроют более опытные монахи. Лешеку же предстояло петь одному, и его ошибки не скроешь ни от кого.

Ощущение конца, страшного конца не покидало его. Он боялся не наказания, а чего-то куда более ужасного. Одна ошибка — и жизнь его не будет такой, как раньше, если будет вообще. По ночам ему казалось, что над его головой кружатся вороны, и косят на него блестящие черные глаза, и ждут, когда наконец можно будет спуститься и клевать его брэнное, никому не нужное тело тяжелыми твердыми клювами.

Чем ближе подбирался день приезда архимандрита, тем сильнее становилось всеобщее напряжение, тем меньше Лешек спал, а под конец вообще ходил по монастырю

тенью и непрерывно дрожал от волнения. Единственный человек, который мог его утешить, — Паисий — и сам стал беспокойным: у него все время тряслись руки, он лихорадочно оглядывался по сторонам, иногда кричал на мальчиков и, похоже, тоже не спал ночами.

Если Лешек ошибется, если что-нибудь сделает не так, если не сможет произвести нужного впечатления, которого от него все ждут, в котором никто, кроме него самого, не сомневается, — на этом закончится все. Представить себе жизнь после этого Лешек не мог, а смерть разверзала перед ним огненную бездну, и служители ада манили его пальцами и улыбались, предвкушая, с каким удовольствием начнут жарить его на сковороде. Язык Лешека присыхал к нёбу, и на лбу выступали капельки пота.

А нужно-то было всего лишь спеть как обычно, не лучше и не хуже. Лешек никогда не боялся петь, это давалось ему легко, как дыхание. И он так хотел спеть хорошо, так хотел понравиться гостям, и порадовать Паисия, и угодить Дамиану, и знал, что вся обитель будет гордиться им и хвалить его! Он так хотел оправдать их надежды, и жизнь после этого вновь заиграла бы яркими красками, все вернулось бы на круги своя. Он мечтал о том, как службы закончатся и как блаженно он уснет в воскресенье вечером и проснется на следующий день счастливым.

Архимандрит должен был прибыть в субботу вечером, на всенощную, но в пути их задержала непогода, и приехали гости только на рассвете, когда всенощная подходила к концу. Обычно утром в воскресенье Лешек засыпал как убитый, и Лытке с трудом удавалось разбудить его на исповедь, но в этот раз он не уснул ни на секунду.

Исповедь принимали сам архимандрит, его помощник и авва. Лешек благоразумно пристроился к авве — он и ему не знал, в чем покаяться, и не придумал ничего лучшего, как признаться в том, что пил молоко в постные дни. Авва ласково ему улыбнулся, накрыл епитрахилью и шепнул, что в этом нет ничего страшного: главное, чтобы Лешек хорошо пел сегодня на литургии.

От этого напутствия стало еще хуже: сам авва возлагал на него надежду! Казалось, что вся обитель смотрит на него и ждет чего-то особенного. Как будто только от него зависит, насколько архимандриту понравится

Пустынь, и, наверное, это было недалеко от истины: своим пением он мог растопить самое суровое сердце. Дрожь усиливалась с каждой минутой: если что-то не получится, он не сможет больше жить. Он должен, он обязан спеть хорошо, чтобы авва остался доволен. Иначе... Лешек и думать не мог, что будет в случае этого «иначе». За этим «иначе» стояли смерть и ад.

А перед тем, как подняться на клирос, он столкнулся с Дамианом, который схватил его за подбородок и прошипел:

— Только попробуй что-нибудь сделать не так! Шкуру спущу!

Это не прибавило Лешеку уверенности в своих силах. И к ужасу перед неведомой пропастью добавился отвратительный, унижительный, но вполне осознанный страх: его неудачи никто не простит, даже если он сам захочет искупить ее смертью.

Лытка успел сбегать и посмотреть на князя Златояра, но Лешеку было не до этого. На всех произвело впечатление появление женщин во дворе монастыря — обычно для паломниц служили отдельную службу, в церкви Покрова Святой Богородицы, стоявшей за пределами обители. Но архимандрит дал разрешение на присутствие в летней церкви жены и дочерей князя, и впервые за много лет женщины вошли в храм и поднялись на хоры — место для почетных гостей.

Лешеку было и не до этого тоже. Он сидел на корточках в уголке, спрятавшись за широкими спинами певчих, сжавшись в комок, и дрожал. Чего бы ему стоило спеть хорошо? В этом нет и не может быть ничего страшного! Он так хотел спеть хорошо! Чтобы все это поскорее закончилось! Он чуть не расплакался, представляя себе счастливый воскресный вечер, когда все останется позади!

Паисий суетился, хватался за несколько дел одновременно, хотя все давно подготовил, раздавал последние наставления певчим, переживал из-за свечей (для которых плохо выбелили воск), не глядя гладил Лешеку по голове и время от времени повторял: «Ой, ой, ой».

Когда пришло время начинать службу, Лешек еле-еле смог подняться на ноги и встать на положенное место. Кто-то из монахов попытался его успокоить и сказал:

— Не бойся, маленький, все будет хорошо!

Лешек так не считал, но расстрогался не ко времени и чуть не разревелся. Вот бы монах оказался прав! Он взрослый, ему видней, он знает, что говорит! Но что-то подсказывало Лешек: монах сказал это просто так, он так вовсе не думает, верней — не задумывается. А на самом деле — на самом деле! — ничего хорошего быть не может. И одного желания спеть мало!

Первыми начинали самые низкие голоса, постепенно к ним присоединялись все взрослые певчие, затем вступали мальчики, а потом хор смолкал, и Лешек должен был петь один — в наступившей тишине его голос звучал необычайно чисто и сильно. И он сам с восторгом слушал себя, и радовался тому, как много людей его слышит и как красиво голос разливается под сводами церкви.

Но, лишь только хор смолк, Лешек с ужасом почувствовал, что не может выдать из себя ни звука. Как будто чья-то рука перехватила ему горло. Он силился издать хотя бы шипение, но голос отказывался ему подчиняться. Он напрягся, покраснел от натуги и услышал ропот по сторонам — пауза затягивалась и стала всем заметна. Из последних сил Лешек попытался выдать из себя по крайней мере что-нибудь, но вместо пения из горла вырвался сиплый отвратительный писк, похожий на «петуха», и был он громким и разнесся на всю церковь.

Наверху рассмеялись девочки — дочери князя, — и их смех подхватили другие гости. Лешек зажал рот руками и в этот миг увидел Дамиана, лицо которого перекосилось от злости: настоятель не стоял на месте, а пробирался к выходу. От стыда и от ужаса Лешек бросился с клироса вниз и, проскользнув вдоль стенки, выбежал из церкви, совсем потеряв голову. Ему не оставалось больше ничего, как утопиться в колодце, чтобы не знать, что будет дальше. Как он сможет посмотреть в глаза Паисию? Что после этого скажет авва? Вся обитель должна теперь проклинать его и плевать в его сторону. Он подвел всех, всех! Он чувствовал, что это случится, но он так надеялся! И теперь, когда надежда рухнула и случилось самое страшное, черная пропасть разверзлась у него под ногами и никакого выхода у него не осталось, кроме как умереть, и умереть немедленно, пока он не успел услышать проклятий, пока не успел увидеть их глаз: Паисия, певчих, аввы... Нет, уж лучше ад!

Но утопиться в колодце ему не пришлось — на крыльце церкви цепкая рука Дамиана ухватила его за плечо и с силой сбросила со ступенек вниз. Лешеку на секунду показалось, что он уже в аду...

— Ты нарочно это сделал, щенок! — прошипел Дамиан, сбегая по лестнице вслед за упавшим Лешеком. Тот онемел от страха, и тогда Дамиан поднял его с земли за шиворот и снова швырнул вперед, так что Лешек вытянулся на дорожке, обдирая ладони и колени. Ему уже стало очень больно, он прижался к земле, не надеясь избежать адских мук, которые ему уготованы.

Дамиан опять поднял его на ноги и опять толкнул на дорожку, еще ближе к приюту — легкий, как перышко, Лешек пролетал две сажени, прежде чем растянуться на земле.

— Не смей! Не смей его трогать! — услышал он сзади срывающийся голос Лытки.

Но Дамиану на Лытку было наплевать, он подхватил Лешека за шиворот, одним ударом кулака сбил Лытку с ног и потащил Лешека к приюту, хотя тот просто повис на его руке и волочился сзади как тряпка.

— Не смей! — снова закричал Лытка, тяжело поднимаясь с земли и держась рукой за окровавленный нос, но Дамиан распахнул двери в приют, вытряхнул Лешека из рубашки и бросил его на пол у входа. Лешек упал ничком, накрыл голову руками и сжался в комок, не в силах ни убежать, ни сопротивляться, ни даже думать, что с ним теперь будет.

Тяжелая плеть низко свистнула в воздухе, и Лешек потерял сознание до того, как она упала ему на спину, — боли он не почувствовал.

Лишь потом он узнал, что Лытка, догнав Дамиана, повис у него на запястье, вцепившись в него обеими руками и зубами. И держал его, пока на помощь не подошли монахи. Только было поздно — пять ударов плетью разорвали спину Лешека до костей.

Он очнулся в больнице и пожалел, что остался в живых. Впрочем, все вокруг говорили, что долго мучиться ему не придется: уже к вечеру у него началась горячка, а боль стала невыносимой настолько, что Лешек плавал в каком-то странном забытии. Он все видел, все слышал, все понимал, но не шевелился, не двигал глазами и ни о чем не думал. Время бежало быстро, как во сне.

Никакого лечения, кроме крепкого соляного раствора, в монастыре не знали, и на Лешека извели, наверное, годовой запас соли приюта, меняя полотенца каждые два часа. От этого его скручивало судорогой, и он слабо пищал.

К нему приходил Лытка и приносил яблоки, но больничный говорил, что яблок тут полно и Лешек их есть не станет. Лытка не отчаивался, и тогда больничный давил яблоко в ступке и пытался ложкой запихнуть ему в рот сладкую кашицу, но глотать Лешек не мог, и яблоко стекало из уголка рта на подушку.

Лешек видел, что Лытка плачет и у него разбито лицо — одна половина совсем заплыла огромным синяком и красно-синий нос сдвинулся в сторону, — но не мог ничего ему сказать, хотя очень хотел.

— Я убью его, Лешек! Ты слышишь? Я отомщу! Я убью его! — Лытка сжимал кулаки, и рыдания его походили на рык волчонка.

Лешек хотел попросить его не связываться с Дамианом и снова не мог.

Паисий тоже плакал, стоя на коленях перед кроватью, и повторял:

— Прости меня, дитя, прости! Это я, я один во всем виноват!

Но Лешек так вовсе не думал — ему было стыдно, что он подвел иеромонаха. Он хотел попросить прощения, но лицо оставалось неподвижным.

Ему было больно и холодно.

В понедельник вечером семь иеромонахов во главе с аввой собрались у его постели: нараспев читали молитвы и по очереди мазали его елеем. Молились долго, а в конце хотели положить Евангелие ему на голову, но тяжелая книга сползла вниз. И слово «соборовали» почему-то внушило Лешеку ужас.

Во вторник после обеда гости уехали, и тогда больничный послал за колдуном. Тот приехал быстро, во всяком случае Лешеку так показалось. К тому времени его бил озноб — такой, что под ним подрагивала кровать, и судороги случались чаще, чем на его спине меняли полотенца.

Лицо колдуна, заглянувшего ему в глаза, показало Лешеку ликом смерти, которая пришла за ним, чтобы тащить в ад безо всякого страшного суда. Только ад теперь не пугал его, потому что хуже быть все равно не могло.

— Мальчик умрет, — сказал колдун, осторожно сняв полотенце с его спины, и Лешек равнодушно принял это известие: он смирился с ним и с нетерпением ждал, когда же...

— Пожалуйста... — тихо попросил больничный.

— Я не всемогущ. Мальчик умрет еще до рассвета. Я могу только облегчить его страдания. Дай мне чистое полотенце.

Больничный всхлипнул, но полотенце достал. Лешек снова ожидал судорог и слабо выдохнул, когда колдун смочил ткань чем-то коричневым и положил ему на спину, но, к его удивлению, ничего такого не произошло, а через несколько минут боль немного утихла и он впервые смог глотать воду, которую колдун дал ему пососать через соломинку.

— Я мог бы попытаться, — колдун снова заглянул Лешеку в лицо, — но не здесь, у себя.

— Да! Пожалуйста! — Больничный всплеснул руками. — Попытайся. Все что угодно! Сам авва просил за дитя!

— Я ничего не обещаю. Вам надо было позвать меня позавчера, когда лихорадка еще не началась. Иди, должи кому следует, что ребенка я забираю. И быстрее — дорога каждая минута.

Больничный выбежал за дверь, а колдун склонился над Лешекком и пристально посмотрел ему в глаза.

— Ну что, певун? Ты жить-то хочешь?

Лешек не задумывался над этим, но неожиданно смежил веки и заплакал.

— Тогда поехали, — колдун бережно поднял его на руки и обернул своим плащом. Голова Лешека свешивалась на его спину с широкого, пахшего травой и лошадьёю плеча, и почти совсем не было больно. От тела колдуна шло тепло, теплый плащ тоже согревал, и Лешек подумал, что колдун наверняка забирает его с собой, чтобы съесть. Пусть.

Колдун вынес его во двор и кликнул кого-то из послушников:

— Эй! Подержи-ка мне стремя!

Он гнал лошадь во весь опор, и Лешек смотрел на проплывавшие мимо поля, озеро, лес и думал, что в первый раз уезжает из монастыря так далеко. И ничего страшного в этом не видел. Солнце клонилось к закату, но согревало, и дрожь наконец отступила. И, хотя Лешека сильно подбрасывало вверх с каждым шагом лошади, ему все равно было уютно и хорошо. Его очень давно никто не держал на руках, и оказалось, что это приятно.

— Ты как там? Еще не умер? — спросил колдун.

— Нет, — ответил Лешек, и это было первое слово, которое он произнес за последние двое суток. Колдун похлопал его рукой по заду и засмеялся. Лешек не понял, отчего он смеется, — наверное, от радости, что ему удалось украсть из монастыря ребенка. Но почему-то ему тоже захотелось засмеяться. Боль прошла, он согрелся — осталась только слабость.

— Не бойся, малыш. Ты не умрешь, — тихо пробормотал колдун себе под нос, но Лешек его услышал. И вдруг понял, что колдун не станет его есть. Колдун действительно украл его, но не для того, чтобы превращать в камень или заразить какой-нибудь болезнью. Он украл его, чтобы никогда больше не возвращать в монастырь, он увозит его от Дамиана, от Леонтия, от всемогущих и литургий, от постных ужинов и унижительных наказаний. Он увозит его насовсем и никогда не отдаст авве.

И Лешек разрыдался, громко всхлипывая, и смеялся сквозь слезы, и терся щекой о цветастый кафтан колдуна, и снова плакал, так громко, что колдун придержал лошадь и опустил его перед собой на луку седла.

— Да ладно... — хмыкнул колдун, но Лешек обхватил его шею руками и прижался лицом к его груди, испугавшись вдруг, что колдун захочет отвезти его обратно. Но тот только погладил его волосы — совсем не так, как это делали монахи, а прижимая к себе его голову и слегка стискивая вихры Лешека в кулаке.

— Погоди-ка, — колдун слегка отстранился и посмотрел ему на грудь, — вот что бы я сделал сразу.

Он нащупал у него на шее веревочку с крестом, с силой рванул ее вниз и отшвырнул крест в траву, под ноги лошади.

— Ой! — вскрикнул Лешек.

— Что? Больно?

— Нет. Но теперь... теперь он точно убьет меня молнией, — прошептал Лешек, но страха не почувствовал.

— Ерунда, — ответил колдун. — Юга убил не всех богов на небе. Там найдется, кому за тебя заступиться.

Он снова поднял Лешека повыше и погнал лошадь вперед.

От печи на полати поднимался жар, и Лешек заснул еще до того, как успел доесть хлеб, сжимая кусок обеими руками.

Разбудили его сильные руки хозяина, трясущие его за оба плеча.

— Ну! Давай же, просыпайся.

Лешек вскочил и треснулся головой о балку, нависавшую над печью.

— Быстрей, — хозяин ловко спрыгнул с полатей, — они стучат в ворота.

Лешек спрыгнул вниз вслед за ним.

— Дедушку подняли? — хозяин заглянул за угол печи.

Неподвижного старика двое мальчишек осторожно пересаживали на пол — он улыбался, морщил лицо и что-то шептал.

— В сундук полезай, — велел хозяин Лешеку, — ребята дырку проковыряли, пока ты спал, теперь не задохнешься.

Лешек, спросонья не очень хорошо соображая, повиновался. Сверху на него кинули его полушубок, шапку и сапоги, а потом накрыли подушками и множеством сложенного белья — не иначе, приданным дочерей.

— Ну, теперь главное, чтобы копьём не ткнули, — выдохнул хозяин и захлопнул тяжелую крышку.

В сундуке было пыльно, душно и жарко. Лешек слышал, как сверху уложили старика, который шутил и посмеивался над своими шутками. Впрочем, ребятишки смеялись вместе с ним. Лешек прижался губами к еле заметной дырочке, но быстро отказался от такого способа дышать — это могли услышать снаружи.

Тяжелый топот монахов ни с чем нельзя было перепутать. Сколько их вошло в дом, Лешек сосчитать не смог, но не меньше троих.

— Это что за погань у тебя? — спросил монах, и Лешек услышал глухой удар куда-то вверх.

— Так... отец дом строил, — ответил хозяин, — давно еще.

— Срежь.

— Как скажешь.

— Развели тут бесовщину. Почему иконы нет в красном углу?

— Чтоб не запылилась. Вот, в полотенце завернута.

— Чтоб не запылилась, протирать надо чаще. Ладно, не за тем пришли. Всех, и малых и старых, сажай на лавку вот сюда. Если кого найду, живы не будут, понял?

— Так дедушка у нас... Немочный, не встает уж два года как.

— Дедушку поднимай тоже. Сказал — всех.

— Как скажешь.

От духоты потихоньку плыла голова, а сердце, напротив, стучало в груди тяжело и громко. Он слышал, как семья рассаживается на лавках, как с сундука снова поднимают дедушку, как топают монахи, заглядывая во все углы и проверяя копьями темные места, куда не дотягивались руки.

— Авда! — крикнул кто-то, выглянув в дверь на улицу. — Иди смотри.

Брат Авда. Лешек его запомнил, и тот тоже наверняка запомнил Лешека. Да, хорошо, что он не предложил притвориться старшим сыном хозяина, — его бы все равно узнали.

Крышка сундука над ним распахнулась, стукнувшись о печку; Лешек задержал дыхание: казалось, что белье подпрыгивает над ним от слишком сильных ударов сердца.

— Дяденька! Не порть моего приданого! — вдруг услышал он отчаянный девичий крик. — Я его пять лет вышивала, и пряла, и ткала сама!

Лешек зажмурился: наверняка монах собирался проткнуть белье копьем. Насквозь бы все равно с первого раза не проколол — не такие острые у них копыя. Но почувствовать под тканью тело мог бы. Монах громко хмыкнул и начал рыться в вещах руками, дошел до подушек, но поднимать их поленился и воткнул-таки копьё в середину сундука. Девушка жалобно вскрикнула, но копьё прошло в полувершке от поясицы Лешека, зацепив на нем рубаху. Он чуть не дернулся от испуга, а монах то ли пожалел девушку, то ли охладел к этому делу, кой-как примял белье ладонями и опустил крышку, которая, впрочем, не закрылась.

Авда долго не приходил, и вся семья сидела молча: Лешек слышал их тяжелые вздохи, и сопение малых, и скрип лавки под непоседливыми старшими.

— Ищите лучше! — раздался голос с крыльца. — Он здесь, его кто-то прячет. Везде ищите, и в выгребных ямах, и в колодцах!

Дверь захлопнулась, и по дому протопали тяжелые шаги.

— Кто хозяин? — рывкнул брат Авда, хотя мог бы догадаться и без вопросов.

— Ну, я хозяин, — с достоинством ответил крестьянин и поднялся — под ним заскрипели половицы.

— Если найду его у тебя сам, всех под батоги положу, и старых и малых. А ты мне его отдашь — получишь два мешка пшеницы, а на будущий год заплатишь только из четверти снопа.

Лешек сжал губы: два мешка пшеницы — и то очень высокая для крестьянина плата, а четверть снопа — вполтину меньше того, что монастырь собирал с крестьян за пользование землей. Слишком большой риск с одной стороны и слишком богатая плата — с другой. Если бы хозяин не устоял, Лешек простил бы его за это...

— Рад бы отдать, так ведь нету у меня никого, — ответил хозяин, недолго раздумывая.

— Смотри... — протянул Авда.

Монахи ушли нескоро, обыскав каждую пядь дома и двора: Лешек думал, что задохнется. Но как только за монахами задвинули засов на воротах и накрепко заперли дверь, ребята тут же кинулись разрывать над ним белье и вытаскивать подушки.

— Ну что? Что? — услышал Лешек голос старшей дочери. — Живой?

Лешек глубоко вдохнул, отчего сразу побежала голова, и ответил:

— Все хорошо.

— А копьё? Не ранен?

— Если бы монах его ранил, то заметил бы, — солидно сообщил ее брат.

Лешек вытащили на свет несколько рук и отряхнули с него пух, налетевший с проткнутой подушки.

— Да все хорошо, ребята, — растроганно улыбнулся он, — я сам.

— В рубашке родился, — покачал головой хозяин. — Ну, теперь за стол. Они не скоро еще появятся.

Но не прошло и часа, как раздался настойчивый стук в дверь. Семья еще сидела за столом, и Лешек увидел, как

побледнели их лица, как забегали по сторонам черные глаза хозяина, как прижала руку ко рту его старшая дочь...

— В печку! Быстро! — прошипел хозяин Лешеку, и тот не заставил себя ждать. Хозяйка, ухватив заслонку тряпкой (чтобы не звякнула) откинула ее в сторону, пропуская Лешеку внутрь.

Печь хранила жар, сильный и сухой — наверняка топили ее рано утром. Лешек прикрыл лицо руками, чтобы его не обжечь, и скукожился, стараясь не прикасаться к горячему камню.

— Чего ты испугался, Щука? Не монахи это, соседи, — из печки слышно было гораздо лучше, чем из сундука.

— Заходите, — не очень довольный ответил хозяин, — к столу садитесь. Обедаем мы.

— Не жадничай, не объедем. Мы по делу пришли, ну и посоветоваться, так что долго не засидимся.

Лешек, слушая их длинные взаимные приветствия, подумал, что пока они будут ходить вокруг да около своего дела, он испечется тут, как каравай. По вискам побежал пот, и рубаха на спине быстро намокла. Хорошо хоть воздуха вполне хватало — дымовая дыра находилось прямо над топкой.

— Вот скажи, нравится тебе, Щука, когда по три раза на дню твой дом перерывают сверху донизу? — наконец перешел к делу гость.

— Да вы ж знаете, мужики.

— А когда малым деткам батогами грозят? Мы тут подумали: мы им пока не холопы, чтобы батогами нас стращать. Половину урожая честно отдаем.

— И нечего им тут рыться! У моей Заславы все подушки по ветру развеяли, все приданое перепортили. Девка пух по шепотке собирала, теперь рыдает, мать успокоить не может.

Лешек зажмурил глаза: это все из-за него. Люди жили и никому зла не делали... Почему-то девушек и их подушек ему стало очень жаль.

— И что вы предлагаете? — спросил хозяин, выслушав еще с пяток рассказов о бесчинствах монахов: о гусях, которым свернули шеи, о разоренных курятниках, разбитой посуде, намоченном сене, — самим найти этого беглого монаха?

— Знаешь, Щука, что я тебе скажу? Если бы этот парень у меня оказался, я ни за что бы его не выдал.

Хозяин промолчал.

— Мы другое предлагаем. Собраться всем вместе да указать уже чернецам дорогу отсюда. Пусть в другом месте поищут, а нас не трогают. Их тут десятка три, наверное, а нас в три раза больше. У них копыя, а у нас — топоры.

Неожиданно с сундука им ответил дедушка:

— Не дело вы задумали. Это здесь их десятка три. А в монастыре? А по скитам? Сейчас зима, куда мы с малыми детишками денемся?

— Не отстанут они, пока этого беглого не найдут, — подумав, сказал хозяин. — Поле кругом, каждый след издалека виден.

— И что? Ждать, пока найдут? Ведь найдут же, рано или поздно.

— Меня, старого, послушайте, — вставил дедушка. — Чернецов припугнуть, конечно, надо. Им тоже мужичье с топорами не в радость будет. А чтобы беглый уйти смог, ему надо дать к реке дорогу. На льду следов много. Они, небось, дозоры с нее сняли, все здесь осели и выходы на лед стерегут.

— И далеко он уйдет, по реке-то?

— А не надо по реке идти. Надо через лес напрямки идти к охотникам, в Покровскую слободу. Зимой туда от монастыря конным хода нет, только вокруг.

— Да ты, дедушка, понимаешь, что говоришь? Да промахнуться мимо Покровской нет ничего проще, а плутать потом в лесу можно месяц!

— Знаю я одну приметку, как туда попасть. Десять лет назад торфяник горел, узкой полосой выгорел. А у слободы канаву вырыли и пожар остановили. Так что выйти на нее не так и трудно, надо только полосу эту найти. От реки на восток верст пятнадцать до нее. И еще верст шесть-семь по ней до Покровской. От света до света можно дойти, если ногами быстро перебирать.

— Ну а на реку как выйти? Тоже придумал?

— Нет пока. Но придумаю, — уверенно ответил старик. — Надо, чтобы много людей туда сразу пошли, и не просто так, а разбрелись бы, да наследили хорошенько, да монахов отвлекли. И не днем — к вечеру, как солнце сядет.

— Эх, жаль, сегодня не успеем. Вечерет уже, — расстроился один из гостей.

— Ничего, до завтра как-нибудь продержимся, — сказал второй, — может, лошадь припугнуть да на реку

пустить, ну, вроде как понесла... И ловить ее потом... всем миром.

— Монахи же не дураки, — возразил хозяин. — Понятно, что лошадь побегает и домой вернется, к кормушке.

Лешек слушал с замиранием сердца и обливался потом. Они ведь его совсем не знают! Они его даже никогда не видели! И готовы с риском для себя, всем миром помочь ему уйти от монахов. За что? Почему? От жары кружилась голова, и его покачивало из стороны в сторону — он очень боялся вывалиться наружу, не удержав равновесия.

Собственно, это с ним и случилось, как только за гостями закрылась дверь. И, наверное, вид у него при этом был презабавный, потому что дети, включая малых, сначала захихикали в ладошки, а потом не выдержали и расхохотались.

— Заодно и попарился, — усмехнулся в бороду хозяин, и Лешек тоже рассмеялся, посмотрев на перепачканные сажей руки. Наверняка и лицо у него тоже было в черных разводах, если этими руками он размазывал по лицу пот.

Хозяйка раздела его донага, развесила вещи сушиться и, поставив ногами в большое корыто, окатила теплой водой из ведра, смывая сажу и пот.

Лешеку пришлось до темноты рассказывать всей семье о своих приключениях, и о монастырской жизни, и о колдуне, убитом монахами. Слушали его внимательно, перебивали, задавали вопросы и смотрели на него во все глаза. А больше других спрашивал дедушка Вакей, неподвижно лежавший на сундуке. Лешек успел познакомиться со всеми и решил, что как только вырвется на свободу, сочинит песню об этих замечательных людях: веселых, бесстрашных, трудолюбивых. Напрасно авва считает их «черной костью», напрасно Дамиан презирует их темноту. Не темнота, а волшебная мудрость, унаследованная от далеких пращуров, хранится в их сердцах. Та самая волшебная мудрость, что позволила колдуну создать хрусталь, та самая, что заставляет богов выполнять их просьбы, та, что хранит и оберегает их очаг.

— Во, погляди! — хозяин поднял голову и указал Лешеку на тяжелую балку в центре потолка, — копьём в громовый знак тыкал! Поганью называл. А такой знак

еще у моего прапрадеда над головой висел. Заставят срезать — снова вырежу, как уйдут.

Лешек пел им песни: тихонько, вполголоса. А на ночь, когда топили печь и едкий дым витал по темному дому, освещенному пламенем из огромной топки, дедушка рассказывал внукам сказки — длинные, тягучие, как зимняя ночь, немного страшные, и Лешек сам заслушался, и сердце его замирало, как у ребенка, в предвкушении счастливого конца и в надежде на него.

Внуки любили деда, любили искренне и трепетно, несмотря на то, что неподвижный старик для семьи был тяжелой обузой. Выяснилось, что он совсем нестарый и приходится отцом хозяйке, а не хозяину. Лешек тихонько расспросил Голубу, старшую дочь, которая нашла его в хлеву, отчего дедушка не ходит.

— Дедушку медведь поломал, давно, два года назад. Хребет переломил в трех местах. А дедушка вот жив остался. Только ни руками, ни ногами шевелить не может.

Монахи приходили дважды за ночь, дождавшись, пока в домах протопят печи. И теперь Лешека прятали не в сундуке: хозяин приготовил ему местечко получше, разобрав пол, — худенький Лешек легко поместился между двумя настилами, полом дома и потолком подклета. И очень вовремя, потому что монахи, освещая каждый уголок факелами, нашли дырочку в стенке сундука и на этот раз выбросили из него все, до самого дна.

Лешек думал о старике всю ночь и к утру решился: он должен хотя бы попробовать. Эти люди рисковали жизнью детей, спасая его от монахов. Он должен попробовать. Колдун создал хрусталь именно для этого, и Лешек много раз видел, как это делается. Так почему бы не попытаться самому? Всего-то и нужно, чтобы взошло солнце.

* * *

Дом колдуна, снаружи маленький и невзрачный, стоял к северу от монастыря и монастырским землям не принадлежал — на пути к нему лежало болото, непроходимое весной и осенью, и только летом оно пересыхало настолько, чтобы можно было найти тропу. Маленькая речушка Узица, на берегу которой он стоял, тоже

местами была заболочена, и на лодке по ней никто не ходил. Зимой же река становилась доро́гой, и от дома колдуна путь открывался не только на север, но и на юг.

Когда колдун привез его к себе, Лешеку стало хуже: боль опять начала грызть спину, появилась тошнота и озноб — солнце садилось и не давало тепла. Он не смог как следует осмотреться, да и любопытства никакого не испытал.

Колдун небрежно бросил поводья на коновязь, взбежал на высокое крыльцо и крикнул:

— Матушка! Иди в дом, ты мне нужна!

И, не дожидаясь ответа, понес Лешек ввнутри. Изнутри дом был гораздо больше, чем казался снаружи, и почти все пространство в нем занимала светелка: в ней и спали, и ели, и готовили еду, и, судя по всему, пряли. Но за светелкой находилось еще две комнаты — Лешек увидел двери, ведущие в них. Светлые решетчатые окна — такие же, как у Паисия в келье, — как и пышные подушки на кроватях, прикрывались кружевными белыми занавесями, на столе лежала вышитая скатерть, с многочисленных полок свешивались полотенца, и вокруг было чисто, как в приюте перед приездом архимандрита. Лешек так давно не видел столько занавесей, полотенец и скатертей, что невольно хлопал глазами, глядя по сторонам: в монастыре ели на голых столах.

Колдун уложил его на широкую мягкую кровать, откинув в сторону стеганое одеяло, и Лешек глубоко провалился в перину. На такой кровати он не лежал никогда в жизни — в приюте, как и во всей обители, на доски клали тонкие соломенные тюфяки.

— Матушка, готовь полотенца, — колдун оглянулся, услышав шаги за спиной, и Лешек тоже посмотрел на входную дверь: в дом вошла маленькая чистенькая старушка с белой головой, белым мягким лицом и белыми пухлыми руками. Рукава ее рубашки были закатаны до локтя, а на грудь надет красный передник с вышивкой. Она глянула на Лешек с любопытством, но не подошла к нему, а сразу направилась в одну из комнат, мелко семеня по выскобленному добела полу.

— Посмотри, — окликнул ее колдун, когда она вернулась в светелку, и снял со спины Лешек полотенце, — только посмотри, что они сотворили с мальчишкой...

Старушка, сложив полотенца на подушку, приложила руку ко рту и покачала головой:

— Ай, детонька... А маленький-то какой.

Лешек подумал, что он уже не маленький, но говорить ему совсем не хотелось.

— Это тот самый певун, про которого я рассказывал, — колдун нагнулся к нему и на этот раз внимательно осмотрел его раны, нажимая на них пальцами, отчего Лешек морщился и пищал. — Не пищи, ты же мужчина. Ничего страшного я не делаю, только смотрю.

Лешек был с ним согласен и постарался покрепче сжать губы.

— Скоро взойдет луна, и все пройдет. Придется зашивать, не оставляя же тебе такие страшные шрамы — девушки любить не будут.

Про любовь девушек Лешек не думал никогда, в монастыре об этом говорили совсем по-другому, и ему стало весело от этих слов колдуна.

Колдун накрыл ему спину смоченным в лекарстве полотенцем, а потом еще и теплым стеганым одеялом. Матушка тем временем зажигала многочисленные свечи, расставленные в разных углах кухни. Столько свечей в монастыре зажигали только в церквах.

— Как тебя зовут? — спросил колдун, доставая с полки какой-то кувшинчик с узким горлом.

— Лешек.

— И сколько тебе лет, певун?

— Двенадцать.

— Да ты врешь! — колдун рассмеялся.

— Нет, — Лешек обиделся.

— Да ладно... — хмыкнул колдун, — глотни-ка немного. Только немного.

Он поднес к губам Лешека горлышко кувшина — жидкость в нем оказалась горькой, обжигающей и чем-то напоминала кагор.

— Что морщишься? Противно?

— Ага.

— Ничего. Все пройдет, малыш... Лешек. Наверное, Олег... Матушка, посиди с ним. Пить давай, как попросит. Но пока только воды, а завтра посмотрим. Говорить ему тяжело, так что не спрашивай, успеем еще. Сказку ему расскажи. А я пойду, попрошу себе ясного неба.

Колдун поднялся с кровати, потрепав Лешека по волосам, и открыл сундук, стоявший у большой каменной

печки. Лешеку было интересно, как он будет просить себе безоблачного неба: неужели станет молиться? Он не представлял себе колдуна стоящим на коленях перед иконой, да и икон в светелке не заметил.

Но колдун достал из сундука медвежью шкуру, с головой и огромными когтями, снял кафтан и остался в простой рубахе, на которую надел пояс с множеством непонятных звенящих предметов.

— Смотри, парень, — сказал он Лешеку, накидывая на себе шкуру, — этого медведя я взял сам, в одиночку.

Лешек никогда не видел живого медведя, но мог вообразить, как это было непросто. И если колдун может справиться с таким большим зверем, то, наверное, бояться с ним нечего. Шкура застегивалась на множество мелких крючков, и колдун оказался одетым в нее, как в шубу, открытыми оставались только кисти рук и ноги до колена — сапоги колдун тоже снял и остался босиком. Медвежья голова с открытой пастью, откинута ему на спину, казалась странной и зловещей. Он снял с полки другой кувшин, побольше, и сделал несколько глотков прямо из горлышка; достал из сундука странный предмет — деревянное кольцо с натянутой на него тонкой кожей — и шлепнул по нему ладошкой. Раздался гудящий звук и перезвон мелких колокольцев, прикрепленных к деревянному кольцу.

— Нравится? — спросил он у Лешека и, не дожидаясь ответа, сказал: — Ну, тогда я пошел.

И опустил голову медведя себе на лицо, как шлем, а потом заревел по-медвежьи. Звук из-под головы шел приглушенный и протяжный, и Лешеку стало немного страшно, но старушка, которую колдун называл матушкой, села к нему на кровать и прошептала:

— Не бойся, маленький. Это он нарочно тебя пугает. Я вот тебе сказку расскажу, про медведя.

Лешек хотел сказать, что он не маленький и сказки про медведя ему в детстве рассказывала мама, а теперь ему это неинтересно. Но неожиданно сказка оказалась совсем не такой, как он ожидал, — в ней человека превратили в оборотня, и он вынужден был ходить в медвежьем обличье по лесам, пока не сделает для людей что-нибудь такое, за что они пожелают вернуть его к себе. Но люди либо боялись его, либо хотели убить. Сказка была длинная, и Лешек забыл про боль и тошноту.

Руки у матушки оказались ласковые: она брала Лешека за запястье, гладила по голове, и ему было так приятно, что хотелось потереться об ее пальцы щекой.

Колдун вернулся нескоро, старушка успела рассказать еще две длинных сказки. Он вошел в дом в расстегнутой медвежьей шкуре: загорелое лицо его побледнело до синевы, тонкие губы подергивались, глаза потухли и казались мутными. Он сбросил шкуру прямо на пол и упал на вторую кровать, стоявшую ближе к двери.

Матушка оставила Лешека, убрала шкуру в сундук, вынула из сжатых пальцев колдуна деревянное кольцо с колокольцами и расстегнула на нем пояс.

— Устал, Охтушка? — спросила она заботливо, взяла со стола кружку и, приподняв ему голову, помогла напиться.

— Ничего, — напившись, протянул колдун — впрочем, довольно весело. — Луна поднимается. Как ты там, певун? Жив еще?

— Да, — ответил Лешек. Оказывается, просить хорошей погоды было не таким простым делом.

— У твоего злого бога бесполезно что-то просить. Захочет — даст, а не захочет — не даст. С нашими попроще: и не захотят, а дадут. Будет нам хорошая погода, до полудня.

И когда колдун, завернув Лешека в одеяло, вынес во двор и положил лицом к себе на колени, Лешек впервые увидел хрусталь. При луне он казался немного желтоватым, размером с ладонь Лешека, с гладкими блестящими гранями и острыми, нитевидными ребрами. В самой его прозрачной глубине сидело маленькое мутное облачко, такое легкое, что Лешек не сразу его разглядел.

— Нравится? — спросил колдун и, как всегда, не стал ждать ответа. — Никогда не бери его в руки и никому о нем не говори, ладно?

Лешек кивнул.

— Смотри: он собирает лунные лучи, и получается комочек лунного света, — колдун посветил себе на руку желтым треугольным лучом, — видишь? Этот свет очистит твои раны. Может, это будет не очень приятно, но зато действительно.

Лешек испугался, но кивнул снова, чтобы колдун не посчитал его неблагодарным или чересчур нежным. Однако ничего страшного в лунном луче не оказалось, он только приятно охлаждал спину, и, хотя под открытым небом Лешек сильно озяб, от этого успокаивались

горящие раны. Колдун долго водил хрусталем над его спиной, а потом усадил, придерживая за шею, и осветил ему на грудь, в одну точку.

— Здесь у тебя сердце. От сердца лунные лучи побегут по всему телу и убьют лихорадку. Замерз?

— Немножко, — сознался Лешек.

— Сейчас. Еще чуть-чуть.

До утра колдун зашивал его раны, а матушка помогала ему, вдевая нитки в иглы из тонких и прочных рыбьих костей. Лешек плакал, хотя не так уж это было и больно. Матушка целовала его в лоб и вытирала ему слезы полотенцем. Колдун же, напротив, шутил и посмеивался, и иногда Лешек не выдерживал и смеялся сквозь слезы вслед за ним.

— Кожа-то тонюсенькая, — сокрушался он, — разойдутся швы того и гляди. Ты, малыш, не шевелись.

Лешек и сам не знал, плачет он от боли или от того, что и колдун, и матушка так жалеют его и так ласково с ним обращаются. В монастыре его жалел только Лытка, но никогда не вытирал ему слез и в лоб не целовал. И за эту ласку он любил их обоих, до боли в груди, до того, что прерывалось дыхание.

А наутро, как колдун и обещал, солнце, пропущенное сквозь хрусталь, залечило его раны, стянутые нитками, и на их месте образовались выпуклые рубцы, которые побаливали, конечно, но совсем незаметно, словно кожу несильно обожгли крапивой.

Колдун отнес Лешека на кровать, а матушка дала ему кружку молока и белую сладкую булку. И только тут он заметил, как устал и проголодался. Но, подумав немного, на всякий случай спросил у матушки:

— Сегодня разве не среда?

— Не знаю, детка. Может, и среда.

Лешек очень удивился, как можно не знать, какой сегодня день недели, а колдун, глядя на его лицо, рассмеялся.

— Матушка, среда в монастыре — постный день. Кушай, певун, постные дни отменяются. Кушай и спи. А ты, матушка, ставь пироги. С мясом и с яблоками. Мальчику надо набираться сил. Бледный — смотреть страшно.

Дамиан собрался выехать в Никольскую слободу после обеда, как только гонец, присланный Авдой, принес ему известие о найденных следах.

Собственно, никакая это была не слобода, а обычная деревня, правда, очень большая, с крепкими крестьянскими хозяйствами, но по старинке, в память о том, что когда-то Никольская стояла посреди густого леса и жители ее промышляли бортничеством и охотой, ее продолжали называть слободой.

Вытряхнуть мальчишку оттуда будет несложно: один-два сгоревших дома, и крестьяне сами отдадут его монахам. В сани положили теплых меховых одеял, и Дамиан хотел покрепче закутаться в них и укрыться с головой, как вдруг увидел, что к Великим воротам движется авва, и выругался про себя, не посмев на глазах у игумена сорвать сани с места. Пришлось подождать, когда он подойдет поближе.

— Дамиан, я слышал, беглеца нашли, но еще не поймали? — спросил авва, и Дамиан, не ожидавший подобного вопроса, на секунду растерялся. Как? Когда авва успел это узнать? Гонец пришел не далее четверти часа назад, они говорили в келье Дамиана, без свидетелей! Неужели кто-то их подслушал? Или... или гонец рассказал об этом не только ему? Это было неприятно: Дамиан надеялся, что его «братия» предана ему сильнее, чем авве. Неужели кто-то из его людей — лазутчик игумена? Но Авда, наверное, гонцом выбрал случайного человека, того, кто ближе стоял, не мог же он безошибочно показать пальцем на лазутчика! А это значит... Нет! Авда предан Дамиану, он никогда не станет через его голову добиваться чего-то от аввы. Или...

Наверное, все же подслушали...

— Да, авва, это так, — нехотя ответил Дамиан.

Авва посмотрел по сторонам и махнул рукой, призывая следовать за собой, к надвратной часовне. Ничего хорошего это не означало.

— Я догадываюсь, зачем ты едешь в Никольскую слободу, — начал авва, поднявшись в часовню и прикрыв за собой тяжелую дверь, — и я могу тебе сказать, что ты искушаешь судьбу, надеясь силой добиться от крестьян выдачи беглеца.

— Я... — хотел оправдаться Дамиан, но авва не дал ему говорить:

— Мужичье побьет твоих дружников, как только ты перейдешь границы. Я уже не говорю о том, какой грех ты примешь на душу. Впрочем, тебе это не впервой.

— Пусть попробуют! — усмехнулся архидиакон. — Моих сил хватит, чтобы задавить бунт в любой слободе.

— Дамиан, ты видишь не дальше собственного носа, — недовольно фыркнул авва, — сначала крестьяне перебивют тридцать твоих братьев, потом ты, собрав силы, придешь и перебьешь оставшихся мужиков, со злости пожжешь их дома, оставишь их сирот на морозе, и где они окажутся на следующий день? Здесь, в приюте. Вместо тридцати крепких крестьянских дворов мы получим полторы сотни нахлебников, а вместо слободы, приносящей доходы, — пепелище. Ты этого хочешь?

— Они не посмеют.

— Смотри до чего ты дойдешь в желании немедленно получить свое, а в этом тебе нет равных. Никольская слобода — самая крепкая из отдаленных хозяйств, мне стоило большого труда закрепить крестьян на земле, заставить построить не временки, из которых в любую минуту можно сорваться и уйти, а большие добротные дома. Ты знаешь, что в кийской земле некому растить хлеб? Крестьяне бегут на север, князья рвут их друг у друга, забирая в полон. А мы сами, своими руками будем уничтожать то, что так долго взращивали и оберегали? Да Никольская приносит нам больше доходов, чем все остальные деревни!

— Но... — начал Дамиан, но авва снова его перебил:

— Я запрещаю тебе действовать силой. Можешь обыскивать дома, одно это вызовет большое недовольство. Но жечь и убивать не смей. Если до завтрашнего утра ты ничего не добьешься, я сам приеду в слободу, отслужу литургию и прочту проповедь. Может быть, Божье слово окажется сильнее копий и огня.

Дамиан поморщился: авва, конечно, не дурак и проповедовать умеет мастерски, но тут он обольщается — мужичье в своей темноте никогда не купится на его «Божье слово». Раздражение он придержал при себе и, садясь в сани, был вовсе не так уверен в успехе — что толку обыскивать дома? В них всегда найдется

какое-нибудь укромное место, куда никто не догадается заглянуть. Мужичье понимает только язык силы, и если уступить им сейчас, в следующий раз они схватятся за топоры, когда придет время делиться урожаем. Авва этого не понимает.

— Ладно... — пробормотал Дамиан себе под нос. — Посмотрим. Обыскивать дома тоже можно по-разному.

Он прибыл в слободу, когда совсем стемнело и крестьяне топили печи на ночь. Ползать по домам, полным едкого, непроглядного дыма, особого смысла не имело. А вот выстудить жильё широко открытыми дверьми показалось Дамиану интересной мыслью.

Он расположился в избушке, пристроенной к церкви, и занял в ней одну комнату из трех. Избушка была убогой: топилась по-черному, окна в ней затягивались пузырем, на котором толстым слоем осела сажа, а с потолка слетали грязные хлопья.

Монахи устали. Авда снял дозоры с реки и перевел их ближе к слободе, и Дамиан привез с собой десяток свежих дружников, но люди, которые провели почти двое суток в седле, не успевали отдохнуть за те несколько часов, которые им выделял Авда. Дамиан и сам не спал вторую ночь, но заснуть бы не смог: едва он закрывал глаза, так сразу вспоминал о хрустале, о жалком певчем, который посмел... И злость подбрасывала его на постели, и глухое рычание вырывалось из груди — он должен поймать мерзавца! Дамиан понимал, что главное — это хрусталь, но чем дольше длились поиски, тем сильнее над ним довлело желание отомстить, наказать, втоптать обратно в грязь, где послушнику самое место. Не убить, нет, — это слишком просто. Чтобы этот волшебный голос охрип, умоляя о пощаде. И чтобы все остальные запомнили, надолго запомнили, каково оно — перейти дорогу ойконому обителю.

Нет, выйти в лес или на реку парень не мог — на девственно ровном снегу любое движение будет заметно издали, даже в темноте. А на тропе, которую успели протоптать к лесу, постоянно стояли дозором два человека. Мышь не проскочит.

Дамиан сам объехал верхом слободу, сам убедился в том, что все выходы видны как на ладони, и, когда над слободой перестали виться дымы, отдал приказ

обыскать дворы еще раз. И сам заходил в каждый дом, и сам проверял то, что ему казалось подозрительным.

Прятали беглеца хорошо. Возможно, в домах на такой случай предусматривались тайники. Ведь скрывали же они где-то хлеб от сборщиков — Дамиан ни секунды не верил, что крестьяне отдадут положенное до последнего зернышка. Но хлеб они скорей всего зарывали в землю и доставали только по весне, а тут зарыть что-то в землю было очень трудно.

Нет, чтобы найти парня, надо раскатать эти дома по бревнышку. И неизвестно, на кого работает время. Братья сбиваются с ног, а певчий валяется на полатах и отъедается хлебцем с молочком. Да он всю зиму может просидеть в слободе!

Если проповедь аввы действия не возымеет, Дамиан не станет больше вожжаться с мужичьем. Завтра утром он пошлет гонцов в пограничные скиты, и тогда топоры крестьянам не помогут.

Обыскав все тридцать дворов, Дамиан начал обыск сначала. Если он не может вытащить беглеца на свет божий, то и спать ему спокойно он не даст. Братья валились с ног, и пред рассветом Дамиан их пожалел. Он и сам вымотался: его тошнило от кислых запахов слободы, от сажи, собравшейся в углах, от грязных коровников, ледяных погребов и пустых колодцев. Пискалявые дети, заспанные, простоволосые хозяйки, вонючие старики, неопрятные, широколицые девки, ковыряющие в носу, мельтешащие перед глазами мальчишки, которые не могут и пяти минут усидеть на месте. Куда им столько детей? Хорошо живут, вот и плодятся.

Авва прибыл, едва рассвело. Привез с собой Паисия, двух иеродиаконов, трех певчих — не иначе, хотел поразить мужичье великолепием богослужения. И братья, только-только получившие возможность отдохнуть, снова отправились по дворам — собирать народ в церковь. Дамиан, не желая бросать своих людей, а также выказывая авве понимание важности его действия, тоже не остался в прибранной за ночь избушке.

Брат Авда, уставший, с лицом, еще более похожим на череп, чем обычно, отозвал его в сторону:

— Мужики недовольны. Поговаривают, вот-вот за топоры возьмутся. Надо бы с ними поосторожней, пока со скитов дружки не приехали.

— И что ты предлагаешь? — взорвался Дамиан. — Пусть авва проповедь в пустой церкви читает? Нам с тобой?

— Ну, может, больных не надо туда?

— Надо! Всех надо! Пока авва будет перед ними распинаться, мы еще раз дома обойдем. Пустые. Тише будет, спокойней. Может, услышим что.

В крохотную церквушку все слободские не вместились, и некоторые, в основном дети постарше, остались слушать службу под окнами. Разумеется, вместо этого они больше возились в снегу, громко хохотали и бегали друг за другом. Дамиан скрипел зубами — да, это не приютские мальчишки с глазами долу, которые бояться сказать лишнее слово. Вместо тишины над слободой неслись визги, смех и лай собак.

Пришлось поставить четверых монахов присматривать за ними — чтобы дети не наследили на пути к реке.

Третий обмысл ничего не дал. Авва читал проповедь долго, а потом причастил малышкой и немощных, так что времени Дамиану хватило. Но в домах стояла тишина: нигде не скрипнула половица, не щелкнула лучинка, не раздавался вздох...

Расходился народ из церкви веселей, чем шел туда.

— Отец Дамиан! — к нему подъехал монах, помогавший на службе. — Авва зовет тебя к себе.

— Ну, как служба? — спросил Дамиан, сжав губы.

— Очень хорошо получилось, и такая проповедь была занятная... — монах расплылся в улыбке. — Некоторые даже плакали.

— Да ну? Это они от скуки и от голода, — процедил Дамиан и направил коня к церкви. На лицах встречных крестьян слез он не заметил.

Авва, как всегда, оставался спокоен и добр, но от Дамиана не укрылось его радостное настроение. Не иначе, он был доволен собой.

— Ну что? Теперь подожди до вечера. Мне показалось, что служба им понравилась, особенно пение — они тарачились на клирос, открыв рты. Красиво получилось, Паисий молодец, отлично подготовился. И икона мироточила, это тоже их ошеломило.

Дамиан вежливо кивнул — авва в этом никогда ничего не понимал. Что им до красивой службы? Поглазели и по домам пошли.

— Надо чаще проводить службы зимой. Сидим в обители, так тараканы за печкой, — вздохнул игумен, — я думаю, пора в Никольскую постоянного батюшку посадить. И изба для него есть, и приход большой получается.

Ну точно. Авва доволен собой. Как дитя, честное слово! Дамиан с трудом удержался, чтобы не заскрипеть зубами.

Они пообедали втроем с Паисием, и Дамиан, которому до этого кусок не лез в горло, вдруг понял, как проголодался. Как ни странно, слободские прислали авве жареного гуся и вкусный пирог с ягодами, отчего тот укрепился в мысли о силе Божьего слова. А вот Дамиана это насторожило — он не ожидал от крестьян такой любви к проповедникам и немедленно велел выяснить, из какого дома принесли гостинцы.

Он еле-еле дождался, когда авва наконец отправится обратно в Пустынь, — надо было дать людям отдохнуть, а к ночи начинать действовать решительней. Он еще и сам не знал, что предпримет, и склонялся к пожарам. Была у него задумка забрать из каждого дома по ребенку и стращать родителей их смертью, но в ответ на это мужичье точно взбунтуется, а со скитов пока никто не прибыл. Пожар же можно списать на гнев Божий и разыграть неплохое представление.

Но сначала — отдохнуть. После сытного обеда Дамиан мечтал только о нескольких часах сна, и теперь его не пугала ни сажа, которая летит с потолка избышки, ни сырая постель, пропахшая затхлостью: он провалился в сон, едва его голова коснулась соломенной подушки.

Ему показалось, что спал он всего несколько минут, но открыл глаза в полной темноте и услышал за окном шум и крики. Казалось, вся слобода высыпала на улицу, и первой его мыслью было: бунт! Но почему? С чего вдруг? Да еще и на ночь глядя? Или выбрали минуту, когда большинство братьев спит?

Дамиан сел на кровати и крикнул:

— Авда! Кто-нибудь! Что там происходит?

Но сонные монахи шумели за стенкой и, похоже, тоже ничего не понимали. Дамиан натянул сапоги, завернулся в меховой плащ и хотел выйти во двор, чтобы посмотреть самому, но тут ему навстречу в комнату вбежал молоденький дружник, еще послушник, и захлебываясь прокричал Дамиану в лицо:

— Господь явил чудо! Настоящее чудо! Недаром авва причащал немощных!

Дамиан слегка отстранился: щенячий восторг юноши, похоже, не позволит ему изложить суть дела толком.

— Спокойней, — протянул Дамиан, — не горячись. Какое чудо? Почему вся слобода ходит по улицам? Вы их окружили хотя бы? Осмотрели?

— Так чудо же... — прошептал дружник. — Люди радуются, иконы несут...

— Какие иконы? Что произошло?

— Дедушка Вакей пошел. Два года лежал, а после причастия пошел! Господь явил милость...

Дамиан похолодел.

— Что? Где Авда? — прошептал он, а потом рявкнул во весь голос: — Авда!

— Брат Авда спал. Наверное, уже проснулся. Все проснулись.

Дамиан оттолкнул мальчишку в сторону и выбежал во двор церкви. Это хрусталь. Господь таких чудес не являет! Это хрусталь, и они нарочно подняли шумиху. Сейчас тут будет столько следов, что можно вывести два десятка беглецов и никто этого не заметит!

— Авда! — еще громче крикнул архидиакон, но увидел, как брат Авда с криками и проклятиями догоняет толпу, высыпавшую на лед реки. И в этой толпе идут монахи, и — Дамиан не сомневался — льют слезы умиления, глядя, как темные крестьяне славят Бога и поднимают над головой иконы, которые еще вчера прятали в подклетах, чтобы не занимали место в доме.

Впереди толпы шел высокий седой старик в белой рубахе без пояса, как будто не боялся холода, поднимая икону на вытянутых руках. Дамиан не видел его лица, но думал, что старик улыбается. В его движениях не было уверенности, будто он удивлялся каждому сделанному шагу, и высоко задирает лицо, иногда потрясая иконой, словно проверял, действительно ли держит ее в руках. Но в то же время необычайная сила исходила от его белой фигуры — Дамиану привиделось, что над головой деда поднимается едва заметный свет, и он встряхнулся, чтобы прогнать навязчивое видение.

Возносить благодарение Богу мужики не умели, поэтому делали они это так же, как привыкли славить своих

истуканов: пели, плясали, резвились и в открытую тиска-ли девок. Ребяшня рассыпалась по льду, и кто-то тащил за собой санки: они играли в снежки, бегали друг за дружкой, валялись в снегу, и Дамиан не успел добежать до реки, как с десятков пацанов успели подняться на крутой противоположный берег, да в нескольких местах, и, увязая в снегу, пытались скатиться вниз на санях. Луна еще не взошла, и это было особенно некстати. Впрочем, тот, кто придумал этот «крестный ход», наверняка знал, когда восходит луна.

«Дедушка Вакей пошел», — неслось отовсюду.

— Братья! — рявкнул Дамиан, но его голос утонул в шуме двух с лишним сотен людей, и ему ничего больше не осталось, как поймать пробежавшую мимо лошадь и, вскочив в седло, догонять толпу, двигавшуюся в сторону монастыря.

Он ухватил за шиворот дружника, который чуть поотстал, но продолжал раскрыв рот смотреть на белого старика.

— С ума сошли! — заорал Дамиан, нагнувшись к его лицу. — В седло, быстро! Он уйдет, он уже ушел!

— Так ведь... чудо же... Господь явил.

— Какое чудо? Вы что, дети малые?

— Дедушка пошел... — прошептал монах. — После причастия пошел.

— В седло, я сказал! Вдоль берега! Быстро! Дурачьё! Шкуру спущу всем! Факелы готовьте!

Старик жив не будет! Дамиан почувствовал, что на него накатывает «помутнение»: он уже был не в силах справиться с гневом, а скоро и совсем перестанет отдавать себе отчет в своих поступках. После «помутнений», которые случались не так уж часто, он ничего не помнил и иногда ужасался, как мог такое выкинуть, и не врут ли ему, рассказывая о тех бесчинствах, которые он вытворял. Обычно начиналось это с вина, но иногда бывало и просто от усталости или долгих треволнений. Честное слово, лучше бы его связывали в такие минуты, потому что за последствия своих поступков ему приходилось расплачиваться в твердой памяти.

Дамиан пришпорил коня, обгоняя толпу, выскочил перед стариком и дернул поводья с такой силой, что лошадь поднялась на дыбы, грозя разбить копытами голову чудом исцелившегося «божьего раба».

Старик, остановившись, не шелохнулся и смерил Дамиана тяжелым взглядом из-под редких седых

бровей. И Дамиан вдруг заметил, что тот стоит на снегу босиком.

— Убью! — рыкнул Дамиан и вырвал из-за пояса короткий меч — такие в дружине были только у него и у Авды.

Он развернул коня и хотел опустить меч на голову старика, и уже расколол напополам икону, которую тот поднимал над головой, но не успел заметить, как из толпы вперед метнулись двое мужиков, и меч его со звоном налетел на лезвия двух перекрещенных топоров.

Наверное, «помутнения» с ним все же не случилось, потому что он хорошо помнил происходящее: как его стащили с коня, выкрутили руку с мечом и, если бы не подоспевший Авда, могли бы, чего доброго, и зарубить ненароком.

— Мы вас не трогаем! — вперед вышел крестьянин, русобородый, широкоплечий и высокий, — и вы нас не троньте. Мы войны не хотим, но и в обиду себя давать не собираемся.

Дамиан, еще не поднявшийся из снега, хотел что-то возразить, но его опередил Авда. По крайней мере, он был спокоен и тверд.

— Хорошо, — кивнул он крестьянину, — идите по домам, тихо и быстро. Вашу шутку с Господним чудом мы поняли и оценили. Теперь кончайте ломать это представление, собирайте детей и расходитесь. Иначе нам действительно придется воевать, а мы в этом понимаем больше вас. Я обещаю, что монахи никого не тронут, если вы спокойно и быстро разойдетесь.

Крестьянин усмехнулся в густую бороду, подумал, посмотрел на старика и сдержанно кивнул:

— Если с дедушкой хоть что-нибудь случится, ни один чернец живым отсюда не уйдет.

Дамиан встал и отряхнулся — крестьяне, судя по их взглядам, всерьез намеривались выполнить свое обещание. И ему стало не по себе: от толпы исходила угроза, такая же темная, тяжелая и холодная, как лезвие топора.

Все равно поздно. Дамиан вместо злости вдруг почувствовал обиду: его обвели вокруг пальца, как мальчишку! За двое суток позволить себе три часа отдыха и проспать! А ведь можно было предположить, что если

что-то случится, то именно до восхода луны. Или перед рассветом, когда внимание у всех ослаблено. Обида и усталость. Не было сил даже разозлиться как следует.

Старик описал на льду широкий круг и повел свободских назад, к домам. Хозяйки кликали детей, кто-то продолжал петь, в толпе повизгивали девки, но иконы быстро опустились вниз и плясать крестьяне перестали.

Дамиан вздохнул, кто-то подвел к нему коня и придержал стремя.

— Вдоль берега. Все. Он уже в лесу. Каждый след на берегу проверить. Факелы берите: если он след заметал, в темноте не разглядите.

Лешек ушел из слободы перед рассветом, когда луну затянуло тяжелыми, низкими облаками. К тому времени весь левый — крутой — берег был исхожен вдоль и поперек, не столько мальчишками, сколько монахами, проверившими каждый след. Впрочем, и правый берег они без внимания не оставили. Из лесу монахи еще не вернулись — им приходилось тяжело: не только пробираться вперед по глубокому снегу, а прочесывать его в поисках следа. Конных Дамиан снова поставил сторожить лед — они почему-то были уверены, что Лешек и дальше собирается двигаться по реке.

Лежа между потолком и полом, он слышал, как к дедушке приходили Дамиан и Авда, приходили только вдвоем, не доверяя тайны остальным монахам, и расспрашивали его о хрустале и беглеце. Однако грозить побоялись — обещали зерна, если он расскажет об этом подробней. Но дедушка твердо стоял на своем: показывал срезанный громовый знак, на месте которого углем нарисовали крест, рассказывал про икону, которую Дамиан расколол надвое, мол, стоило поставить ее в красный угол и зажечь лампадку, как случилось чудо и осязание вернулось к неподвижным членам. Хозяева и старшие дети поддакивали, и всем было понятно, что это наглая ложь, но никто не мог уличить в этом старика.

Дамиан злился, Авда оставался спокойным, и через час-другой они ушли несолоно хлебавши, хлопнув дверью так, что с полок посыпались горшки.

Лешеку накинута на плечи белое полотно, а броские сапоги спрятали под онучи — теперь в темноте он мог легко спрятаться в снегу. Хозяйка дала ему в дорогу хлеба и вареной рыбы, а дедушка отдал снегоступы, в которых когда-то ходил на охоту. Прощались тепло — Лешек не мог выразить благодарность за спасение, а хозяин махал руками и говорил, что за вылеченную спину дедушки он отдал бы половину дома, и этой платы все равно было бы мало. Старик, обнимая Лешеку, не удержался от слез, и Голуба, встав на цыпочки, поцеловала его неумелыми горячими губами, покраснела и расплакалась.

Слободу охраняли пятеро конных, но, будучи уверенными, что беглец давно ушел, несли службу без особого усердия. Тем более что предрассветное время всегда самое тяжелое для сторожей.

Лешек поднялся на правый берег и шел по проложенным монахами следам, пока не рассвело: рассвет был сереньким и тусклым, мороз немного ослаб, но вскоре подул пронизывающий северный ветер и повалил густой снег. Сворачивая с найденного пути, Лешек надел снегоступы: теперь его следы занесет быстрее, чем через час, и монахи никогда не узнают, куда он направился.

Лес на правом берегу рос гуще, чем на левом, огромные ели опускали ветки к самой земле, и под некоторыми вообще не было снега: так плотно они покрывали ветвями свои корни. До земли ветер не доставал — выл по верхам, путался в кронах и только иногда забрасывал вниз клубившиеся снежинками круговерти.

Лешек шел и думал, что это колдун, глядя на него сверху, просит ему нужной погоды: солнца для хрустала и снегопада — заметать следы. Он поднимал голову к небу, как будто надеялся высмотреть сквозь тучи скуластое лицо и пронзительные черные глаза, и шептал:

— Спасибо, Охто, спасибо тебе. Прости меня.

* * *

Каждое утро, просыпаясь на широкой мягкой кровати в доме колдуна, Лешек чувствовал огромное счастье. И от того, что солнце светит в светлые окна, и от того, что ему так мягко и тепло под толстым одеялом, и от того, что

не надо куда бежать, никого бояться, никому служить. Он быстро потерял счет дням недели и узнавал, какой сегодня день, только по субботам, когда колдун посещал окрестные деревни или ездил на торг. И от этого вечером, дождавшись колдуна с его рассказами, Лешек снова засыпал счастливым — в монастыре в это время служили все-нощную, а он мог спокойно нежиться в постели. Конечно, в глубине души ему было немного страшно, но страх этот скорей походил на проказы непослушного мальчишки, который делает нечто запретное и уверен, что избежит наказания. Ему очень хотелось в такие минуты высунуться в окно и показать Богу язык.

Выяснилось, что Лешек не умеет делать то, что доступно каждому двенадцатилетнему мальчишке: он не умел плавать, ездить верхом, ловить рыбу, лазать по деревьям, ходить на веслах, бить из лука мелкую дичь — вообще ничего. Колдун посмеивался над ним, но по-доброму, отчего Лешек нисколько не обижался. Он боялся воды, боялся подходить близко к лошадям, которых у колдуна было целых четыре, а достав руками крепкий сук, не мог подтянуться, чтобы на него залезть.

Дом колдуна стоял в удобном месте, где глубокая речка Узица широко разливалась небольшим озерцом и поворачивала с северо-запада на северо-восток. Получалось, что двор с двух сторон окружен водой, а с третьей от посторонних глаз его прятал густой сосновый лес. Берег реки со стороны дома был довольно пологим, зато на другой стороне поднимался высокой, обрывистой кручей.

Над рекой склонялась вековая ива с серебряными листьями, рядом с ней стояла крошечная банька, а у толстой сосны в глубокий погреб со льдом вели крепкие ступени. За домом, у самого леса, в сарае лежало душистое сено, и Лешек очень полюбил прыгать и кататься в нем и частенько засыпал там, размороженный подвижной игрой. Кроме четырех лошадей у колдуна была рыжая корова, куры и белые гуси, которые свободно плавали по реке, и никто их не пас.

Несмотря на то, что лето бежало к концу и ночи зачастую бывали сырыми и холодными, колдун купался каждый день, а то и не по одному разу, и, как только Лешек перестало шатать из стороны в сторону, потащил его за собой в воду.

В монастыре мальчиков мыли в бане раз в месяц и, хотя монастырь стоял в устье большой реки Выги, на берегу озера, купаться их никогда не водили, да и сами монахи этим брезговали.

Лешеку было очень страшно и холодно. Но колдун, глядя на его несчастное лицо, так хохотал, что пришлось сжать зубы и войти в реку по вязкому, илистому дну, серьезно подозревая, будто под водой кто-нибудь обязательно его укусит или, чего доброго, схватит за ногу и утащит на дно.

Однако не прошло и недели, как Лешек перестал бояться и вбегал в обжигающую воду со смехом, как и колдун, и потихоньку учился плавать и даже нырял.

Оказалось, что в жизни есть столько разных дел, которыми хочется заняться, что Лешеку не хватало длинного летнего дня, и, засыпая, он думал о следующем. После бесконечных запретов монастыря он удивлялся, почему колдун ничего ему не запрещает, а если и запрещает, то выглядит это совсем не так, как в приюте. Да, собственно, и запретов было всего три: не заходить далеко в лес, потому что можно заблудиться, не пить из маленьких кувшинчиков, расставленных на полках кухни, потому что можно отравиться, и не брать в руки хрусталь.

Матушка на самом деле никакой матушкой колдуну не была, она просто помогала ему по хозяйству. Ее муж умер, сыновей у нее не было, а многочисленные дочери давно вышли замуж и осели в семьях мужей. На второй день пребывания Лешек в доме матушка вытащила из своего сундучка два оберега на кожаных ремешках и повесила Лешеку на шею вместо креста.

— Матушка! — возмутился колдун. — Куда столько! Говорю же, я сам ему сделаю обереги, какие понадобятся.

— Так я только ложечку... — ответила старушка. — Чтобы толстенький был, ложечку. И гребешок, для здоровья.

Лешек с любопытством разглядывал подарок: малюсенькая серебряная ложка понравилась ему больше, чем колючий гребень, но, надо сказать, он носил их всегда, не снимая. Толстеньким он так и не стал, но обереги эти служили подтверждением матушкиной любви: любви в его прежней жизни было мало, и он ее ценил. Колдун

же носил только один оберег — крест в круге — и говорил, что больше ему самому ничего не надо. Круг означал солнце, его коловращение, а крест — землю и четыре стороны света на ней. Однако для Лешека привез сразу несколько, и самый первый — змеевик — от злого бога Юги. На нем голова женщины, богини холода, венчалась клубком змей. Оберег был очень красивый, тонкой работы и, наверное, дорогой.

— Она защищает достоинство, — объяснил колдун, — и если злой бог протянет к тебе свою длань, змеи его покусают.

— А что такое «достоинство»? — на всякий случай спросил Лешек. — Это мои вещи?

— Достоинство — это гордость и честь, самоуважение. Главное, что должно быть в человеке, — чувство собственного достоинства. Так что бросай привычку креститься на входе в дом и клонить глаза долу.

От этой привычки Лешеку избавиться было трудно, и он, перекрестившись, всегда втягивал голову в плечи, думая, что колдун непременно даст ему за это подзатыльник, как это делали воспитатели, искореняя дурные привычки мальчиков. Но колдун ни разу этого не сделал, напротив, каждый раз, увидев испуганного Лешека, прижимал его к себе, целовал в макушку и говорил:

— Голову в плечи тоже не прячь. Виноват — умей ответить. А не виноват — прими жестокость с гордостью.

И через несколько дней Лешек, протянув два пальца ко лбу и поймав нарочито серьезный взгляд колдуна, прыскал в ладонь, и колдун хохотал вместе с ним.

— Ты бы хоть пошалил иногда, — вздыхала старушка, глядя на молчаливого Лешека за обедом, — сидишь, как сычонок, воды в рот набрал и кол проглотил.

Колдун же за столом неизменно разговаривал, чем очень Лешека сначала удивлял.

— Матушка, им в монастыре было велено сидеть за столом прямо и молча. Вот он и сидит.

Тут колдун нисколько не ошибался. Еще положено было смотреть в миску, а не по сторонам, и эта наука давалась Лешеку особенно тяжело; наверное, потому он и избавился от этой привычки раньше всего и действительно хлопал глазами, как сычонок, глядя в окна или разглядывая что-нибудь интересное в светелке.

А еще он пел. Пел, когда хотел. И колдун всегда замирал и бросал свои занятия, если слышал его песню, а иногда подходил ближе, садился возле Лешека на траву, ставил локти на колени и опускал на руки подбородок.

— Это удивительно, малыш, — говорил он, — ты не можешь себе представить, что твой голос способен делать с людьми. Слова, которые ты поешь, льются прямо в душу. Спой мне, что я должен утопиться, и я утоплюсь, честное слово. И этим чудным голосом ты пел хвалу Юге?

— Нет, — как-то раз честно ответил Лешек, — это было не так. Отцу Паисию не нравилось, как я пою хвалу Богу, он хотел, чтобы я пел так же, как пою свои песни. Но у меня не получилось.

Колдун на это довольно ухмыльнулся. Он ненавидел монастырь и говорил о нем неизменно с отвращением, брезгливо приподнимая верхнюю губу.

— Охто, если ты так ненавидишь монахов, почему ты едешь их лечить? — спросил как-то Лешек.

— Понимаешь, — колдун задумался, — монахи ведь тоже люди и тоже не хотят болеть и умирать. И я бы не сказал, что ненавижу монахов. Я ненавижу злого бога, которому они кланяются, ненавижу церковь и ее власть. Но самих монахов? Нет, я их просто презираю.

В первые дни Лешек очень скучал по Лытке и думал: как было бы здорово, если бы они жили у колдуна вдвоем! Ему не хватало собеседника, заводилы, защитника. Он вспоминал избитое Лыткино лицо, залитое слезами, его обещание убить Дамиана, и сердце его сжималось от жалости к другу и от страха за него. Лешек плакал и просил колдуна рассказать Лытке, что он жив, что с ним все хорошо, но колдун решительно качал головой: для монастыря Лешек умер. Став взрослым, он понял, насколько колдун оказался прав: Лытка бы не удержал тайны, он бы выдал себя хотя бы тем, что не смог избразить скорби.

Но прошло совсем немного времени, и Лешек, к собственному стыду, понял, что уже не хочет жить у колдуна вместе с Лыткой. Он не хотел делить любовь колдуна ни с кем, даже с лучшим другом. Тем более что колдун стал для него и собеседником, внимательным и умным, и заводилой, иногда озорным, как мальчишка,

и защитником, рядом с которым можно вообще ничего не бояться.

Тяжелей всего Лешеку далось умение ездить верхом — при приближении к лошади у него начинали дрожать колени, ему казалось, что этот огромный зверь непременно захочет его укусить или растоптать. А оказываясь в седле, он вцеплялся руками в переднюю луку и боялся взяться за повод, потому что тот мешал ему крепко держаться. Колдун был терпелив и, как ни странно, строг. Наедине с лошастью он Лешека не бросал, но заставлял его чистить лошадей, надевать тяжелое седло, вставая для этого на скамеечку (роста Лешеку не хватало), осматривать им копыта, что казалось ему наиболее опасным занятием, и ездить. Каждый день.

Сначала Лешек, взобравшись на лошадь, с нетерпением ждал, когда же колдун разрешит ему слезть, но постепенно привык и даже получал от этого удовольствие. Иногда Лешек думал, что колдун нарочно над ним издевается, особенно когда Лешек падал, а колдун велел ему залезать на коня снова, да еще и посмеивался при этом, не оставляя ему возможности пожаловаться. А если, жалея себя, Лешек распускал нюни, колдун смеялся еще громче. Но однажды Лешек упал и разбился действительно сильно, и колдун так испугался, что на руках отнес его в дом. Только тогда Лешек понял, что колдун вовсе не издевается над ним, и переживает из-за его неудач, и радуется его успехам, и учит преодолевать страх.

Во всяком случае, через год Лешек самозабвенно любил лошадей, ездил не хуже колдуна и ничего не боялся.

Колдун всегда говорил с ним как с равным, никогда не подбирая понятных слов, но отвечал на все вопросы, не считая их глупыми. Лешек вскоре заметил, что с матушкой колдун говорит совсем не так: гораздо проще и не так откровенно.

Приезжая в воскресенье из обители, он непременно пускался в пространные рассуждения о монастырской жизни.

— Дамиана сняли с должности настоятеля, — рассказал он в середине сентября, съездив в монастырь, чтобы сообщить о смерти Лешека, — и наложили епитимию, довольно серьезную. Для него, конечно.

— За что? — удивился Лешек.

— Видишь ли, малыш... — лицо колдуна стало злым, и верхняя губа приподнялась не от брезгливости, а словно в оскале. — Считай, что он тебя убил.

Лешек не задумывался о смерти, но после этих слов с ужасом понял, что если бы не колдун, то давно был бы мертв.

— Так вот, установили ему годовой пост и велели трижды переписать Писание. Ну, посекали, конечно. Но ты за него не беспокойся, вместо настоятеля его поставили келарем, а на его место определили Леонтия. Больничный мне рассказал: Паисий как-то впал в безумство, показывал на Дамиана пальцем и грозил ему огненной геенной за смерть мальчика, на что тот расхохотался и ответил: «А я покаяться, и авва мне этот грех отпустил». Говорят, три послушника за него Писание переписывают и очень в этом преуспевают. Насчет поста не знаю, он же келарь и с поварней теперь на короткой ноге. А что ты надулся? И вроде как на меня?

— Паисий хороший, он добрый. А ты над ним смеешься, — честно признался Лешек.

— Паисий и хороший, и добрый, не отрицаю. Но глупый. Не сердись, ты можешь со мной не согласиться.

— Он — агнец, — упрямо повторил Лешек.

— Ты знаешь, что такое агнец? — спросил колдун, и Лешек покачал головой. — Агнец — это баран. Как я могу относиться к людям, которые хотят уподобиться баранам? Не расстраивайся. Знаешь, они все очень переживают из-за твоей смерти, очень. И больше всего из-за того, что ты умер без причастия. И все за тебя молятся, авва даже отслужил молебен за упокой твоей души. Представляю, как бесится сейчас твой злой бог из-за того, что ему не удалось заполучить такую чистую душу, — колдун усмехнулся.

— А Лытка? Как там Лытка?

— Не знаю, если честно. Я же не могу ходить по монастырю и расспрашивать. Что-то мне рассказывает больничный, что-то — те, кого я лечу. Про Лытку никто в этот раз не рассказал, значит, с ним все хорошо.

Колдун и Лешека расспрашивал о монастырской жизни, и Лешек ему поведал о том, как они с Лыткой подслушивали монахов в Ближнем скиту.

— Ну, Златояр — не то чтобы князь, так, князек. И земли у него немного, вот и зарится на чужую. Я слышал, что архимандрит жаловался на него епископу, а епископ — посаднику, только толку от этого никакого. Где Златояр — и где посадник! Но и ваш авва не прост: помяни мое слово, он этого Златояра под себя подомнет лет через десять, раз надумал дружину при монастыре держать. И Дамиан твой далеко пойдет, вот увидишь.

Лешеку очень нравилось слушать колдуна. Он говорил обо всех так просто, немного свысока, как будто они для него ровным счетом ничего не значили. Будто авва, князь, епископ — обычные люди, живущие по соседству, а не сильные мира сего. Впрочем, он и о богах говорил точно так же. И Лешек, внимая колдуну, сам чувствовал себя причастным к этой «большой» жизни.

Лето в тот год тянулось долго, до самого конца сентября, а зима наступила рано: в октябре выпал первый снег, да так и не растаял больше. В монастыре Лешек ненавидел зимы — темные, холодные и скучные. Но у колдуна и зима оказалась совсем другой. Конечно, заставить солнце всходить раньше, а садиться позже колдун не умел, но он не жалел свечей, и в доме его всегда было светло. Дров он не жалел тоже, и большая печь с дымоходом согревала маленький дом так, что в нем все время было жарко.

Утром он выгонял Лешека на улицу голышом, заставлял его растираться снегом, а потом кутал в теплое одеяло и сажал к печке с кружкой горячего сладкого сбитня и булкой. И хотя вылезать из теплой постели и нырять в снег Лешеку не очень нравилось, но это сторицей окупалось утренними посиделками с колдуном.

На противоположном берегу реки колдун залил длинную крутую горку и привез с торгового санки для Лешека. Но к концу зимы санки ему стали не нужны: он, как и колдун, научился кататься с горы и стоя на ногах, и на корточках, и лежа на пузе. А еще колдун одел его в пушистую легкую шубку, ушастый малахай и справил ему теплые сапоги: в монастыре зимней одеждой мальчиков не баловали, поэтому по улице они передвигались только бегом.

Зимой колдун топил баню дважды в неделю, и баня эта тоже не имела ничего похожего на мытье в монастыре. Мальчики всегда мылись после монахов, в третий

заход, и пара для них не оставалось, только теплая вода. Лешек считал мытье, особенно зимой, занятием очень неприятным — ему всегда было холодно.

В первый раз оказавшись в бане с колдуном, еще в сентябре, он подумал даже, что колдун решил его накопец сварить и съесть, откормив до нужного размера. Лешек пытался вырваться и убежать, но колдун крепко держал его на полке среди густого раскаленного пара:

— Сиди, — мрачно говорил он, с удовольствием втягивая в себя горячий воздух, — я знаю, когда пора.

— Я щас умру... — пищал Лешек.

— Не умрешь.

И только когда все тело Лешека покраснело, как у вареного рака, и по нему побежали не капли — ручейки пота, колдун быстро сорвался с места, подхватил Лешека за руку, добежал до реки и швырнул его в воду, а потом и сам оказался рядом, хохоча и отплевываясь.

Лешек еле-еле отдышался, а колдун снова потащил его в баню, кинул на полок и схватился за березовый веник. Лешек совсем не ожидал от колдуна ничего подобного, и не знал, в чем провинился, поэтому разревелся, как маленький, и закричал:

— Нет, нет, пожалуйста, не надо! Я больше не буду!

Колдун растерялся, опустил веник и присел перед Лешekom на корточки:

— Да что ты, малыш... Ничего не бойся. Разве я могу тебя ударить? Это же совсем не больно, это приятно и полезно.

Но Лешек не мог остановиться, даже поверив в то, что у колдуна были самые добрые намерения. И плакал теперь не от страха, а просто потому, что слезы сами собой лились из глаз. Колдун снял его с полка, сел на лавку и посадил Лешека себе на колени, ласково поглаживая его дрожащие мокрые плечи:

— Не бойся, никогда меня не бойся. Я не сделаю тебе ничего плохого, слышишь?

Лешек плакал и кивал. Колдун добрый. Колдун его любит, а он...

— Я бы раскатал твой монастырь по бревнышку, честное слово, — он покрепче прижал Лешека к себе и поставил подбородок ему на макушку, — я бы заставил их ответить за это, малыш... Ничто так не унижает человека, как

наказание. Тем более ребенка. Надо быть чудовищем, чтобы, услышав детский крик о пощаде, не опустить руку.

— Это... — пробормотал Лешек сквозь слезы, — это для смирения гордыни...

— Да, Лешек, именно для этого. Для смирения гордыни. Чтобы убить гордость, превратить человека в червя, который корчится в пыли и боится поднять голову. Который не может себя защитить, зато умеет молить о прощении. Очень убедительно, между прочим: ползая на коленях... Как я ненавижу твоего злого бога, малыш... Пойдем на крылечко, подышим воздухом.

Колдун вынес Лешека на широкие ступени бани и посадил рядом с собой, обнимая за плечо.

— Когда станет холодно, скажи, и мы пойдем греться. И париться веником. Теперь не боишься?

Лешек покачал головой, и слезы снова навернулись ему на глаза — от счастья.

— Но вообще-то, я тебе скажу, плакать и кричать не стоило...

— Я... я просто не успел, — попытался оправдаться Лешек, — я не специально. Я уже научился не плакать. Почти.

— Надеюсь, это умение тебе не пригодится... — проворчал колдун. — Но само по себе хорошо: надо хранить гордость и тогда, когда на это совсем не осталось сил.

Париться веником Лешеку понравилось. Колдун начал осторожно, скорей поглаживая тело жаркими мокрыми листьями, и Лешек смеялся, потому что ему было щекотно, а под конец хлестал его изо всей силы, и Лешек блаженно вытягивался под струями пара, и кожа приятно горела, и пахло березой, и горячий воздух не пугал — его хотелось вдыхать все глубже, таким он был вкусным.

И после бани, сидя на крылечке дома с кружкой остывшего сбитня, Лешек чувствовал, какой он легкий, чистый и немного усталый. Наверное, в монастыре он никогда не был таким чистым. И новая красивая рубашка, которую ему вышила матушка, приводила его в восторг: можно было часами разглядывать узор на рукавах и груди, со зверями, птицами и деревьями.

Долгими зимними вечерами, у теплой печки и под яркими свечами, колдун переписывал книги. Когда Лешек впервые зашел в одну из маленьких комнат

колдуна, то изумился: он не видел других книг, кроме священных, и не сразу понял, зачем колдуну столько. Неужели он читает Писание? Но колдун снова смеялся над ним и долго объяснял, что книги бывают разные.

И зимой, когда в темноте на дворе делать было нечего, Лешек прочитал первую книгу. Она рассказывала о княгине Ольге и об Ингваре, ее муже. Больше всего Лешек поразило, что книга состояла из простых, понятных слов, совсем не таких, как в Благовесте. Как будто неизвестный рассказчик пишет теми же словами, которыми говорит. До этого чтение давалось ему с большим трудом, он не понимал, что в этом может быть хорошего, но книга про Ольгу слегка поколебала его представления. Во всяком случае, ему было интересно.

Колдун иногда покупал новые пергаменты и сам переплетал переписанные книги, но чаще брал церковные, доступные, стирал написанный текст и сверху записывал новый. Лешек время от времени заглядывал ему через плечо и спрашивал, что он пишет. Книга, с которой колдун делал список, была изрисована непонятными значками, и Лешек недоумевал, как из этих непонятных значков колдун складывает обычные слова.

— Это глаголица, — улыбнулся колдун. — Здесь записано то же самое, только другими буквами. Просто глаголицу скоро все забудут, поэтому я и переписываю их, чтобы тексты не потерялись.

— А про что эта книга?

— Про устройство человеческого тела. Тебе это пока будет скучно, я лучше расскажу на словах, когда-нибудь потом. Это очень старая книга, ей больше чем полтыщи лет. Ее переводили с греческого.

Как-то раз, приехав с торго, колдун привез маленькую книжку, не больше пяти вершков шириной, и несколько вечеров подряд стирал с листов ее содержимое.

— А зачем ты это стираешь? — спросил любопытный Лешек.

— Это Благовест, я его читал. Ты, наверное, тоже, — усмехнулся колдун.

И, когда книга стала совсем чистой, в один из вечеров он вытащил на стол ворох берестяных листов, поставил перед Лешекком чернильницу и сунул ему в руки перо.

— Это будет твоя книга, — улыбнулся колдун. — Ты умеешь писать?

— Немного.

— Можешь поучиться на бересте. Но вообще-то ничего страшного не будет, если ты напишешь что-то не то, можно стереть и подправить.

— А что я буду писать?

— Как что? Свои песни, конечно. Ты знаешь крюковую грамоту?

— Мои песни? В книгу?

— Ну да. Не вижу в этом ничего удивительного. Так умеешь ты записывать музыку?

— Я никогда музыку не писал, но умею петь по крюкам, меня учил Паисий. А зачем?

— Вот ты состаришься лет через сто, умрешь, а какой-нибудь другой певун найдет твою книгу и сможет петь твои песни. Разве это не здорово?

— Здорово... — Лешек просиял и растрогался. Это показалось ему удивительным и волшебным. — Но я не знаю, как записать это крюками... Я никогда этого не делал.

— Научишься, — пожал плечами колдун. — Сначала напиши их на бересте и пробуй петь. Ты быстро поймешь, я думаю.

И Лешек схватился за эту работу как одержимый. Ему не терпелось начать вырисовывать буквы на гладких, блестящих пергаментных листах, но он учился сначала разлиновывать их, потом записывать музыку. Вечерами колдун не мог загнать его в постель — сна у Лешека не было ни в одном глазу, он готов был сидеть над работой всю ночь. Ему виделись листы книги, где, выписанные красивыми буквами и аккуратными крюками, остались его песни, понятные неизвестному певцу через сто лет. Но выяснилось, что красивые буквы и аккуратные крюки — всего лишь мечта: на бересте вместо ровных строк у Лешека получались отвратительные каракули.

Просыпаясь утром, он хотел одного — скорейшего наступления вечера. Но колдун выгонял его на мороз: ездить на лошади, кататься на санках... Иногда брал его в лес, как будто на охоту, и учил стрелять из лука. Лук колдун сделал ему сам, он был немного меньше обычного, по росту и силе Лешека, но для мелкой дичи вполне

годился. И лишь когда сумерки опускались на широкий двор, позволяя Лешеку разложить на столе письменные принадлежности.

Только через две недели, исписав почти весь запас бересты, Лешек решил подвинуть к себе книгу, показав колдуну черновик. Первой он собрался написать песню про злого бога, потому что если бы не она, колдун бы, может, не захотел его спасти и не увез из монастыря.

— По-моему, отлично, — похвалил его колдун, — погоди, начнем мы с красной строки. У меня есть красивое лекало.

И первая буква песни — витиеватая, большая, вырисованная киноварью — легла на чистый лист, приведя Лешека в восхищение.

Он долго не мог заснуть, и колдун не гнал его в постель: песня уместилась на одной странице, а внизу осталось немного места, и колдун предложил Лешеку нарисовать там птицу, которую увидел на одном из черновиков. Получилось удивительно красиво — Лешек не мог оторвать глаз от этой первой страницы своей собственной книги. И даже матушка, которая не умела читать, сказала Лешеку, что ей очень нравится.

Лытка проклинал себя за то, что отпустил Лешека одного: Дамиан поймает его и убьет снова, и, наверное, во второй раз Лытка его смерти не переживет. Господь даровал Лытке самое большое счастье за всю его жизнь — чудесное воскресение Лешека из мертвых. Это было чудо, настоящее чудо: восемь лет он молил Господа об этом, и Он сжалился над Лыткой.

Лытка долго помнил тот день, когда колдун приехал и рассказал про Лешека. Паисий разрешил Лытке уйти с литургии и сам пошел к воротам вместе с ним. Лытка тогда уже перерос Паисия, но иеромонах положил руку ему на плечо, как маленькому, и всматривался в дорогу, ведущую от озера. Лытка не верил в плохое известие, несколько не верил. Лешек не мог умереть, это было бы слишком несправедливо, слишком жестоко. И ждал он колдуна, чтобы услышать, что Лешек поправляется, скоро вернется в приют и они снова будут вместе.

Лытка вспоминал, как увидел его в первый раз, — совсем маленького, плачущего, забившегося в угол спальни. Аздровый, толстощекий парнишка пытался медом измазать его волосы и приговаривал при этом: «Хочешь еще сладенького?» Лытка знал, что такое волосы, измазанные в меду, да еще и зимой, когда так холодно их мыть. А еще он хорошо знал, что слабых обижать нехорошо. У них в деревне за такое старшие братья малыша накостыляли бы такому шалуну по первое число. Но если у малыша в приюте нет старших братьев, это вовсе не причина для издевательства.

Лытка сшиб толстощекого на кровать одним ударом в грудь.

— Ты что? — не понял толстощекий.

— Щас ты у меня получишь «сладенького»! — сквозь зубы процедил Лытка.

— Ты чего? — взревел его противник и оглянулся по сторонам, призывая на помощь товарищей. Но Лытка был крепким парнем, и никто не посмел с ним связываться; в приюте тоже имели представление о честности и вдвоем на одного не лезли. Он помог встать плачущему малышу и повел его умываться.

Лешек был удивительным. Лытка любил его, как младшего брата, а может, и сильнее. Его семья сгорела

в избе, когда сам Лытка ушел с ребятами в ночное пасти лошадей, и никого на этом свете у него не осталось. Полгода он мыкался по добрым людям, пока наконец его не подобрала монахи. И приют показался Лытке местом теплым и сытным.

Стоя у Великих ворот, он старался вспоминать только хорошее: как Лешек пел, как смеялся, как весело изображал монахов, — но почему-то вместо этого перед глазами все время всплывало его бледное лицо с испариной на лбу, и провалившиеся огромные глаза, которые не помещались между висков, и впалые щеки, и струйка яблочной кашицы, стекавшая из угла рта на подушку.

Если бы Лытка тогда поднялся с земли чуть быстрее... Совсем чуть-чуть. Он опоздал всего на несколько мгновений. Когда Дамиан ударил его в лицо, ему стоило большого труда понять, лежит он или стоит. И земля под ним шаталась и выскальзывала из-под ног, когда он поднимался. Лытка не думал об опасности, он ни секунды не боялся Дамиана, он бы, наверное, отгрыз ненавистную руку, если бы подоспевшие монахи не отцепили его от запястья настоятеля, сжав ему щеки пальцами. Но он все равно опоздал.

Мрачная фигура колдуна показалась на дороге, и Паисий сжал плечо Лытки немного крепче. Его горло исторгло какой-то тихий, гортанный звук, вроде стоны, и Лытка понял, как Паисий боится. Надеется и боится.

Колдун, как всегда, спешил, но, увидев иеромонаха с мальчиком, придержал коня, посмотрел на них сверху вниз жестким, холодным взглядом и сказал, коротко и внятно:

— Мальчик умер.

Паисий, до этого смотревший на колдуна широко открытыми глазами, полными надежды, уронил голову на грудь, а Лытка не сразу понял, что означают эти слова, потому что не хотел их понимать.

— Я узнал, кто его родители, и похоронил рядом с матерью, в Моксине, — колдун тронул коня с места и, не оглядываясь, направился к больнице.

Паисий разрыдался молча: плечи его тряслись, губы судорожно кривились, и из плотно зажмуренных глаз бежали слезы, и тогда до Лытки постепенно стало доходить, какую весть принес им колдун. Отчаянье, до

поры спрятанное где-то внизу живота, вдруг поднялось к горлу, и Лытка схватился за шею руками, как будто это отчаянье могло его задушить. Оно было похоже на невыносимую боль, и от этой боли у Лытки дрогнули и подогнулись колени: он упал на вытоптанную землю и свернулся клубком, стараясь спрятать лицо и зажать руками уши, чтобы не слышать слов колдуна, которые до сих пор били в виски набатом: мальчик умер, умер, умер...

Если бы он тогда поднялся с земли чуть быстрее... Совсем чуть-чуть...

Лытка три дня пролежал в горячке, и Паисий приходил к нему и сидел рядом по нескольку часов. Тогда и началась их дружба — старика и мальчика, таких непохожих, разделенных не только возрастом, но и положением.

— Мне сегодня приснился сон, — рассказывал Паисий, — как будто Господь обнимает Лешека и сам ведет в райский сад. И вокруг светло, поют птицы, и идут они по белому облаку...

— А разве Лешека могут пропустить в рай? — удивился Лытка.

— Конечно. Господь ведь любил его, как родного сына, разве же он не простит ему мелких детских грешков? И вся обитель молится за его спасение, и Иисус слышит наши молитвы.

— А откуда ты знаешь, что Господь любил его, как сына?

— Конечно, любил. Господь всех нас любит, как своих детей. И тебя, и меня.

— Разве? А я думал... А почему он тогда не спас Лешека, почему позволил ему умереть? Ведь Бог же всемогущ!

— А ты думаешь, Лешеку здесь было бы лучше, чем в райском саду? Господь пожалел его и взял к себе на небо, чтобы свои песни он пел там, в раю, услаждая ими души праведников. Разве плохо?

— Нет, — Лытка нахмурил брови. — Но что же он будет там делать среди этих святых старцев?

— Каких старцев? — теперь удивился Паисий.

— Ну, схимников. Ведь только схимники могут попасть в рай.

— Да нет, мальчик мой, ты ошибаешься. Конечно, врата узки, но и Господь милосерден. Каждому в жизни он позволяет раскаяться в грехах. И если ты раскаялся искренне, то он тебя простит, как простил бы родного сына. Бог любит нас, а мы, неблагодарные, грешим и сами стремимся к геенне огненной. И чем страшней наши грехи, тем труднее Господу вырвать нас из рук нечистого.

— Но ведь не грешить невозможно!

— Конечно, человек слаб. Тело вводит его в грехи. Но с собой надо бороться, надо возвращать в себе божественное, отказываясь от скотского. Никто и не говорит, что это легко. Но праведный путь приведет тебя к вратам рая, и душа, избавленная от тела, возликует. Тот же, кто в жизни только и делает, что услаждает плоть, не сможет от нее освободиться и не спасется, скатившись в геенну огненную.

— Но мы ведь служим Богу, чтобы спастись от него, разве не так?

— Нет, мой мальчик, кто тебе это сказал? Мы служим Богу, потому что любим его, потому что в молитве обретаем его поддержку, и Он дает нам силы бороться с собой и не грешить.

В следующую субботу, перед исповедью, Лытка долго размышлял о своих грехах, но так и не смог понять, в чем ему надо раскаяться, и сам отправился искать Паисия, чтобы спросить совета. Они проговорили до самой всеобщей, и вскоре это стало обычаем — прежде чем исповедаться духовнику, Лытка долго говорил с Паисием, тот стал его духовным наставником, раскрывая перед мальчиком тайны истинной веры.

Лытка стал совсем по-другому относиться к службам, и слова, которые раньше он пел, вызубрив наизусть и не вникая в суть, обрели для него божественный смысл, отчего голос звучал по-новому: красиво и одухотворенно.

Он изучил Благовест, а Паисий помог ему в этом, разъясняя непонятные места, и история Христа потрясла Лытку. Если до этого он всего лишь мечтал о рае, чтобы встретиться там с родителями, сестрами и Лешекком, то теперь почувствовал любовь к Иисусу и готов был поклониться перед его подвигом колени. Раньше он не понимал смысла распятия, да никто особенно и не стремился

его в этот смысл посвятить, но когда разобрался, его сердце преисполнилось трепета и благодарности.

Теперь он истово искал в себе грехи, надеясь хоть в малости приблизиться к Иисусу, стать хоть немного его достойным. Паисий и духовник Лытки безошибочно определили, с каким грехом ему нужно бороться в первую очередь, — с гордыней: мальчишка был слишком независим, слишком своеволен и смел, смирение оставалось для него загадкой, непонятным отвлеченным словом. Да и его привычка поднимать голову и смотреть на окружающих сверху вниз не соответствовала представлению о добропорядочном христианском поведении.

Но постепенно, шаг за шагом, они помогли Лытке разобраться и в этом, и он начал сам следить за собой и иногда обличал наставников в том, что они прощают ему то, чему нет прощения. Зато милосердие давалось ему легко и без усилий, — наверное, поэтому особенной добродетелью Лытка его не считал. Ведь то, что не требует душевного труда, не стоит ставить себе в заслугу.

Трудней всего оказалось разобраться со своими мыслями о Дамиане. Лытку грызла ненависть и желание отомстить, а этого чувства Иисус бы не одобрил. Но его сомнения разрешил Паисий: по его словам, в Дамиане шла постоянная борьба между Богом и Дьяволом, и Дьявол, благодаря греховности Дамиана, постоянно одерживал верх. Надо было ненавидеть не Дамиана, а Дьявола в нем, а сам Дамиан заслуживал жалости, помощи и поддержки в борьбе.

Лытка, конечно, подумал, что Дамиан в этой борьбе никакого участия не принимает, но запомнил слова Паисия и действительно Дамиана пожалел.

А еще через некоторое время понял, что Паисий, как многие другие иеромонахи, ведут с Дамианом непрерывную борьбу. И не только с Дамианом, но и с самим аввой.

Годы шли, и Дамиан из келаря и наставника дружников вдруг стал благочинным. Этого от аввы не ожидал никто. Иеромонахи роптали в открытую: Дамиан не имел даже сана иерея, а благочинный отвечал за духовные ценности. Паисий опасался, что ропот этот приведет лишь к тому, что авва рукоположит Дамиана в иеромонахи, но он ошибся, этого авва делать не стал.

И тогда Лытка, которому исполнилось шестнадцать лет, объяснил Паисию и духовнику, что этого авва не сделает никогда, чтобы Дамиан не смог в обход монастыря стать игуменом. Отцы подивились проникательности мальчика и после этого частенько рассказывали ему то, о чем приютскому парню знать было не положено, и только для того, чтобы спросить совета.

Впрочем, в семнадцать лет Лытка принял послушание.

Дамиан же удивил всех: из него получился хороший благочинный. И хотя действия его ничем не отличались от приютских, даже иеромонахи не могли придраться к его службе: Дамиан был строг, но справедлив. Исповедь перестала быть для некоторых монахов и послушников одним названием, Дамиан заранее докладывал духовникам о наиболее тяжких грехах, совершенных их «детьми», а узнавал он об этом словно по волшебству. Поначалу все думали, что это Господь просвещает Дамиана и во сне посылает ему видения, но вскоре догадались, что божественное тут ни при чем: Дамиан пользовался таким простым способом, как наушничество. Но в этом иеромонахи не усмотрели греха.

Дамиан добился беспрекословного выполнения устава, придумал систему наказаний за нарушения, и сам авва не смел его обходить. Все случаи, в которых устав мог быть нарушен, оговаривались в отдельном документе, который иеромонахи приняли и утвердили с большим удовольствием: Дамиан хорошо знал, чем можно их подкупить, и не ошибся. Впрочем, его нововведения если и давали послабления иереям, то только обоснованные и действительно необходимые.

Через год монастырь сиял, как будто на завтра ожидался приезд самого епископа.

Но и это не все, чем порадовал новый благочинный насельников обители: Дамиану позволили говорить с отцами Церкви, и он искусно доказал архимандриту греховность князя Златояра и потребовал в качестве епитимии (или добровольного искупления грехов) часть его земель в пользу монастыря. Златояру пришлось уступить одну из приграничных деревень. Сделал он это без особой охоты, но и не сильно переживая, потому что надеялся осенью собрать урожай как с нее, так

и с некоторых монастырских угодий. И вот тут князю впервые пришлось столкнуться с «дружиной» Дамиана.

Этой победой он перетащил на свою сторону многих иеромонахов, и только Паисий да еще двое-трое отцов продолжали потихоньку роптать. Никто не понимал, чего добивается авва.

Воспоминания о колдуне иногда причиняли невыносимую боль, а иногда согревали и придавали сил, словно он протягивал невидимую руку и обнимал Лешека за плечо.

Когда стемнело — быстро и неожиданно, — ветер проник на самое дно густого леса. Он еще не мешал идти, но уже швырял в лицо колющий мелкий снег: к ночи сильно подморозило. Над верхушками же деревьев бушевал настоящий ураган, и Лешек, который любил непогоду, в восхищении, смешанном с опаской, посматривал наверх. Лес ревел, раскачивался и трещал, ветер то тоненько скулил, то подвывал, а то свистел молодецким посвистом.

И только когда деревья расступились, открывая широкое пространство выжженной полосы, Лешек на себе испытал бешеную злобу урагана: тот как будто радовался, что может дотянуться до не прикрытой лесом земли, и обрушил на нее всю свою силу. Снег летел с неба, снег поднимался снизу, вихрился, проносился мимо, вился вокруг ног преданным псом и хлестал по лицу оледенелой рукавицей. Лешека в первую минуту едва не сбило с ног, и, хотя ветер дул ему в спину, дышать приходилось прикрывая рот руками.

Из-за густой снежной круговерти Лешек не сразу разглядел на краю леса серые приземистые тени, цепочкой кравшиеся сзади. Он ощутил на себе их голодные взгляды: волков было семь. Видно, выходить на открытое пространство они пока опасались и изучали жертву издали. Лешек шел довольно быстро, волков же рыхлый снег не держал, они проваливались по брюхо, но не глубже. Долго изучать человека они не станут: как только убедятся в своем превосходстве, так сразу нападут. И рыхлый снег им не помеха.

Лешек перешел к противоположной стороне полосы, но пока волки за ним не последовали: ветер дул слишком сильно и помешал бы им добраться до жертвы. Нет,

они примерятся, обойдут его со всех сторон и кинутся только тогда, когда будут уверены в молниеносности своей атаки. Их семеро, и, хотя волки по природе довольно трусливые звери, напугать их будет трудно.

В лесу от них не спрячешься: лес — их родной дом, там они и раздумывать не станут. Другое дело — открытая полоса, которая просматривается со всех сторон. Насквозь продувающий ее ветер уносит запахи, да и глаза человека видят лучше, чем у волков, а темно зимой не бывает.

Лешек думал спокойно, трезво, без тени страха. И снова внутри натянулась струна, делая движения выверенными, точными, обостряя слух и зрение — так учил его колдун, которому ни разу не довелось увидеть, что Лешеку помогла его наука. Лешек поднял лицо: если бы не ураган, волки давно напали бы на него, и открытая полоса не смогла бы их напугать.

— Спасибо, Охто, — на глаза навернулись слезы, и Лешек подумал, что ветер донесет его слова до колдуна: закружит вихрем, поднимет над землей и дотянет до самого неба.

Сломанный ветром сосновый сук хоть и был тяжеловат, мог бы стать превосходной дубиной: Лешек обломал мелкие ветви и верхушку. Но не настолько хорошо он владеет таким оружием, чтобы отбиться от семерых зверей. Хотя, может быть, это на время их отпугнет.

Сколько идти до охотничьей слободы, он не знал, но больше ему уповать было не на что: либо он подойдет к жилью до того, как волки решатся на нападение, либо... Дедушка говорил — семь верст. Но это при условии, что он прямо от Никольской пойдет на восток. Лешек же не меньше версты шел вдоль реки. А двигался ли он на восток, или на северо-восток, или на юго-восток, оставалось загадкой: он выбирал путь по направлению ветра.

* * *

Лишь в начале следующего лета колдун взял его с собой на торг, до этого Лешек ни разу не появлялся на людях. Он к тому времени вытянулся и поздоровел: руки у него стали крепче, ноги — быстрее, щеки горели румянцем, и матушка не могла нарадоваться, хотя

и жалела его за худобу. Никто в монастыре не смог бы его узнать.

Село стояло на широкой реке Пель, там, где в нее впадала Узица, и жители его в основном растили скот и выделывали кожи. Поскольку каждую неделю в село приезжали крестьяне из окрестных деревень и других, более отдаленных мест, называлось оно Пельским торгом, но и колдун, и местный люд называли его просто селом.

Торг поразил Лешека и напугал. Он никогда не видел ни такого большого села, ни такого числа людей. В раннем детстве мать, наверное, никогда не брала его с собой, если вообще бывала в таких местах. Больше всего он боялся потеряться и крепко держался за руку колдуна — лошадей они оставили у въезда на торг.

Особенно Лешека удивило то, что среди людей женщин едва ли было меньше, чем мужчин. В монастыре женщины появлялись только с гостями, и приютские мальчишки иногда бегали на них смотреть, из простого любопытства. Здесь же мальчишки и девочки помладше Лешека крутились вместе, а девочки постарше уже держались от мальчишек особняком — невестились. Лешек глазел на них широко раскрыв глаза и рот, и колдун время от времени похихикивал:

— Рот закрой хотя бы. Рано тебе на невест заглядываться. Вот усы вырастут, тогда смотри сколько хочешь. Впрочем, к тому времени они сами на тебя глазеть начнут.

Мальчишки, которые стайками сновали по торгу туда-сюда, посматривали на Лешека сверху вниз, и он тушевался под их взглядами.

Колдун купил ему сапоги — красивые, красные, с острым носком, чуть загнутым вверх, и Лешек в восторге смотрел на ноги, надеясь, что это прибавит ему веса в глазах сверстников, но, похоже, их взгляды стали еще более презрительными. Колдун покупал всякую ерунду, хотя обычно с торга привозил тяжелые мешки с теми продуктами, которых не водилось в его хозяйстве. И беспрестанно предлагал Лешеку выбрать себе что-нибудь, но Лешека ничего не привлекало: ни састи, ни безделушки. Он долго с тоской смотрел на деревянную лошадку, обтянутую настоящей лошадиной шкурой.

— Что, нравится? — спросил колдун.

Лешек вздохнул:

— Зачем она мне? Я на настоящей лошади езжу, это же для маленьких...

— Мы можем купить ее просто так, чтобы на нее смотреть.

Лешек на минутку представил себя с этой лошадкой под мышкой и мальчишек, провожающих его взглядами, и замотал головой.

— Охто, а что, у тебя очень много денег? — спросил он, когда они перешли в другой ряд.

— Достаточно, чтобы купить здесь все, что тебе захочется.

— Что, и лошадь? Настоящую?

— И лошадь. Настоящую. Только зачем нам еще одна лошадь? — улыбнулся колдун.

— Нет, я просто спросил. А откуда ты берешь деньги?

— Я их зарабатываю.

— Как это?

— На той неделе увидишь. А вообще-то это не так сложно. Хочешь, покажу?

— Хочу... — осторожно кивнул Лешек: что-то в словах колдуна заставило его насторожиться.

— Пойдем, — колдун потащил его к тому месту, где никто ничего не продавал, но все равно толпилось очень много людей: они шумели, показывали вперед пальцами и смеялись. Лешек ничего не мог рассмотреть за их спинами, но колдун поднял его повыше, и тогда он увидел, что в центре круга на задних лапах стоит настоящий медведь, а его за веревку держит худосочный мужичок с острой бородой.

Как ни странно, толпа расступилась, пропуская колдуна вперед, — среди поселян он выглядел богато и обстоятельно.

Лешек, оказавшись в первом ряду, снова разинул рот: он вообще не видел живых медведей, а уж ученых — тем более. Колдун скрылся где-то за спинами ребятишек из первых рядов, оставив Лешека одного, но тот этого и не заметил. Мишка залезал в телегу, стоявшую у него за спиной, и брался за вожжи, словно и вправду собирался погонять несуществующую лошадь; изображал бабу, которая несет ведра с водой; показывал, как косят и как вяжут снопы. Лешек хохотал до слез. Ребятишки рядом с ним тоже громко смеялись, толкали друг друга и Лешека в бока:

— Смотри, смотри! Во дает!

И, пытаясь повторять движения мишки, смеялись друг над другом; Лешек тоже изображал медведя вместе со всеми, сгибаясь и приседая от смеха.

Но как только медведь, зажав в лапах шапку, начал обходить круг, детей как ветром сдуло: они просочились сквозь толпу тихо и незаметно. Зато колдун сразу оказался рядом и положил в шапку большую серебряную монету, отчего лицо хозяина медведя вытянулось в изумлении. Колдун подошел к нему поближе и что-то шепнул на ухо, на что мужичок закивал и почему-то подмигнул Лешеку.

— Ну что, — хитро прищурился колдун, — попробуешь?

— Чего... — не понял Лешек и попятился.

— Петь! — колдун недоуменно повел плечом. — Что же еще?

— Как... вот прямо здесь?

— Конечно. Да не бойся, никто тебя не обидит.

Лешек смутился и обрадовался одновременно. Он не верил, что в таком шуме его хоть кто-нибудь услышит, но сама по себе мысль петь там, где так много людей (почти как в церкви), заставила его сердце забиться чаще.

Колдун посадил его на телегу, и люди, которые уже собирались расходиться, остановились и подняли головы. И ребячья выползла из толпы в первые ряды, и стайка девочек — его ровесниц — постреливала в него любопытными взглядами...

— Спой про соловья, — посоветовал колдун и отошел назад, к мужичку с медведем.

Лешек еще раз восторженно огляделся: можно петь о чем угодно и ничего не бояться... Он вдохнул, и голос его полетел над шумом толпы, яркий и чистый, и Лешеку казалось, что доносится он до самого неба. Толпа смолкла, и даже крики в торговых рядах стали тише. И, что самое удивительное, народ стал прибывать — новые и новые люди подходили и останавливались в задних рядах. Мальчишки удивленно раскрыли рты и перестали возиться друг с другом, девочки подняли головы и смотрели на Лешека, не скрывая восхищения.

И от этого голос его только креп, и печальная песня трогала до слез его самого: он хотел передать, рассказать

им всю боль маленькой серой птицы, выразить так, чтобы все это поняли и плакали вместе с ним. Ему казалось, что плотная людская стена пьет его голос, впитывает в себя, и назад к нему возвращается нечто, что не вмещается в груди: смесь восторга, и боли, и блаженства, и скорби. И то, что не вмещалось в груди, выливалось обратно вместе с песней.

Когда над толпой повисла и замерла последняя нота, люди молчали и слезы медленно стекали по их щекам: мужчины смахивали их осторожно, женщины промокивали краями платков, мальчишки размазывали по грязным щекам, а девочки прятали лица друг у друга на плечах. Лешек и сам плакал, чего с ним обычно не бывало. И кто-то из толпы кликнул колдуна и положил в его шапку мелкую монету, и за ним к колдуну потянулись другие руки, и даже мальчишки, у которых монеток не было, сунули, посоветовавшись, в шапку какой-то красивый круглый полупрозрачный камушек. Одна девочка сняла с себя подвеску в виде маленького колокольчика, подошла к Лешеку и поманила его пальцем:

— На, возьми, — она протянула колокольчик на веревочке, отчего он несколько раз тоненько звякнул, и, смутившись, отвернулась.

Лешек кивнул и от слез ничего не смог ей ответить.

Он спел еще две песни, с неменьшим успехом, но, закончив последнюю, почувствовал вдруг, что вот-вот упадет: у него не осталось сил ни плакать, ни радоваться. Колдун подхватил его на руки и усадил на телегу, вытирая ему слезы, а потом внимательно посмотрел Лешеку в глаза, развернул к себе спиной и стал мять руками его голову, словно она была тестом для пирога.

— Устал? — заботливо спросил он.

— Ага... — шепнул Лешек.

— Ничего. К этому надо привыкнуть. Я знал, что с твоим пением не все так просто, а сейчас убедился. Надо съесть что-нибудь сладкое, и все пройдет.

Колдун кликнул какого-то мальчишку, с любопытством смотревшего на Лешека, дал ему монетку и послал купить меда в сотах. И, как Лешек ни отнекивался, заставил его сжевать большущий сладкий восковой кус.

Как ни странно, после этого Лешек ощутил невероятный голод, но, прежде чем пойти обедать, колдун купил

на торге множество сладостей, две свистульки, красные стеклянные бусики и дорожные височные подвески с молочно-белыми камнями в виде капель.

— Мы после обеда пойдем в гости, надо принести хозяевам гостинцев, — пояснил он и подмигнул Лешеку.

Пообедали они жареным гусем, купленным на торге, присев под деревом недалеко от въезда в село. Лешек отдохнул и готов был петь снова, но колдун сказал, что на сегодня хватит.

— Знаешь, сколько денег ты заработал тремя песнями?

— Нет.

— Ну, на лошадь не хватит, но сапожки можно купить еще одни.

— Так много?

— Конечно. Так что в случае чего голодным ты никогда не останешься.

— А что, ты тоже поешь?

Колдун усмехнулся:

— Да, наверное. Только не людям — богам. Пойдем.

Большое село лежало вдоль широкой Пели, и дома в нем стояли как попало — так показалось Лешеку. Он бы точно заблудился среди многочисленных дворов, огороженных плетнями из тонких жердей, — одно название, а не ограда. Они проехали по берегу на самый дальний его край, и у домика, стоявшего немного особняком, колдун остановился и слез с коня. Во дворе росли высокие вишни и раскидистые яблони. Лешек спешил след за ним и увидел во дворе женщину, очень красивую. Впрочем, ему почти все женщины, а особенно девочки, казались красивыми. Эта женщина подвязывала ветви яблонь, еще не склонившихся под весом тяжелых плодов. Она была небольшого роста, и когда вставала на цыпочки, рубаха обтягивала ее высокую грудь и пышные бедра и обнажала загорелые гладкие щиколотки. Темно-русые толстые косы упали ей на спину, и она недовольно поправляла их, стараясь закрепить вокруг головы венком, но они падали снова.

Колдун не спешил зайти в калитку, а остановился и, разложив локти на тонких, прогибавшихся жердях плетня, опустил подбородок на руки, глядя на женщину и хитро улыбаясь. Лешеку очень хотелось увидеть ее

лицо, и, когда она обернулась, он восхищенно, а может, и испуганно вздохнул, как будто только что вынырнул из воды: у нее были ярко-зеленые, глубокие глаза, которые смотрели так странно, так отрешенно, как будто и не видели ничего вокруг. Но вместе с тем этот безучастный взгляд обжег его, скользнув по лицу, словно за один миг женщина разглядела всю его сущность. Однако через секунду лицо ее просияло, соболи брови взлетели вверх, щеки покрылись нежным румянцем, и губы тронула радостная улыбка.

— Охто! — женщина подбежала к забору и остановилась напротив колдуна, нерешительно взглянув на Лешека. И хотя она стояла в двух шагах от него, Лешек все равно почувствовал, какая она теплая.

Колдун прямо через забор обвил ее шею рукой, притянул к себе и поцеловал в щеку.

— Смотри, что я тебе принес, — он достал из кошелька подвески-капли и покачал ими у нее перед лицом.

Ее зеленые глаза вспыхнули, и щеки загорелись еще ярче, отчего лицо колдуна стало довольным и радостным.

— Мне ничего не надо, — улыбнулась она.

— Конечно не надо, ты и так красивая. Но возьми все равно. Только Леле не отдавай, мала она носить такие штуки. Я ей бусы купил. А это, — колдун кивнул на Лешека, — тот самый певун.

— Как тебя зовут, малыш? — ласково спросила женщина, но Лешеку все равно показалось, что ее глаза обжигают. Он думал, что перестал быть похожим на малыша: колдун время от времени мерил его рост на косяке двери, и получилось, что за зиму он вырос на целых полтора вершка.

— Он не малыш, — колдун посмотрел на обиженное лицо Лешека, — он совсем взрослый парень, ровесник твоему Кышке. И зовут его Лешек.

Колдуну Лешек позволял называть себя малышом, почему-то в его устах это звучало необидно.

Хозяйка позвала их в дом, и по дороге колдун обнимал ее за пояс, а Лешек чувствовал себя лишним... пока не увидел на крыльце девушку. Наверное, это была Леля, про которую говорил колдун, потому что тот вручил ей стеклянные бусы. И она так обрадовалась, что,

не смущаясь Лешек, прыгала на одной ноге и смотрела сквозь бусины на солнце. Ей было лет четырнадцать или пятнадцать, а может и больше. Лешек остановился внизу, не смея к ней приближаться, и рассматривал ее долго и пристально: тонкие и в то же время округлые руки, мягкие черты лица, с зелеными глазами, как у матери (но вовсе не обжигающими, а прозрачными на солнце), ее гибкий, опоясанный цветной веревочкой стан, ее босые ноги, совсем маленькие и розовые уши, и густую косу, и выпуклую грудь. Женщины казались ему удивительными существами — нежными, мягкими на ощупь и... беззащитными, чувствительными.

— Чего уставился? — девочка надменно повела плечом.

— Ты очень красивая, — честно ответил Лешек.

— Конечно. Только не про тебя! — усмехнулась она и тряхнула косой.

Лешек не понял, что она имеет в виду, но ему все равно стало немного обидно.

— Почему? — спросил он.

— Мал еще!

— Хочешь, я спою про тебя песню? — он шумно сглотнул: ему хотелось сделать для нее что-нибудь приятное, с одной стороны, и чтобы она посмотрела на него благосклонно, с другой.

— А ты умеешь? — презрительно поморщилась она.

— Умею.

— Ну спой, — она снова повела плечом, опустила косу вперед и присела на ступени крыльца, перебирая ее кончик пальцами.

И Лешек спел. Ему часто удавалось петь сразу, без всяких размышлений, — и слова, и музыка рождались в нем по волшебству. Нет, для этого, конечно, нужен был определенный настрой, так просто могло и не получиться, но сейчас именно такой настрой он в себе и ощущал. И песня его порхала вокруг ее головы, как бабочка, от нежных крыльев которой шло еле заметное дуновение. Он пел про волшебный сад, полный цветущих деревьев, среди которых под лучистым солнцем распускается прекрасный белый цветок. Про трепетные полупрозрачные его лепестки и яркую спрятанную в них сердцевину. И кончалась песня хорошо: цветок срывал красивый юноша, и тот не вял над его постелью, даже когда наступила зима.

— И это — про меня? — тихо спросила девочка, наклонив голову и подняв брови.

— Да, — ответил Лешек смущенно.

— Пойдем, — она решительно поднялась с крыльца и направилась в сад.

Лешек пошел за ней, опустив голову и глядя на ее мелькавшие под рубахой щиколотки, — и ходили женщины особенно: плавно, ступая узко, и ему казалось, что земля слишком тверда для прикосновения их ступней.

Девочка завела его вглубь сада, где по обе стороны дорожки росли цветы, долго рассматривала их, а потом выбрала самый большой, только не белый, а чуть розоватый, безжалостно сорвала и протянула Лешеку.

— На, возьми. Только он завянет.

Лешек подумал, что ему совсем не хочется, чтобы цветов завял.

— Пойдем, я тебя познакомлю с моими братьями. Домой сейчас нельзя, мама рассердится, так лучше уж поиграть на улице.

— А почему мама рассердится? — спросил Лешек.

— Глупый ты, потому что маленький. К ней же Охто пришел, они будут любить друг друга, и нам на это смотреть незачем.

— А разве нельзя смотреть на то, как люди любят друг друга?

Девочка прыснула:

— У тебя что, родителей не было?

— Были, конечно. Только отец умер, когда мне был всего год. А мама — когда мне было пять.

— А Охто тебе кто?

Лешек задумался: а кто ему колдун?

— Он мой друг, — ответил он, перебрав все возможности. — Так почему на это нельзя смотреть?

— Потому что это должно происходить наедине, когда никто им не мешает.

— Тайно?

— Нет, не тайно, а просто... чтобы никто не видел.

— А если кто-нибудь увидит?

— На такое нехорошо смотреть.

Лешек ничего не понял и решил спросить об этом колдуна.

— Мой отец тоже умер. Давно, — сказала девочка, — но я его помню. Он был очень сильный и красивый.

Братьев Лели они не нашли и долго сидели на крутом берегу реки, разговаривая. Лешек до этого никогда не говорил с девочками, и ему было интересно. Выяснилось, что девочки знают гораздо больше мальчиков из монастыря. Он успел поведать Леле свою историю, правда, опустив некоторые подробности монастырской жизни. Ему, например, было стыдно ей признаться, что Лытка его защищал от других ребят, и совершенно невозможным казалось рассказать, что в монастыре его секли розгами: это так гнусно, что ни одна девочка не захочет с ним после этого разговаривать. А тем более такая умная и красивая, как Леля. И историю с Дамианом пересказывать не стал, она с самого начала и до конца представлялась ему бесславной, просто сказал, что тяжело заболел, а когда она спросила, чем, ответил, что простудился.

Зато от нее он узнал, что ее мать зовут Милушей, что она ведунья и все село ходит к ней спрашивать совета в делах. А Лелей ее называли по имени Весны, но она родилась очень похожей на мать и тоже станет ведуньей, когда научится. Она и сейчас умеет кое-что угадывать. Например, что Лешек соврал про простуду.

— Почему? — Лешек покраснел и спрятал глаза.

Она рассмеялась:

— Знаешь, это любой бы угадал, по твоему лицу сейчас. Но когда ты врал, это было незаметно, ты здорово умеешь врать. Я, например, никогда не вру.

— В монастыре не врать нельзя...

— Почему?

Лешек вздохнул:

— Просто нельзя, и все.

— Ладно, не хочешь — не говори. А про простуду ты соврал, потому что болезнь выглядит не так, как рана. Ты был ранен, и очень тяжело. А если ты встанешь, я смогу сказать куда.

— Не надо, — Лешек замотал головой.

— Да чего ты боишься-то?

— Я не боюсь, я не хочу.

— Ну пожалуйста! Мне так интересно проверить, правильно я чувствую или нет!

Лешек пожал плечами:

— Если тебе так нужно... мне не жалко.

Он поднялся на ноги, а Леля начала водить вокруг его тела открытыми ладонями, но не прикасалась к нему, просто держала их близко к телу. Но даже это показалось Лешеку очень приятным, и ему очень хотелось, чтобы она случайно до него дотронулась.

— Как-то странно... — пробормотала она, — ничего не понимаю. У тебя что, была не одна рана?

Лешек покачал головой.

— Тогда вот так, — она провела пальцем вдоль одного из шрамов, — вот так, так, так и так. Правильно?

— Молодец! — раздался вдруг голос колдуна. — Совершенно точно.

— Ничего себе! А как так получилось? — удивилась Леля.

— Это в лесу на него прыгнула рысь, — серьезно ответил колдун, — он не растерялся и свернул ей шею. Но раны загноились, поэтому он чуть не умер.

— Правда? — Леля открыла рот, глядя на Лешека совсем по-другому. — А зачем врал про простуду?

Когда они с колдуном возвращались домой, Лешек, прижимавший к себе розовый цветок, спросил:

— Охто, а можно сделать так, чтобы он не завял до самой зимы?

Колдун пожал плечами:

— Попробуем. Но вообще-то это неправильно. Он уже не будет живым, и от него останется одна скорлупа, а настоящего цветка за этим не будет.

— А можно, чтобы он остался живым?

— Нет, Лешек. Нельзя заставить цветок цвести, если он сам этого не хочет. И никакое колдовство не поможет. Но мы можем его прорастить, и тогда он распухнет на следующий год. А может, и раньше, если будет жить в тепле.

— Охто, расскажи мне, что значит «любить друг друга».

— Ну... Вот ты любил Лытку, а Лытка — тебя. Я люблю тебя, а ты — меня. Мы заботимся друг о друге, жалеем, помогаем, скучаем. Разве это непонятно?

— Нет, я про другое. Я про то, на что нехорошо смотреть.

Колдун покосился на него, не понимая.

— Ну, вот вы сейчас с Милушей любили друг друга?

— А! Вот ты про что! — улыбнулся колдун. — Ну да, любили. А ты откуда знаешь?

— Мне Леля сказала.

— Леля больно умная стала, замуж ее пора отдавать, — усмехнулся колдун вполне беззлобно.

— Так почему на это нельзя смотреть?

— Потому что мужчина и женщина в такие минуты беззащитны. Для них не существует ничего, кроме них двоих, они хотят быть как можно ближе друг к другу, ласкают друг друга. И не хотят, чтобы кто-то на них смотрел. Это как разговор наедине, только... телесный.

— Но матушка, например, меня любит и меня ласкает, ведь правильно? И ты на это смотришь совершенно спокойно.

— Нет, это не то. Твой монастырь — просто кошмарное место! Каждый ребенок, выросший в семье, знает, что такое любовь между мужчиной и женщиной!

И колдун пустился в долгие объяснения, и Лешек, наверное, кое-что понял, но все равно не до конца.

А на следующей неделе колдун взял Лешека с собой, и на этот раз они ездили по деревням — с медвежьей шкурой, бубном, поясом, увешанным оберегами: колдун просил у богов хорошего урожая.

Вокруг Пельского торго, на широких заливных лугах, деревень стояло несколько — это были свободные земли, и дань с них платили посаднику. Лешек уже знал, что болото, отделявшее реку Пель от земель монастыря, называется Безрыбный мох, и очень удивлялся: а бывает ли болото рыбным? Но колдун на это рассмеялся и сказал, что рыбных болот он не встречал, а вот безрыбных — сколько угодно. Была и деревня, которая именовалась «Безрыбное», но, к удивлению Лешека, именно она и славилась рыбным промыслом — оттуда на торг везли здоровых осетров и красивых, вкусных стерлядок. А вот в деревне Рыпушки, напротив, рыбы отродясь не ловили — словно, проплывая по Пели, она обходила это место посуху. Зато в Рыпушках родилось много хлеба и сено оттуда везли в село — лучшего сена было поискать. Деревни эти были невелики — дворов десять-пятнадцать, но жили в них большие семьи, сразу три-четыре колена.

Они прибыли в первую деревню, Ягово, ближе к закату, к тому времени колдун вторые сутки ничего не ел и не пил, и Лешек всю дорогу приставал к нему, как у него это получается, а главное — зачем.

— Понимаешь, чтобы петь богам, надо до них добратся. А сытое брюхо не очень располагает к путешествиям, — усмехался колдун.

— А можно я буду тебе помогать?

— Конечно. Только не подходи ко мне, пока горит костер. А вот как только огонь погаснет, тогда мне даже нужно помочь.

В деревне их приветствовали поклонами и встречать вышли в основном старики. Колдун кланялся им в ответ очень уважительно, и Лешек от него не отставал.

— Что просят боги в этом году, Охто? — спросил один дедушка, видно, самый старший в деревне.

— Пока не знаю. Для начала шелковый платок и зерно. Но козленка можете начинать жарить, ни я, ни боги не откажемся, — он улыбнулся. — Если попросят что-нибудь еще, я скажу утром.

На невысоком холме, под которым стояла деревня и в разные стороны от которого разбегались поля, уже приготовили дрова для костра, и колдуну оставалось их сложить островерхим шалашом. Постепенно к холму подходили остальные жители деревни, но в отличие от стариков оставались на почтительном расстоянии от сложенного костра, переговаривались негромко: на их лицах отражалась торжественность предстоящего действия, они с уважением и страхом смотрели на колдуна и с любопытством на Лешека.

Колдун скинул плащ, кафтан и сапоги, подпоясался и надел медвежью шкуру, которую Лешек не без трепета помог ему застегнуть.

— Отойди к старикам. Когда от костра останутся только тлеющие угли, сделай им знак, что можно расходиться. После этого можешь меня поить вот отсюда, — он протянул Лешеку туесок, — до рассвета надо закончить, времени не так уж много.

Он надел на себя медвежью голову, чем снова напугал Лешека, разжег костер и сел очень близко от него, прямо в шкуре. Лешек подумал, что колдуну не только жарко, но и душно под ней. Сначала колдун просто

сидел перед высоким огнем, положив подбородок на колени, — это было долго и скучно, но никто из деревенских не роптал. Однако когда костер начал догорать, колдун подсел к нему ближе и кидал на горящие угли какую-то траву, от которой вверх поднимался пахучий белый дым. Потом, когда трава кончилась и последние клубы дыма растаяли в полумгле летней ночи, он снова замер и сидел неподвижно, как вдруг до Лешека донесся еле слышный звук, похожий на тонкое гудение жука, рассекающего крыльями воздух. Лешек не понял, откуда он исходит и что может издавать этот звук; между тем деревенские подняли головы и лица их оживились.

Звук нарастал медленно и постепенно перешел в дрожь, которая легкими толчками сотрясала воздух; к шороху присоединился шипящий свист. И каждый толчок, ударяя Лешека в грудь, заставлял его сердце стучать в такт этому биению. Только когда толчки усилились, обретая сложный ритм, и свист превратился в звон, Лешек понял, что это поет бубен колдуна.

Между тем колдун, одетый в медвежью шкуру, стал постепенно выпрямляться, настолько медленно, что уловить движения было невозможно. И вместе с ним над тлеющими углями начал подниматься огонь — так же медленно, неуловимо, и языки его металась в ритме, который задавал им бубен. Лешеку тоже хотелось двигаться в этом ритме, и сердце его трепыхалось беспомощно, не в силах его повторить.

Когда колдун расправил плечи, бубен его сотрясался в неистовом биении, огонь плясал ему в такт, и тут появился новый звук — глухой и низкий, похожий на утробное ворчание зверя, и Лешек не сразу догадался, что это поет сам колдун. Его песня, нарастая, напоминала и медвежий рев, и вой ветра, и грохот грозы, и клокочущий в горле победный крик. Босые пятки сдвинулись с места, и по земле побежала дрожь, впелась в содрогания воздуха, и казалось, небо тоже трепещет, как тугая кожа бубна.

Тело колдуна изгибалось, металось, как тень в неверном пламени, его запыстья, выпадавшие из когтистых лап, казались тонкими и хрупкими, грузное с виду тело двигалось гибко и стремительно. Лешек смотрел на эту пляску как замороженный, сердце его поймало ритм и

стучало теперь где-то в горле. Ему было страшно. Колдун, продолжая трясти землю ногами, переместился в середину костра, и огонь плясал вместе с ним и вокруг него: угли выбрасывали вверх ослепительные искры и покрывали бурый мех сияющей накидкой.

А потом — Лешек не понял, когда произошла перемена — он увидел, что никаких человеческих запястий нет и бубен сжимают когтистые медвежьи лапы, и ритм отбивают не босые ступни, а лохматые косолапые ножищи, и рев зверя нисколько не похож на песню: это крик силы, исторгаемый глоткой хищника: долгий, протяжный и торжествующий.

Бубен смолк, и мертвая тишина охватила холм, настолько неестественная, что, казалось, на него опустили прозрачный непроницаемый колпак. Зверь встал на четыре лапы, с достоинством, исподлобья огляделся по сторонам, вышел из костра и лег рядом с ним, повернувшись носом к огню. И в этот миг вверх бесшумно взметнулся столб пламени. Лешек чувствовал, что все вокруг, так же, как и он, смотрят на это пламя, и взгляды эти не позволяют огню упасть, угаснуть раньше времени.

Он не знал, сколько это продолжалось, и не замечал, как темнело вокруг. А когда небо осветилось ранней зарей, пламя опало, потускнело и заиграло на углях робкими синеватыми бликами. Лешек глубоко вдохнул и понял, что все закончилось. На земле перед костром лежал не медведь, а колдун, раскинув руки в стороны, и пальцы его слегка подергивались. Лешек оглянулся и поймал вопросительные взгляды людей: он кивнул им и пожал плечами. Но этого оказалось достаточно: медленно и молча деревенские потянулись с холма, и плечи их опустились, и головы поникли, словно они очень устали. Лешек тоже чувствовал, что в нем не осталось ни капельки сил, но подбежал к колдуну и с опаской тронул медвежьей морду. По телу колдуна прошла судорога, и Лешек подумал, что голову зверя надо откинуть назад, потому что под ней тяжело дышать.

Лицо колдуна было потным, волосы слиплись, губы дергались, а глаза оставались закрытыми. Лешек кинулся растегивать крючки на медвежьей шкуре, и, когда влажный ночной воздух коснулся груди колдуна, тот шепнул:

— Жарко. Сними ее...

Лешек торопился, и крючки цеплялись за густой мех. Он хотел передвинуть колдуна на землю, но не справился, и тот еле заметно покачал головой:

— Не надо. Пить.

И рубаха, и штаны колдуна насквозь промокли от пота. Лешек расстегнул на нем пояс, вспомнив, что так делала матушка, и дышать колдуну стало легче; потом осторожно поднял его тяжелую голову и старательно напоил из тuesка крепким и сладким отваром.

Не прошло и пяти минут, как жар сменился ознобом — зубы колдуна стучали, он пытался свернуться калачиком и никак не мог. Лешек нашел неподалеку его плащ и подумал, что мокрую одежду надо снять, но сначала подкинул на догоравшие угли немного сухих веток, а сверху — дров потолще, и через минуту огонь осветил и согрел пяточок пространства вокруг.

Раздеть колдуна оказалось не так уж трудно, Лешек завернул его в теплый плащ, повернул лицом к костру и прикрыл его спину меховой шкуркой.

— Ну как, Охто? Тебе так лучше?

— Спасибо, малыш. Дай мне еще глоточек.

На восходе солнца самый старый из стариков деревни принес в жертву козленка, которого съели за огромным праздничным столом, добавив к нему и других яств. Колдун хватал со стола все подряд и глотал не прожевывая, запивал медом, отчего вскоре захмелел и осоловел.

— Ужас как есть хочу... — оправдывался он перед Лешекком и наелся так, что с трудом вылез из-за стола.

Деревенские устроили им постель на повети, и спал колдун до следующего утра. Впрочем, Лешек не скучал: колдовство прошлой ночи так его потрясло, что он, когда выспался, сочинял песню, долго подбирая слова, достойные отразить и красоту обряда, и силу колдуна. А наутро, когда их провожали, спел эту песню деревенским, чем до слез колдуна растрогал.

— Слушай, не пой про меня хвалебных песен, ладно? — сказал тот, когда они ехали к следующей деревне.

— Почему? Тебе разве не понравилось? — огорчился Лешек.

— Твои песни не могут не нравиться, — усмехнулся колдун, — но... мне как-то неловко. Впрочем, послушать

было интересно. Знаешь, изнутри этой шкуры все выглядит немного не так. Как-то проще. И страшней.

— Правда? Расскажи мне!

— Не сегодня, хорошо? Как-нибудь зимой. Сейчас не могу.

— А этому можно научиться?

— Нет, малыш. И не нужно, главное. Это не столько дар, сколько проклятье. Я ведь без этого не могу. Если долго не колдую, то начинаю болеть. И потом, само посвящение — это мучительно и опасно. Я лучше научу тебя петь песню силы, у тебя это здорово должно получиться.

Они объехали все деревни, и дважды колдун колдовал в селе, и Лешек должен был бы привыкнуть к обряду, но так и не привык.

Волки вышли на открытую полосу, и шерсть их дыбилась от ветра. Они приседали, прижимали уши и неуверенно озирались по сторонам. Лешек взял дубину поудобней и откинул суму подальше за спину, чтобы не мешала. Ему приходилось оглядываться, потому что волки хоть и шли чуть сзади, но постепенно сокращали расстояние. Они не спешили.

Лешек спиной чувствовал устремленные на него голодные взгляды. Сколько он успел пройти? И сколько осталось? Волки издали почувствуют жильё, но остановит ли их запах дыма?

Цепочка постепенно начала рассеиваться: Лешек, оглянувшись, не сразу понял, куда подевались два волка из семерых, и только потом увидел тени, мелькавшие среди деревьев, — они обходили его кругом. Он подумал и переместился на середину полосы, подальше от кромок леса. Так хотя бы они не нападут на него незаметно.

Но волки осмелели достаточно, чтобы растянуться на всю ширину полосы. Теперь те, что были впереди, шли на одной линии с ним, но на почтительном расстоянии, а последние — шагах в двадцати, и промежуток этот постепенно сокращался. Лешеку показалось, что он слышит лай собак, но в вое ветра это могло ему просто пригрезиться, слишком сильно он хотел его услышать. А еще ветер уносил запах дыма в противоположную сторону — даже если жильё близко, волки могут этого и не заметить.

Круг сужался, и идти спиной к зверям становилось опасным. Лешек не знал, сколько прыжков они считают верными: два? четыре? Он глубоко вдохнул, развернулся и описал концом дубины широкий круг. Волки, не ожидавшие этого, приостановились и подались немного назад. Лешек тоже попятился, чтобы звери не зашли ему за спину. Но всякое отступление есть отступление, и волки приняли его за слабость жертвы. Или противника?

Они медлили, раздумывали, но потихоньку крались вперед: припадали к земле, осторожничали, готовились в любой момент сорваться с места — как на жертву, так и прочь от нее. Теперь Лешек стоял лицом к ветру, и снег

летел ему в глаза. Снежинки, заслоняя зверей, появлялись из белой мглы и непрерывным вихрящимся потоком били по лицу. Он махнул дубиной снова, но волков это не напугало. Их много. Они хотят есть.

Шум ветра переменялся, теперь он не свистел, а ухал, как филин, и ревел, как медведь. И в этом шуме Лешек уловил что-то знакомое, родное.словно ветер хотел что-то сказать, а Лешек не понимал его. Зато он отчетливо понял, что следующий взмах дубиной подтолкнет волков к прыжку: они достаточно близко, чтобы это не напугало их, а разозлило.

И Лешек крикнул. Низко, выдыхая из себя все мужество, на которое был способен. Это опять стало неожиданностью для волков, и они замерли, приседая в снег. И ветер ответил его крику хохотом, и хлопками в мохнатые ладоши, и ревом, и далеким грохотом осыпающихся скал.

Это колдун.

Дрожь появилась сначала в кончиках пальцах, поднимаясь все выше. И кулаки сжались сами по себе, и подбородок поднялся выше, и ноги в снегоступах начали отбивать тяжелый ритм, то приподнимая, то опуская тело и продавливая снег. И дрожь, добравшись до горла, заклокотала внутри, требуя выхода.

Песня силы выплеснулась из него навстречу ветру. Он отбросил дубину в снег — она мешала ему раскрыть ладони и впитывать в себя мощь урагана, сторицей возвращая ему силу, которую только что в себя вобрал. И пил это удвоенное, утроенное могущество, и исторгал из себя снова. Ему казалось, что между ним и ветром бушует холодное бесшумное пламя, из которого в стороны разлетаются синие молнии, и тот, кто случайно окажется в этом клубке сил, будет раздавлен, а потом сожжен дотла.

Голос его раздирал глотку чересчур низким ревом, подобным звериному, и Лешек самому становилось жутко от того, какие страшные звуки может издавать его горло. Но теперь эти звуки рвались из него помимо воли, он не мог остановиться, иначе бы холодное пламя сожгло его самого. Для него не существовало ничего, кроме встречного ветра и песни силы — страшной песни, которой когда-то научил его колдун. И петь ее

навстречу буре было очень самонадеянно. Теперь его не страшили волки — ураган грозил раздавить его своим многопудовым весом. Снег не долетал до его лица, метался в воронке, и воронка эта белым смерчем устремлялась в небо, и голос Лешека тоже кружился вместе со снежной крупой: бешеный, рыдающий, ревуший.

Он почувствовал, как его самого затягивает эта воронка, как бешено кружится голова и теряют смысл верх и низ, право и лево. Лешек произвольно выставил руки вперед и начал постепенно замедлять сумасшедшее биение песни. Воображаемое белое пламя качнулось в его сторону, но немного опустилось, воронка начала опадать, расплзаться по снегу поземкой, струи ветра выпрямились и обтекали его тело со всех сторон, kloчущий голос захлебнулся сам в себе.

Лешек еще ощущал трепет, от которого покалывало пальцы рук и ног, еще дрожали губы, и очень хотелось сесть в снег и закрыть лицо руками. Волков не было видно, но это не удивило и, наверное, не обрадовало его.

— Спасибо, Охто, — выговорил он охрипшим горлом.

* * *

После долгого путешествия по деревням они с колдуном снова ездили на торг и к Милуше, только на этот раз, к своему огорчению, Лешек не встретил Лелю, а знакомство с Кышкой и его младшим братом Мурашом оказалось вовсе неприятным.

Колдун, завидев на улице стайку мальчишек, хитро посмотрел на Лешека и спросил:

— Ну что? Ты не хочешь поиграть с ребятами?

Лешек не очень этого хотел, с одной стороны, а с другой — он целый год не видел сверстников и ему было любопытно, да и мешать колдуну не стоило. Поэтому он кивнул и постарался сделать это искренне.

— Вот и отлично! — обрадовался колдун, забрал у Лешека повод коня и подтолкнул в спину.

Лешеку ничего больше не оставалось, как, вздохнув, направиться к ватаге ребят — ему еще ни разу не приходилось знакомиться самому. Мальчики заметили его издалека и, бросив какую-то увлекательную игру,

повернули лица в его сторону. И никакого радушия на них он не заметил. Он на всякий случай оглянулся, но увидел, что колдун не смотрит в его сторону, а привязывает лошадей к забору у калитки.

Вперед, навстречу Лешеку, вышел мальчишка покрепче него и немного повыше — кудлатый, широколицый и очень похожий на Лелю, но в то же время не такой, как она. Наверное, это и был Кышка, его ровесник, о котором рассказывал колдун. В монастыре рядом с Лыткой Лешек был как за каменной стеной, а сейчас, оказавшись в одиночестве против незнакомой ватаги, Лешек почувствовал себя очень неуверенно. Он решил, что если станет во всем походить на Лытку, то это будет примерно то же самое, как если бы Лытка стояла рядом с ним.

— Тебе чего тут надо? — спросил предполагаемый Кышка.

— Ничего, — гордо ответил Лешек. Знакомиться сразу расхотелось.

— Тогда чего тут ходишь?

— А что, нельзя? — Лешек поднял голову.

— А кто ты такой, чтобы тут ходить?

— А ты кто такой, чтобы меня спрашивать? — с меньшей самоуверенностью ответил вопросом Лешек.

— Я тут живу.

— А я тут иду.

Кышка помолчал — ему было трудно возразить сразу на столь веский довод, и Лешек уже хотел пройти мимо, погулять в одиночестве по реке, а может, и искупаться. Но когда он обошел ватагу стороной, Кышка нашелся:

— А ты разрешения у нас спросил, чтобы тут ходить?

По-честному, Лешек слегка струхнул, когда двое ребят преградили ему дорогу к реке. В приюте драться запрещали, но мальчишки все равно решали свои разногласия кулаками, а поскольку Лешек этого не умел, до появления Лытки жизнь его в приюте была сплошным кошмаром. И, как бы Лешек ни хотел походить на друга, один кураж заменить его не мог. Лешек вздохнул: он знал, чем закончится дело, если ребята поймут, что он испугался.

— И не собирался, — тихо ответил он сквозь зубы, повернувшись к Кышке лицом.

— Напрасно. А ты попроси, может, мы разрешим? — хохотнул Кышка.

Противный унижительный страх пополз по спине мурашками. Их много, а Лешек один. Да, впрочем, ему и с Кышкой будет не справиться. Лешек промолчал, не зная, что на это ответить.

— Ну? Что ж ты? Проси!

Лешек снова глубоко вздохнул, собираясь с силами ответить что-нибудь резкое и гордое, но, как назло, в голову ничего не приходило. Ребята вокруг начали посмеиваться.

— Давай. Или убирайся отсюда! — подначил Кышка.

От безвыходности ситуации хотелось разреветься — да, без Лытки Лешек обойтись, оказывается, не мог.

— Отстань от него, Кыш, — сказал мальчик помладше, с такими же зелеными глазами, как у Лели, — чего ты притивязался! Он с Охто приехал, в гости к нам.

— Да ну? Вот и пусть убирается вместе со своим Охто! Нечего им тут делать! Подумаешь — колдун! Он за свои сласти и свистульки купить меня хочет! Не выйдет!

Кровь бросилась Лешеку в голову: никого колдун купить не хотел, он, кстати, про Кышку всегда говорил хорошо: и какой он взрослый, и серьезный, и старший мужчина в доме. Лешек искренне полагал, что к колдуну все должны относиться если не с той же любовью, что он сам, то уж с глубоким уважением — точно.

— Не смей так говорить про Охто, понял? — крикнул он и сжал кулаки.

— Да? А что ты мне сделаешь? — насмешливо спросил Кышка.

— Я тебя убью, — серьезно ответил Лешек и сам поверил в то, что за колдуна готов убить кого угодно.

— Ну попробуй! — захохотал Кышка и легко толкнул Лешека рукой в грудь. — Давай! Твой колдун — надутый индюк, понятно?

Лешек и сам не понял, что задело его сильнее — «надутый индюк» или этот презрительный толчок в грудь, и, чего с ним никогда не случалось, кинулся на обидчика с кулаками. Кышка оказался не только выше и сильнее его — он умел драться намного лучше Лытки и сразу же повалил Лешека на землю, насадая сверху, но Лешек от злости бестолково размахивал руками,

кусался и царапался. У Кышки были жесткие кулаки, он с легкостью расквасил Лешеку нос, попал по зубам и подбил левый глаз, но Лешек сдаваться не собирался и, изловчившись, впился противнику в волосы, пригибая его голову к земле. Боль только рассердила Кышку, он работал кулаками часто и резко, но не попадал Лешеку по лицу, а месил ему ребра и живот. Лешеку с самого начала было понятно, насколько бесславно для него закончится этот поединок, и он старался не столько победить, сколько не сдаться, пиная противника босыми пятками и кусая за подворачивавшиеся части тела.

Он не сразу догадался разжать пальцы, стискивавшие Кышкины волосы, когда кто-то с силой дернул того вверх за ворот рубахи.

— Ах ты пакостник! — Над дерущимися мальчишками стояла Милуша. — Ты что же это устроил! Ты как гостей встречаешь?

Она толкнула поникшего Кышку в сторону дома.

— Быстро домой! И ты тоже, — она строго глянула на Кышкиного брата.

— А я-то за что? — обиделся младший.

— Чтоб ему не скучно было!

Младший понурил голову и посмотрел на хихикающих ребят вокруг, но Милуша ухватила за воротник и его тоже и повела обоих сыновей к дому.

Лешек сидел в пыли, ему было больно и обидно. Из носа на вышитую матушкой рубашку капала кровь, а на глазах выступили слезы, хотя он вовсе не плакал — это от удара в нос. И от этого становилось обидней вдвойне: теперь все решат, что он плачет. Подниматься на ноги у всех на глазах тоже было противно, а сидеть на земле — глупо. Лешек встал и, собирая остатки гордости, поднял подбородок. Получилось довольно жалко, тем более что из-за разбитых кулаками ребер спина не хотела распрямляться. Он повернулся и пошел к реке: единственное, чего он хотел, это спрятаться под высоким берегом от чужих глаз.

— Эй, погоди, — крикнул кто-то из мальчиков ему в спину.

Лешек не стал оглядываться и лишь ускорил шаг. Он спустился к воде и подумал, что надо бы умыться, но сел на травяную кочку, опустил ноги в реку и больше

двигаться не хотел. Гнусное настроение от одиночества только усилилось: злость прошла, и Кышка теперь казался не врагом, а просто вздорным драчуном, не имело никакого смысла отвечать на его подначки. Лешек размазывал кровь из носа по щекам и с трудом сдерживал слезы — без Лытки он ничего не стоил, он не мог даже наказать обидчика, как тот того заслуживал.

Колдун спустился к нему минут через пять и сел рядом.

— Меня выгнали, там двух оборотов учат умуму, — виновато сказал он, легонько подтолкнув Лешека в бок.

И тут Лешек расплакался. Если бы колдун не пришел, он бы точно смог сдержаться, а тут ему показалось, что колдун его жалеет, только не хочет этого показать.

— Да ладно, — колдун положил руку ему на плечо. — Обидно, не спорю. Но что ж плакать-то?

— Просто, — промямлил Лешек.

— Давай-ка лучше умоемся, — колдун протянул руку к воде, но Лешек его остановил.

— Не надо, я сам.

— Сам, сам, — легко согласился колдун. — Ты что, никогда раньше не дрался?

Лешек покачал головой.

— Ничего себе порядки у вас в монастыре, — колдун усмехнулся.

— Нет. Это я такой. У меня был Лытка, он меня защищал, — Лешек расплакался еще сильнее, — а сам я ничего не могу, ничего!

— У-у-у... — протянул колдун, — я тебе скажу кое-что, только никому не рассказывай: вообще-то с Кышкой тут никто не связывается, и ребята решили, что ты очень смелый, если первым полез к нему драться. Иногда победа — не самое главное. А драться я тебя научу, как-то это я из виду упустил...

— Правда? Они правда так решили? — на всякий случай переспросил Лешек. — Ты только меня не обманивай, иначе... иначе я...

— Я не обманываю, можешь сам у них спросить.

Лешек не очень ему поверил — колдун врал легко и с удовольствием, — но плакать перестал и умылся. Они долго сидели над рекой, и колдун рассказывал о своем

детстве: в тринадцать лет он уже начал колдовать, и ему стало не до игр и драк.

Примерно через полчаса пришли Кышка с братом, и Кышка пробормотал что-то вроде извинений, и в глазах его действительно было раскаянье.

— Давай помирися, и можешь с нами играть, — предложил Кышка напоследок.

Лешек сжал губы: это выглядело очень соблазнительно, и он готов был кивнуть, но вспомнил, из-за чего началась драка, и покачал головой.

— Что, не хочешь?

— Понимаешь, — Лешек представлял, с каким трудом Кышке дались эти слова, но и простить просто так не мог, — ты же обидел Охто... а не меня.

Кышка исподлобья глянул на колдуна, который предусмотрительно отошел в сторонку, потом снова на Лешека и снова на колдуна. Младший подтолкнул брата в бок:

— Давай! Это же правда! Или ты боишься?

Кышка пожевал губы и вздохнул:

— Правда. Охто, прости меня. Я назвал тебя надутым индюком.

Колдун посмотрел на Лешека и расхохотался:

— Так вот из-за чего сыр-бор! А я-то думал... Право, оно того не стоило.

Через десять минут никто не вспоминал о столь незадачливом знакомстве, а ребята на поверку оказались веселыми и дружелюбными. А сколько они знали игр, о которых Лешек ничего не слышал! Ведь пространства хватало для любой игры: и улицы села, и поле, и река, и лес — все было в распоряжении мальчиков. И хотя большинство игр уже не казалось им интересными, обнаружив, что Лешек ни в одну из них играть не умеет, с удовольствием показали ему и те, в которые играли несколько лет назад.

Поздним вечером, когда они ехали домой и Лешек восторженно рассказывал колдуну о новых знакомых, тот все же его спросил:

— А что, ты вправду подрался с Кышкой из-за того, что он назвал меня надутым индюком?

— Ну да, — ответил Лешек. Он успел забыть об этом.

— Конечно, драться из-за этого не стоило, но все равно спасибо.

— Да за что же, Охто? Я что, по-твоему, должен был кивнуть и согласиться?

— Вот за это и спасибо. Что не кивнул и не согласился. Я бы, конечно, не обиделся, но мне приятно. Видишь ли, Кышка меня не любит, и я его понимаю. Тут и ревность, и его положение старшего мужчины, и обида за отца. Не за что ему меня любить.

— Да нет, Охто. Он просто хотел подраться и зацепился. Он так вовсе про тебя не думает, просто храбрится. Ну вроде ты ему никто и он может про тебя говорить что угодно.

— Ты так думаешь?

— Конечно! Да я тебе точно говорю!

Колдун хмыкнул. А когда матушка, увидев разбитое лицо Лешека, начала причитать и восклицать «да что же это такое!», ответил ей с гордостью:

— Это он меня защищал.

— Вот сам бы и разбирался! — возмутилась матушка. — Сам бы рожу и подставлял, а не ребенка маленького!

— Он вовсе не маленький ребенок! — рассмеялся колдун.

Матушка все равно ворчала на колдуна еще дня два, а Лешек теперь с нетерпением ждал следующей поездки к Милуше — несмотря на драку, отношения между мальчиками в селе очень отличались от приютских. Лытка пришел в приют совсем взрослым, те же ребята, которые вместе с Лешekom росли в монастыре, не были на него похожи и приняли Лыткины правила игры только благодаря его кулакам. Лешек задумывался иногда, что бы с ним стало, не появись в приюте Лытка, и картины, которые рисовало его воображение, были одна страшней другой. В восемь лет он всерьез думал о том, что смерть стала бы для него наилучшим выходом: сверстников он боялся не меньше, а, наверное, сильнее, чем воспитателей, ведь, как бы ни были унижительны наказания, они распространялись на всех, а оскорбительных шуток, тычков и щипков на его долю доставалось гораздо больше, чем остальным.

Когда они с колдуном в следующий раз поехали в село, все ребята и, что самое удивительное, Леля пришли послушать, как Лешек поет. Ему было приятно. Да и вообще, слава о его песнях очень быстро разошлась

по торгу, и, стоило им с колдуном привязать лошадей к коновязи, вокруг сразу собиралась толпа, вопрошающая, будет ли мальчик петь.

Через несколько недель он перестал так сильно уставать и мог петь толпе до десятка песен подряд. А после того, как колдун делал необходимые покупки, он неизменно шел к Милуше, а Лешек — к своим друзьям.

Вот когда ему пригодилась наука колдуна: неожиданно для себя Лешек выяснил, что в ватаге мальчишек он ни в чем им не уступает, а ездит верхом даже лучше.

Больше всего Лешек полюбил играть в войну. И если в открытой схватке он иногда терялся, то в разведке ему не было равных. Он умел здорово прятаться, и бесшумно передвигаться, и долго плыть под водой — помогало развитое пением дыхание (а колдун еще и показал ему, как под водой можно дышать через камышинку).

В лапту играть он тоже выучился без труда и (снова неожиданно для себя) понял, что бегает намного быстрее других. И Кышка, которого иногда брали играть совсем взрослые ребята, через некоторое время потащил за собой и Лешека. Это была большая честь: на игру взрослых ребят смотрели девушки, и Леля в их числе.

Леле он поклонялся — завидев ее издали, Лешек забывал обо всем, бросал игру, терял представление о времени, а стоял и молча провожал ее взглядом. Мальчишки посмеивались над ним, но, поняв, что Лешека это несколько не смущает, быстро перестали.

В мечтах он становился взрослым, сильным и бесстрашным и придумывал множество жутких опасностей, от которых ему удавалось ее защитить. Но вовсе не для того, чтобы она посмотрела в его сторону: как привлечь ее внимание, он знал, никаких подвигов для этого не требовалось. Нет, просто ему хотелось стать достойным ее, для самого себя. Впрочем, он долго мучился угрызениями совести, вспоминая рассказ колдуна про рысь, и опасался, что Леля начнет его расспрашивать.

Леля не позволяла взрослым ребятам его прогонять или смеяться над ним, а однажды попросила спеть песню про белый цветок, которую он сочинил в первую их встречу. Другие девушки ахали и целовали Лешека в макушку, как маленького, парни хлопали его по плечу,

а Гореслав, с которым он частенько встречал Лелю по вечерам, подарил ему за это свой оберег — топор громовержца.

Гореслав был высоким и красивым парнем, и Лешек нисколько Лелю не ревновал, напротив, парень этот нравился ему только потому, что Леля отдает ему предпочтение. И его подарок Лешек принял с благодарностью и восторгом: топор громовержца был настоящим мужским оберегом, и для тринадцатилетнего мальчика носить его считалось почетным. Колдун сказал, что с этим оберегом Лешек должен научиться драться гораздо быстрее, чем без него.

Надо сказать, уроки колдуна вовсе не приводили Лешека в восторг, как когда-то его не радовала верховая езда. Колдун заставлял его набивать кулаки, учил держать удар и развивать ловкость и быстроту. Как-то Лешек даже обиделся и хотел уйти, пропустив увесистый удар в живот, далеко не первый по счету, но колдун развернул его к себе лицом:

— Нет, парень, так дело не пойдет. Ты же не девчонка, правильно?

— Я больше не могу! — проворчал Лешек.

— Ерунда! С таким настроением ты точно ничего не сможешь. Заметь, топор громовержца у тебя на шее, а не у меня. Сожми его в кулак и стой с минуту молча.

Лешек, обиженно сжав губы, повиновался. Он знал, что колдун от него не отстанет, а если он вздумает расплакаться, тот только рассмеется. Оберег охлаждал руку и не согревался, а через некоторое время Лешек ощутил легкое приятное покалывание в ладони. Покалывание поднималось по руке все выше, дошло до локтя, и Лешеку вдруг захотелось развернуть поникшие плечи. Он поднял глаза и встретился с насмешливым взглядом колдуна. Покалывание ползло вверх, достигло шеи и ударило в голову необычайной силой, желанием немедленно доказать колдуну, что он не девчонка и нечего над ним смеяться: он может держать удар, просто не очень хочет. Он медленно разжал кулак, и оберег упал ему на грудь.

— Ты просто пользуешься тем, что я маленького роста, поэтому и побеждаешь! — с вызовом сказал он колдуну.

— Ага, — немедленно согласился колдун, — пользуюсь. Давай еще раз, и посмотрим, успеешь ты или не успеешь.

Он без предупреждения махнул кулаком, но Лешек пригнулся, пропуская его над головой, легко парировал удар слева в живот и, изловчившись, дотянулся острым кулачком до лица колдуна — и сам испугался, насколько сильно сумел его стукнуть. Голова колдуна откинулась назад, но он провел еще два или три выпада, которые Лешек отразил не задумываясь, и только потом отошел на два шага в сторону и прикрыл глаз рукой.

— Ничего себе! — улыбнулся он. — Неплохо получилось, я не ожидал.

Лешек почувствовал себя очень виноватым.

— Охто, прости, я не хотел...

— Ерунда. Это здорово, честное слово. Я сам виноват, расслабился.

— Тебе очень больно?

— Нет, малыш, все хорошо, что ты...

Через два часа под глазом колдуна расползся громадный фиолетовый синяк, но он лишь посмеивался и хлопал Лешека по плечу. И Лешек снова убедился: его успехи колдуну дороже таких неприятностей, как разбитое лицо.

— Так и надо, — укоризненно говорила матушка за обедом, — нечего над ребенком издеваться. Молодец, Лешек, так его!

Колдун снова посмеивался и подмигивал Лешеку заплывшим глазом.

Песня силы высосала Лешек без остатка: он почувствовал непреодолимую усталость, мороз проник под полушубок, грыз лицо и руки, ноги еле переставляли тяжелые снегоступы — он шел слишком долго, ему нужно было отдохнуть. Только надежда на то, что слобода где-то рядом, заставляла его двигаться дальше. Ветер бушевал по-прежнему, подталкивая в спину, снегопад усилился, снежная круговерть застила глаза, и Лешек с трудом угадывал направление, в котором надо двигаться, чтобы не наткнуться на стену леса.

Мысли о колдуне стали неотвязными и не согревали, а резали сердце острой болью. Он впервые задумался, что будет делать, если сумеет донести хрусталь до Невзора. Как он теперь станет жить? Что он без Охто? Как далеко ему придется уйти, чтобы до монастыря никогда не добрался слух о его песнях?

Лешек несколько раз зарывался ногами снегоступов в снег, не в силах поставить ногу прямо, и падал, и долго барахтался в глубоком снегу, и от отчаянья думал, что наилучшим будет зарыться в него поглубже и уснуть — никто не найдет его здесь. Весной монахов к нему не подпустит талая вода, а летом его тело накроют травы, и никто никогда не получит хрусталя. Что бы ему на это сказал колдун? Лешек знал: он бы велел вспомнить дедушку Вакея и его сломанную спину. Вспомнить, как хрустнули его суставы, когда он распрямлял плечи, и как подгибались его ноги, делавшие первые шаги. И его удивленную, недоверчивую улыбку, и слезы, что ползли по морщинистым щекам.

Надо было подниматься и идти.

Слобода вынырнула из метели как из-под земли — Лешек едва не уткнулся носом в бревенчатую стену дома. Он хотел осмотреться, прежде чем постучаться в двери, но снег падал густо, и на расстоянии вытянутой руки ничего не было видно. Ветер выл так громко, что заглушил лай собак, но подходил Лешек с наветренной стороны, и они учуяли его загодя. Не успел он обогнуть дом и едва вышел на утопанную дорожку, ведущую к двери, как из темноты на него выскочило сразу несколько охотничьих псов — наверное, в слободе не принято

было держать их на привязи. В отличие от волков, они не примеривались, а с грозным лаем кинулись на нарушителя границы. Если бы дорожка меж сугробов не была такой узкой, Лешеку пришлось бы очень туго. Он успел скинуть только один снегоступ и отбивался им от псов, молотя их по ушам. Только собак это не сильно напугало — им наверняка приходилось ходить на медведя, что им человек в волчьем полушубке с легкой деревянной лопастью в руках?

Один из псов впился зубами ему под колено, но быстро разжал челюсти, получив ногой по ребрам. Второй повис на левом рукаве, но прокусить его не смог. Лешек прижался спиной к стене, чтобы никто не обошел его сзади, и уповал только на хозяев дома: вдруг они проснутся, услышав бешеный лай собак? Впрочем, при таком ветре этого могло и не произойти. Из всех опасностей, подстерегавших его на пути, на такой глупый конец он не рассчитывал.

Кто-то вцепился Лешеку в ногу снова, и на этот раз он почувствовал кровь, брызнувшую из-под зубов. Это и напугало, и отрезвило его: песню силы во второй раз он спеть бы не смог, а разогнать собак голыми руками пока не получалось. Единственным спасением оставалась дверь в дом, шагах в пяти от того места, где он стоял. Он двинулся в ее сторону, еще больше озлобив этим собак: его ухватили за запястье, и снегоступ выпал из разжавшихся пальцев. Лешек несколько раз ударил в оскаленную морду кулаком, но зубы впились и в левый локоть.

Он понимал, что главное — это устоять на ногах. Если он упадет, его разорвут на клочки. Между тем, за ноги его хватали часто и ощутимо, почуяв уязвимое место, не прикрытое полушубком. Пять шагов показались ему бесконечными, и если бы дверь оказалась заперта, он бы сдался.

Но она открылась неожиданно легко, и Лешек протиснулся в холодные сени, напоследок пнув ногой рычащую собачью морду. И в тот же миг дверь за его спиной распахнулась: с зажженной лучиной в руках на порог вышел хозяин дома — бородатый русоволосый человек средних лет. За его спиной стояли двое парней помоложе (не иначе, сыновья), а за ними маячило еще

несколько теней, но в темноте Лешек не рассмотрел, мужчины это или женщины.

Ни слова не говоря хозяин ухватил Лешека за грудки, втащил в избу и захлопнул тяжелую дверь в сени. В избе было тепло и душно. Вспыхнула еще одна лучина, а потом еще одна: Лешека окружили со всех сторон плотным кольцом. Кроме хозяина и двух его сыновей, на него смотрели четыре женщины: хозяйка, две молодухи и совсем девочка — наверное, младшая дочь. И на лицах их Лешек не заметил сочувствия — только презрение и брезгливость. Разве что девочка посматривала на него с любопытством. Лешек был готов к недоверию со стороны хозяев, подозрительности, нежеланию принять в доме путника, но за что они презирают его? Все стало ясно, когда вперед вышли двое высоких и крепких ребят с огнем в руках, и Лешек увидел, что они одеты не в рубахи, а в черные подряски. Монахи опередили его. Он — вор, а хуже этого клейма для поселян ничего не существовало.

Страха не было — только горечь. В глазах монахов отражалось пламя лучины, и в этом пламени Лешек увидел лицо Дамиана, его торжествующую усмешку, а за ней — свою мучительную смерть. Странное оцепенение овладело им вместо отчаянья — была ли виной тому усталость, или он просто не успел опомниться, избежав одной смертельной опасности и тут же оказавшись в другой? Колдун говорил, что проигрывать тоже надо уметь, и, наверное, это должно было выглядеть по-другому: Лешек опустил голову, но один из монахов взял его за челку и поднял его лицо вверх.

— Он, — уверенно сказал второй, — я его видел на литургии, когда приезжал в Пустынь на Рождество.

Тяжелый пинок в живот согнул Лешека пополам, а удар по шее поставил на колени. За ним последовало еще несколько — вальком для стирки белья чуть выше поясницы, ощутимые и сквозь полушубок. Лешек сполз на пол, не в силах даже охнуть. Его раздели, связали и снова били вальком — долго и больно. Он катался по полу и выл: от боли, бессилия и безысходности.

Глупо и бесславно. Когда монахи решили, что Лешек не сможет встать на ноги, если его развязать, то подняли его и швырнули в дальний угол избы — он ударился лицом о бревенчатую стену и сполз по ней на пол.

— Ну что? — спросил один другого. — Прямо сейчас поедем?

— Да ну! Метель такая! Да темнотища. Завтра. Никуда он теперь не денется.

Они были довольны.

Хозяин и его сыновья не проронили ни звука, женщины смотрели на Лешека, сжав губы, без тени сострадания на лице, и так же молча разошлись спать, когда монахи задули лучину и устроились в углу на двух широких лавках. Лешек попробовал шевельнуться и закусил губу, чтобы не застонать: он искренне считал, что у него переломаны все кости. Волосатая веревка впилась в порванное собаками запястье, по ногам все еще текла кровь. Избитое тело отозвалось на движение резкой болью, и Лешек глотал слезы, и слезы бежали по щекам и мешались с кровью из носа: глупо и бесславно.

Он отдавал себе отчет в том, насколько жалок: избитый, окровавленный, покусанный собаками, не смеющий шевельнуться и плачущий от бессилия. Колдун говорил, что гордость надо хранить всегда, даже когда на это совсем не осталось сил. И от этого слезы бежали быстрее — на гордость он был неспособен. Лешек вспомнил, какое счастье чувствовал, вырвавшись из монастыря, каким сильным и бесстрашным ощущал себя всего несколько часов назад: не много же надо труда, чтобы сбросить его вниз, ткнуть носом в пол, указать на место — место жалкого червя, беспомощно корчащегося у чьих-то ног.

Нет! Он не хотел превращаться в червя! Колдун хранил гордость до конца, колдун умер с песней силы на устах. Лешек проглотил слезы. Да, у него нет берегов, но разве это главное? Разве боги оставили его? Он сжал кулак и попробовал представить, что в ладони его лежит топор громовержца. И знакомое покалывание поползло по руке вверх. Вот так. Если он ничего не может сделать, он умрет с достоинством. Он посмотрит в глаза Дамиана без страха, как колдун. Он примет муки спокойно и не станет просить пощады. И будь что будет.

Из угла, где расположились монахи, по избе разнесся громкий храп. Лешек снова попытался лечь поудобней — завтра ему потребуются силы. В избе тепло, к утру боль не будет такой нестерпимой. Надо отдохнуть,

надо встретить завтрашний день готовым ко всему. А сейчас он просто растерялся, не успел собраться, подготовиться. Завтра все будет по-другому.

То ли дремота, то ли забытье опустили на него: перед глазами развернулось широкое поле над рекой, под ним храпел белый конь, за спиной развевался белый плащ, и солнечные лучи толкали его в спину, навстречу людям, размахивающим руками и приветствующим его радостными криками. Он был богом, и бог был в нем — светлый солнечный бог Ярило, бог весенней кипучей силы, оплодотворяющей землю, бог, дарующий женщине зачатие, бог, благодать которого плескалась на землю с апреля по жаркий июль.

* * *

К той весне, когда Лешек исполнилось шестнадцать, он вытянулся и почти догнал по росту колдуна. Над верхней губой у него пробились еле заметные усики, и окончательно сломался голос. Случись это на год раньше, он бы, наверное, обрадовался, а тут неожиданно почувствовал себя взрослым, настолько взрослым, что такие мелочи, как рост и усы, перестали его тревожить.

К тому времени Лешек прочитал все книги, какие нашел у колдуна, даже те, что были написаны глаголицей. Конечно, стать таким замечательным лекарем, как колдун, он не смог, но неплохо разбирался в травах и в строении человеческого тела и помогал колдуну, когда требовалось.

Лешек полюбил и изучил лес. Он здорово стрелял из лука (и обеспечивал дом колдуна шкурками и мясом) умел находить дорогу не только по солнцу и по звездам, но и по одному ему известным приметам. В конце лета он заваливал матушку ягодами и грибами — сам он ягоды ел без удовольствия, но их любил колдун, особенно зимой.

И каждое утро Лешек был счастлив. За четыре без малого года он так и не привык к этому счастью, хотя избавился от страхов и привычки втягивать голову в плечи. На него и вправду засматривались девушки, когда он появлялся на людях, и он платил им искренней

любовью — они продолжали удивлять его и грацией, и мягкостью, и беззащитностью.

Леся вышла замуж за своего Гореслава, но не потеряла для Лешека притягательной прелести, наоборот — из юной озорной чаровницы она превратилась в красивую женщину, сознающую свою красоту и силу этой красоты. Ее движения стали плавными, глаза — спокойными, тело округлилось, налилось и напоминало упругое яблоко.

Одно только омрачало счастливую семейную жизнь Лели: за два года супружества она не сумела зачать. Лешек слышал об этом и переживал. Обычай рода были слишком сильны среди сельчан, и Милуша боялась, что Гореслав рано или поздно откажется от бесплодной жены.

Лешек, как его это ни удивляло, продолжал оставаться ее товарищем, она частенько звала его в гости, и Гореслав принимал его у себя хорошо, разве что немного снисходительно. И теперь Лешеку было о чем с ним говорить: он прочитал множество книг, и Гореслав с удовольствием слушал рассказы о князьях и далеких походах за моря, о неизвестных городах и невиданных животных. Леся же, в отличие от матери, получила не только дар ведовства, но и умение лечить наложением рук, поэтому книги колдуна по врачеванию интересовали ее особенно, и Лешек старался запоминать их почти наизусть, чтобы пересказывать ей не без пользы для себя.

Когда колдун услышал, что голос Лешека начал ломаться, он испугался и запретил ему петь, а переменил решение только через несколько месяцев. Впрочем, петь Лешеку стало тяжело: если он пытался петь так же высоко, как обычно, у него начинало болеть горло. Колдун велел ему петь тише и ниже, а зимой специально возил Лешека в далекую Удогу, в храм святого Савватия, где его слушал domestик.

После этой поездки колдун заставлял Лешека заниматься ежедневно, как учил его domestик, и заглядывал ему в горло, и поил сложными отварами, которые составлял сам. И его усилия увенчались успехом: чистый детский голос превратился в сильный и сочный мужской.

— Конечно, малыш, Паисий научил бы тебя петь лучше, чем я... — иногда извинялся колдун, — но что-то мне не хочется возвращать тебя Паисию.

Лешек передергивал плечами — от посещения храма в Удоге у него остались самые мрачные воспоминания, хотя domestik ему понравился.

— Охто, ты не извиняйся, ладно? — хмыкал он, подражая колдуну. — Лучше тебя никто меня не научит, честное слово.

— Ты сам понимаешь, что говоришь ерунду, — довольно фыркал колдун. — Твой голос — величайшая ценность этого мира, и если я по собственному невежеству его загублю, мне не будет прощения.

— Ничего ты не загубишь, — отмахивался Лешек. — Я все равно буду петь.

И в конце мая, когда Лешек в первый раз осмелился спеть людям, колдун сам убедился в том, что волшебного очарования голос не потерял, напротив, сила его вошла в равновесие с той, которую Лешек вкладывал в свои песни.

И Леля, Леля совсем по-другому посмотрела на него после этого! Ее полуулыбка, ее чуть насмешливый взгляд, загадочный взлет бровей... В тот миг Лешек в первый раз почувствовал, что у него слишком часто бьется сердце. До этого он просто любовался ею, а теперь...

— Почему ты так смотришь на меня? — спросил он ее, когда они вместе с колдуном отправились в гости к ее матери.

— Ты стал таким красивым парнем, малыш, — ответила она и скосила на него глаза. Только ей и колдуну он до сих пор прощал «малыша». Впрочем, малышом его никто кроме них и не называл.

— Ты нарочно меня дразнишь, — сказал он, чувствуя, что краснеет.

— Нисколько. Я же всегда говорю правду.

После этого он до самого вечера боялся поднять на нее глаза и чувствовал совсем не то, что обычно, — какая-то сладкая, упоительная тоска сжимала ему грудь.

Когда они вернулись домой, совсем поздно вечером, Лешек не смог уснуть и вышел на двор, надеясь, что майская ночь успокоит его непонятное состояние. И, чтобы отвлечься от мыслей о Леле, начал сочинять что-то про течение реки в свете поздней вечерней зари, но слова не складывались, мелодия топталась на месте. Тогда Лешек искупался, вышел на берег и понял, что спеть ему хочется совсем о другом. И, рискуя разбудить

колдуна и матушку, спел. И сам пришел в ужас от того, что за песня у него получилась. Никаких смутных сомнений в ней не было, Лешек пел о чувственной любви, о женщинах, о тесных объятьях и о бушующей плоти.

— Ну-ну, — услышал он голос колдуна с крыльца, когда замолчал, — а я-то думал, тебе рано ехать на Ярилин день... Нет, смотри-ка, в этом году Ярило зацепил и тебя. И песня, как всегда, удивительная. Если ты споешь ее на празднике, все девушки там будут твоими.

— Разве такое можно петь людям? — Лешек, смущенный, подошел к крыльцу.

— Смотри когда. На Ярилин день — не только можно, но и нужно. Несколько дней осталось, так что если тебе придет в голову что-нибудь еще, запоминай — петь тебе придется много.

— Охто, я в этом ничего не смыслю, ты всегда говорил...

— Знаешь, судя по тому, что ты поешь, — сам Ярило вложил эту песню тебе в уста. А у меня появилась одна задумка...

О своей задумке он распространяться не стал, и Лешек, как всегда, ждал от него подвоха.

А через два дня, ближе к вечеру, во двор колдуна вошла Леля. Такого не случалось никогда: во-первых, дом колдуна стоял слишком далеко от села — на лошадях, бодрой рысью, они добирались туда часа за два по короткой дороге, известной только им двоим. А во-вторых, дорога вела через лес, и пешая Леля могла стать добычей зверей, да и просто заблудиться, угодить в болото, наступить на змеиное гнездо, столь опасное в конце мая, — да мало ли опасностей таит непроходимый лес!

— Леля! — колдун топил баню и увидел ее издали. — Ты как тут оказалась?

Наверное, он не заметил, что она плачет, поэтому лишь удивился и улыбнулся. Лешек вдруг почувствовал неловкость и спрятался за крыльцом, подглядывая за ними из-за угла.

— Охто, я знаю, ты можешь мне помочь. Только ты!

— Что-то случилось?

Леля покачала головой:

— Если я не смогу зачать в Ярилин день, Гореслав не сможет больше жить со мной! Он любит меня, но ты же понимаешь... Он должен стать отцом, иначе... иначе...

— Это он тебе сказал?

— Нет. Так решила его родня. Охто, ты можешь, я знаю! Охто, попроси богов! Они послушают тебя, я знаю, послушают. А я... я отдам тебе все, что хочешь...

— Девочка, мне ничего не надо. Я, конечно, попрошу богов, но с чего ты решила, что не сможешь зачать в Ярилин день?

— Мои луны отличаются от настоящей луны, в Ярилин день будет поздно... Не могу же я опозорить Гореслава, выйти замуж во второй раз и рожать детей. Тогда все поймут, что дело не во мне, а в нем. Я поэтому и пришла сегодня... Попроси богов отсрочить на несколько дней... или...

Лешек смотрел на нее, плачущую, и, конечно, жалел ее, но... Он знал, по книгам колдуна знал, что зачать женщина может не всегда, только в новолуние, и праздники лета совпадают с такими днями. Если в семье бесплодным был мужчина, жена всегда могла зачать на таком празднике, и муж принимал детей с радостью, как своих, поскольку боги давали на них согласие. Но если женщина не беременела и от других мужчин, то в бесплодии обвиняли ее, и муж брал себе другую, которая сможет продолжить его род. А сейчас... Что Леля имела в виду под этим «или»? Если сегодня ее день... Не надо никаких богов, никакого колдовства, она пришла просить колдуна совсем не об этом. Подальше от чужих глаз: никто не узнает, все поверят в то, что колдун просил богов и боги исполнили его просьбу. Она пришла просить его о любви...

— Лелюшка, девочка... Да как же я могу... Ты же как дочь мне... — колдун кашлянул, словно поперхнувшись.

— Охто, ну что же мне делать?

— Я попрошу богов, ничего не бойся. Скоро закат, я попрошу богов... А если боги откажут, тогда... тогда подумаем.

— Я противна тебе? — она вскинула на колдуна зеленые глаза, полные слез.

— Нет, да что ты... Понимаешь, так бывает... Молодым женщинам нельзя любить старых колдунов. Ты не сможешь после этого жить с Гореславом. Ты... он будет казаться тебе мальчиком. И мне нельзя любить девочек, я люблю твою мать и не хочу ее ни с кем сравнивать.

Каждому свое: молодым — молодое, зрелым — зрелое. Не плачь, я попрошу богов. Это нетрудно. Одно дело — заставить родить огромные поля, и совсем другое — одну молоденькую красавицу. Боги не откажут, я умею просить.

Лешек закрыл лицо руками и бросился к лесу. Ему было жалко Лелю, он не понимал, почему колдун отказывает ей. Да каждый человек должен мечтать о ней, тем более что колдун вовсе не такой старый, как говорит. Да если бы она пришла к Лешеку, разве он бы ей отказал? Да он бы...

Он почувствовал, как перехватывает дыхание, и что-то легкое поднимается в груди, и камнем падает вниз живота, и бьется там в такт трепыхающемуся сердцу. От этого хотелось бежать быстрее, и он бежал, задыхаясь то ли от бега, то ли от душивших его желаний. Он споткнулся о корень и растянулся на тропинке во весь рост, чего с ним давно не случалось, но вскочил и побежал дальше не разбирая дороги, остановившись только на берегу реки.

Щеки пылали, Лешек зачерпнул воды и плеснул себе в лицо, но это не охладило его, наоборот: прикосновение воды к лицу почему-то напомнило ему женские руки, ласковые и бархатные. Он сел на берег, обхватил плечи руками, уткнулся носом в колени и застонал. Как же это мучительно! Да что же с ним происходит?

Он хотел думать о том, что у колдуна все получится, боги согласятся с его просьбой и Леля будет счастлива, но вместо этого представлял себе ее покатые плечи и налитую грудь. Ее мягкие губы, ее белые щиколотки...

Бегущая вода, которая обычно умиротворяла его и нагоняла сонливость, теперь не помогала: в ней ему мерещилось отражение девичьего лица. Лешек сидел долго, глядя на воду, изредка зарываясь носом в колени и рыча от переполнивших его чувств. Солнце скрылось за лесом — наверняка колдун уже начал колдовать. А потом? Если боги ему откажут, что будет потом?

Лешек разделся и полез в холодную воду. Но вместо того чтобы охладить, она только разгорячила кожу, и он решил купаться до тех пор, пока не замерзнет окончательно, заплыл на середину реки и повернулся на спину. Сердце все так же билось в ребра, и холода он не чувствовал.

Опускавшаяся на землю ночь обещала быть теплой и ясной. Вода окрасилась в свинцово-синий цвет, отражая небо: его еще нельзя было назвать бездонным, но в нем уже приоткрылась сумеречная глубина. Лешек смотрел на густую ольху, опустившуюся над рекой, и в ее очертаниях видел только зелень Лелиных глаз, потемневшую от слез. Течение снесло его почти до поворота реки, и он услышал бубен колдуна — его песня подходила к концу. Сейчас она смолкнет, и бурый медведь ляжет носом к белому пламени, охранять тело колдуна, пока тот говорит с богами.

Лешек выбрался на берег и хотел пойти за своей одеждой, но не удержался, слушая песню силы, — его томление требовало выхода, а песня колдуна, даже издали, заставляла страсть клокотать в горле. И он запел, сначала тихо, вторя беснующемуся бубну, а потом, когда голос колдуна замер, издав последний победный рев, подхватил песню и дал ей разлететься над рекой в полную силу, изливая из себя любовную тоску и смятение. Ему самому эта песня показалась похожей на протяжный волчий вой, но, постепенно нарастая, вой перешел в нечто совсем иное — не иначе бог Ярило снова заговорил его устами. Тоска выплеснулась наружу, и на смену ей явился призыв: Лешек пел о безоглядных объятьях, о приоткрытых губах, о смелых ласках и о восторге соития.

Песня длилась и длилась, и Лешек думал, что сможет петь ее бесконечно долго, пока наконец не вылетит всю душу, но неожиданно Ярило оставил его, и последний звук повис над рекой, толкнулся в противоположный берег, вернулся назад и долго бился меж берегов, не желая затихать. Лешек стоял, чуть откинув плечи назад и подняв голову к небу, слушая этот последний звук, когда на плечи ему опустились теплые руки. Он вздрогнул и побоялся шевельнуться.

— Ты стал таким красивым парнем, малыш, — шепнули горячие губы прямо ему в ухо, и легкие пальцы пробежали по его спине и по бокам и обхватили пояс. Леля, стоявшая на цыпочках, опустилась и прижалась мягкими губами к его спине между лопаток.

Лешек замер и не знал, что он теперь должен делать.

— Какие ужасные шрамы... — шепнула она и провела вдоль одного из них пальцем. — Я всегда так жалела тебя. Ты был такой маленький, и уже...

— Это не рысь, — поспешно сказал Лешек: ему не хотелось ее обманывать. От волнения у него дрожали губы и колени.

— Я знаю. Я догадалась. Повернись, малыш, я хочу увидеть твое лицо, — она выпустила его из объятий, за плечи повернула к себе и добавила, осмотрев с головы до ног: — Ты очень красивый. И ты так удивительно поешь.

Лешек робко протянул к ней руки и дотронулся до ее плеч. Кровь бросилась ему в голову, когда ее зеленые глаза глянули сквозь него и ее приоткрытые губы потянулись к его лицу.

— Не бойся, малыш, ничего не бойся, — шепнула она, — так и надо. Ну что ты так дрожишь?..

— Потому что я очень люблю тебя, — ответил он, и Леля накрыла его рот поцелуем. И это было так волшебно — ощущать ее губы в своих!

Ее руки скользили по его влажному после купания телу, она прижималась к нему упругой грудью, и Лешек думал, что сходит с ума, и вскоре дрожал вовсе не от волнения — ему казалось, что выше счастья быть не может, но оно росло, росло с каждой минутой!

— Не бойся, ласкай меня, — сказала она, и его робкие прикосновения тут же стали крепкими объятиями. Под тонкой рубашкой ее мягкое, податливое тело отзывалось на его движения, и Лешеку очень хотелось, чтобы этой тонкой ткани между ними не было. Леля заметила это и освободилась от его рук.

— Смотри, — она легко скинула рубашку и осталась обнаженной. Лешек задохнулся и отошел на шаг — совершенная красота богини весенней любви, безупречность каждой линии, венец творения природы...

И в этот миг у них над головой запел соловей, сочным голосом призывая к себе подругу.

— Слышишь? Птицы тоже любят друг друга, — прошептала Леля, — сейчас вся природа творит любовь. Я шла сюда и видела змей — они тоже творили любовь, представляешь? Иди ко мне, малыш, мне так хорошо с тобой...

Лешек шагнул к ней и прижал ее жаркое тело к груди. Она позволила себя ласкать, и он быстро понял, что доставляет ей наслаждение, и голова его плыла в истоме, и руки не подчинялись мыслям, тело оторвалось от земли и парило над ней, невесомое, полное

сладострастия. Леля увлекла его за собой в траву, и он ни о чем не думал, считая, что достиг вершины счастья. Но когда ее рука осторожно тронула его набухшую от вожделения плоть, он понял, что это еще не все, что вершина счастья впереди: ее прикосновение сделало его неистовым безумцем, как будто сам Ярило вселился в него. Он неожиданно понял, что значит «творить любовь», понял сам: дремучая память предков всколыхнулась в нем и обрушилась на Лелю всей силой ярого бога. Он взлетал к вершине счастья на огромных крыльях, все выше, выше, и, когда достиг ее, кинул в небо победный клич, и крик его слился с криком Лели.

Он опустился на землю плавно, как падает широкий лист — раскачиваясь, словно лодка, на руках легкого ветерка. Нежность... Лешек осторожно вытер ее слезы, и целовал ее розовое, разгоряченное лицо, и гладил ее подрагивавшее тело — нежность и благодарность.

— Малыш... — улыбнулась она сквозь слезы, — ты удивительный... Как будто это и не ты был вовсе... Так не бывает.

— Это не я, — ответил он, — это Ярило. Охто просил богов, и они его услышали.

Они любили друг друга всю ночь, и бегали по берегу реки, опрокидывая друг друга в воду, и прятались в темноте леса, и слушали песни соловья. Сплетали тела и тянулись друг к другу руками, расставались и встречались, хохотали и плакали. И на рассвете, когда лес просыпался, все еще творили любовь — под пение птиц, в лучах восходящего солнца.

А когда вернулись в дом колдуна — уставшие, покрасневшие, смеющиеся, — то застали его сидевшим за столом с кружкой хмельного меда. У него было хитрое и довольное лицо.

— Охто, что тебе сказали боги? — виновато спросила Леля.

— Боги смеялись надо мной, — ответил колдун. — Смеялись и показывали пальцами на землю. И говорили, что я самый глупый из всех колдунов.

Утром в Ярилин день колдун приступил к осуществлению своей задумки, несмотря на протесты и смущение Лешака. Он отдал ему белого жеребца, на котором всегда ревностно ездил сам, достал из сундука белый

широкий плащ и велел надеть его на голое тело. Лешек это смутило: в монастыре их учили, что наготу должно прятать от людей, будто это нечто вроде позора — оказаться нагим перед другими. Колдун объяснил ему всю нелепость этого заблуждения, и Лешек не смущался ни его, ни матушки, ни, как выяснилось, Лели. Но появиться в таком виде на празднике?

Матушка сплела ему большой венок, из которого во все стороны торчали полевые цветы на длинных гибких стеблях, и, надевая Лешеку на голову, чуть не расплакалась от радости:

— Ярилко и есть! Молоденький, пригоженький!

Кожу бубна колдун покрыл горячей медью, для чего ездил к каким-то одному ему известным мастерам, и теперь сунул его Лешеку в руки.

— Когда-то я тоже был Ярилой на празднике и, знаешь, запомнил это на всю жизнь. Я тогда уже колдовал и видел богов, но одно дело видеть, а другое — чувствовать бога в себе.

В село они въезжали ровно в полдень, когда солнце выше всего поднялось над землей, но колдун велел Лешеку ехать первым, а сам чуть поотстал. Народу в поле у реки собралось едва ли меньше, чем на торге, — на Ярилу приезжали крестьяне из окрестных деревень, — и Лешек растерялся и замедлил шаг, увидев, перед какой толпой ему предстоит появиться.

— Давай-давай! — прикрикнул колдун, и Лешеку ничего больше не оставалось, как выехать из леса.

Его увидели не сразу: он ехал с южной стороны, против солнца, — и за то время, пока оставался незамеченным, вдруг ощутил задор — от его нерешительности не осталось и следа. Наверное, бог и вправду поселился в нем на время. Он пустил коня вскачь, расправил плечи и рассмеялся.

— Ярило! Ярило скачет! — услышал он первый возглас из толпы, и когда люди повернули головы в его сторону, на лицах их сиял восторг, и удивление, и радость. Приветственные крики слились в многоголосый гул, толпа хлынула ему навстречу — размахивая руками и присвистывая.

Солнце светило ему в спину, и Лешек, насквозь пропитанный солнцем, видел, что жаркие лучи несут его вперед

и приподнимают над землей, и бубен в его руках — осколок солнца, и солнечным светом горит венок на его голове, и развевающийся белый плащ сверкает золотом, и конь, сияющий конь под ним, купается в солнечных лучах, играя гривой, фыркая и потряхивая головой.

И задор сменился восторгом: Лешек издал приветственный клич, а потом запел. Песня сложилась сама собой, легко и гладко — он пел о наступающем лете, о солнце и любви. Люди расступились, пропуская его коня, и сомкнули круг. Лешек поехал шагом, продолжая петь, и нарядные девушки из толпы кидали в него цветы и ржаные зерна.

Он чувствовал в себе бога. Теперь в этом не осталось сомнений: Ярило говорил с людьми его устами, Ярило смотрел на них его глазами, его руками держал поводья коня. Лешек же купался в его божественной силе, восторг лился из него песней, сладострастие кружило голову, клокотало в горле и стучало внизу живота. Нагота теперь не смущала Лешека, он гордился ею — его мужское естество налилось упругой силой, он ловил восхищенные женские взгляды и слышал одобрительные возгласы мужчин.

Вихрь праздника подхватил его и понес в пучину разгульного веселья. И следующие песни, которые выплескивались из него без устали, были озорными, полными распалюющих двусмысленностей. Лешек стучал в бубен, люди плясали вокруг него, и конь под ним плясал тоже. Он объехал все село по кругу и, случайно оглянувшись, заметил, что путь его усеян полевыми цветами, упавшими на землю и немедленно проросшими в ней — бог в нем заставлял цвести и прорастать все, к чему прикасался. Лешек видел раскрасневшиеся лица девушек, восторженно ловивших его взгляды, и румянец их становился ярче; видел, как льнут они после этого к возлюбленным, как женщины улыбаются и опускают глаза, как мужчины целуют их губы, и хохочут, и пляшут, и поют вместе с ним — радость плескалась над селом, бездумное жизнелюбие, чувственное, сладострастное и одновременно чистое, целомудренное, как у детей, не ведающих стыда.

К закату, когда позади остались игры, кулачные бои, скачки и угощения, над рекой вспыхнули костры, и

песни Лешека стали тише, нежней: от необузданного солнечного задора бог в нем шагнул к лилейной, хрупкой ласке. Сплетенные руки, осторожные объятия, робкие слова любви из песен перетекали в явь. Толпа начала разбиваться на пары, кто-то купался в реке, кто-то уходил по полю в лес, и Лешек запел ту песню, которая несколько дней назад подарила ему Лелю. И тоскливый вой одиночества стал призывом, страстью — уже не шуточной, настоящей, гремящей и сметающей все на своем пути.

— Кого из нас ты выберешь, Ярило? — неожиданно коснулась его ноги девушка. — Бери любую, мы все сегодня хотим любить...

Лешек окинул взглядом тех, кто стоял рядом, и увидел колдуна, обнимавшего Милушу. Колдун подмигнул ему и указал глазами на Лелю, державшую за руку Гореслава. Но она незаметно покачала головой и посмотрела на мужа — в ее глазах светилось счастье, и Лешек улыбнулся ей понимающе. Бог не позволил ему долго сомневаться, Ярило сам знал, кому его любовь нужней всего, и, пустив коня рысью, подъехал к девушке, которую вперед, в круг собравшихся, толкала мать.

— Любишь ли ты меня, красавица? — спросил бог губами Лешека.

— Люблю, — шепнула она, и глаза ее распахнулись широко и восторженно.

Лешек — или бог в нем — подхватил ее и поднял на спину коню, усадил перед собой и понес к лесу, оглашая берег реки победной песней ярой любви.

Забвенье оставило его, и солнечное поле сожрала душная чернота избы. Лешек снова ощутил, как слезы набегают на глаза, — когда-то он был богом и бог был в нем. Почему? За что? Чем он заслужил такой конец? Мрачная тень монастыря простирается все дальше, и скоро на земле не останется ни одного уголка, где человек сможет дышать свободно от ее гнилостного смрада, где без страха будет разгибать плечи и поднимать голову, — все вокруг поглотит страх смерти, жизнь превратится в ожидание конца. Умерщвление. Умерщвление плоти, гордости, счастья, радостей. Грязь, темнота, болезни, муки и смерть. И чем больше мук, тем сильнее радуется злой бог Юга, тем сильнее любит он стадо своих рабов. Извращенный старикашка, пускающая слюни, смотрит на землю: он ненавидит женскую красоту, он любит детские слезы, он принимает к себе тех, кто, погрязнув в собственном дерьме и паразитах, возносит ему молитвы. Ему, ему одному! Ревнивый желчный божок, свинство и смрад назвавший чистотой, а всякое проявление жизни заклеивший позором, именуемым скверной.

И нет на земле героя, способного подняться в небо и убить мерзкого старика.

Монах в углу храпел так громко, что Лешек не сразу услышал приближавшиеся к нему осторожные шаги.

Он скорей ощутил, чем увидел рядом с собой человека, потому что темнота вокруг казалась непроглядной. Босые пятки шлепнули по полу совсем близко, и Лешек услышал тихое, приглушенное дыхание, а потом его ноги коснулась теплая маленькая рука.

— Ты жив? — еле слышно спросил детский голос.

— Да, — так же тихо ответил Лешек.

Рука начала шарить по его телу и наткнулась на стянутые за спиной кисти. Монах всхрапнул чуть громче и вдруг замолчал, чмокая губами. Рука замерла, и дыхание смолкло. Но храп снова разнесся по избе, и Лешек почувствовал прикосновение широкого холодного лезвия к запястью. Девочка внимательно ощупала веревки, пока не уверилась в том, что не поранит

ему рук, если разрежет их ножом, а потом долго пилила толстые путы, причиняя Лешеку невыносимую боль — веревка ту же врезалась в открытую рану и терлась о ее края.

Даже если она его освободит, он все равно не сможет встать... Веревки ослабли и упали на пол. Лешек попробовал двинуть руками, но они слушались плохо. Конечно, никаких переломов у него не было — знаний, полученных от колдуна, ему вполне хватало, чтобы это понять. Но и ушибов было достаточно, чтобы не подниматься на ноги. Девочка медленно пилила веревку на ногах, и Лешек старался шевелить затекшими руками, чтобы разогнать кровь.

— Вставай, — тихонько сказала она.

Лешек зажмурился. Если он не встанет, она рисковала напрасно. Что с ней будет, если он уйдет? Не позволит же ее отец убить ребенка! Но...

— Вставай! — повторила она нетерпеливо.

Он сжал зубы и перевернулся на спину. Девочка шумно вздохнула, нащупала его руку и закинула себе за шею.

— Давай. Ну же... — чуть не плача прошептала она.

Лешек, дрожа и кусая губы, сел и, повиснув всей тяжестью на ее плечах, начал подниматься. Далеко ли он уйдет?

Он уйдет. Чтобы никогда не видеть довольной ухмылки Дамиана, чтобы донести хрусталь до Невзора, чтобы выбраться из-под мрачной тени монастыря, чтобы жить.

Девочка довела его, шатавшегося, до печки и прислонила к ней, высвобождая плечо.

— Постой. Держись руками. Я сейчас.

Монах снова перестал храпеть, и Лешек чуть не застонал от страха. Девочка рядом с ним испуганно присела и задержала дыхание.

— Ну что там такое? — пробормотал монах сонно.

Но, не услышав ответа, повернулся на другой бок и сладко засопел, слегка похрапывая.

Девочка долго подбирала что-то в углу и теперь помогала Лешеку только одной рукой, другой прижимая к себе какие-то вещи. Дверь в сени не скрипнула, и Лешек почувствовал под ногами холодный земляной пол.

Ветер со свистом ворвался в сени и швырнул внутрь пригоршню снега. Лешек задохнулся от холода, а потом ступил на снег. Девочка плотно прикрыла дверь и повела Лешека по тропинке в сторону от дома. Куда? Босиком? Через полчаса он останется без ног!

— Сейчас, — сказала она вполголоса. — В сарае стоят их кони. Ты сможешь ехать верхом?

— Не знаю... — покачал головой Лешек.

— Я могу привязать тебя к лошади, чтобы ты не падал.

— Не надо, — улыбнулся он и разглядел, что в руках она несет его полушубок и сапоги. Надежда шевельнулась в душе и разлилась по ней щемящей благодарностью. Что теперь будет с девочкой? Сможет ли отец защитить ее?

— Почему ты помогаешь мне? — спросил он, когда она толкнула вперед дверь сарая, полного сеном.

— Ты красивый. Ты не можешь быть вором.

— Я не вор, честное слово, я не вор...

— Да я верю! Постой тут, пока я оседлаю лошадь. Тебе какую? Гнедую или рыжую?

Лешек посмотрел на черные тени коней и выбрал того, у которого были длиннее ноги.

— Твой отец сможет защитить тебя, когда монахи узнают, что это ты меня выпустила? — спросил он, пока она, надев на лошадь седло, затягивала подпругу.

— Не бойся за меня, — улыбнулась она, — я у тятеньки любимая дочка. Правда, не бойся. А даже если бы и не была... Все равно.

Девочка одела его — и малахай подобрала, не забыла. Пропали только варежки, подаренные ему Полёвой, но то была небольшая потеря. Лешек долго не мог взобраться на коня — и ребра, и руки, и ноги ломило нестерпимо, но девочка посадила его, и он на прощание крепко поцеловал ее в губы.

— Спасибо. Я сложу про тебя песню.

— Да ладно, — улыбнулась она и повела лошадь во двор, — поезжай. Поезжай скорей. К реке идет дорога, версты две. По реке вниз ты доедешь до Лусского торгога. Там монахов нет, там люди князя.

Лешек кивнул ей, и на глаза ему навернулись слезы.

— Прощай, — сказал он, когда она, стоя босиком на снегу, распахнула перед ним ворота.

— Прощай, — ответила она с улыбкой и откинула назад распущенные волосы. Лицо ее осветилось, и в полумраке метельной ночи она показалась ему похожей на Лелю. Таковую, какой он встретил ее в первый раз.

— Ты тоже очень красивая, — сказал он, — я желаю тебя счастья.

Она ничего не ответила, хлопнула коня по крупу, и Лешек толкнул его вперед, вдоль по улице, выходявшей на дорогу к реке.

Ветер заглушал конский топот, и след за ним заметала поземка. Ехать было тяжело — за ночь намело много снега. Лешек с трудом различал очертания заборов вокруг, а когда выехал на дорогу, несколько раз уводил коня в сторону, не разобравшись в темноте, куда надо двигаться. И только выскочив на лед неширокой реки, вдохнул полной грудью: наваждение! Он свободен, снова свободен! Все это было наваждением, кошмаром. И острую боль от каждого толчка копыт можно считать платой за лошадь. Все пройдет. Теперь он и в самом деле вор: он украл у монахов коня. Почему-то эта мысль вызвала в нем только довольный смешок, а не угрызения совести. А впрочем... У колдуна Дамиан забрал четырех коней.

* * *

Лытка еще не понял, смог ли смирением победить грех гордыни, и считал, что смирения в нем пока недостаточно, как на него обрушилась новая напасть — похоть.

— Господь проверяет крепость твоей веры, — сказал ему Паисий, когда Лытка, стораю от стыда, поведал о своих мучительных желаниях. — Видишь, даже в стены монастыря просачивается скверна, и побороть ее в себе — это выдержать испытание.

Лытка был самым молодым из послушников и сначала с любопытством прислушивался к разговорам старших ребят о блуде — это будоражило ему кровь, и сладкая волна поднималась в груди, — пока не понял, что эта сладкая волна и есть тот самый соблазн, о котором он столько слышал и не понимал, о чем ему толкуют иеромонахи.

В детстве пост он считал самым страшным наказанием, но со временем не только понял его пользу, но начал получать удовольствие от воздержания в еде. Теперь, вкушая скоромное, Лытка мучился угрызениями совести и частенько старался избежать трапезы: испытывая голод, он чувствовал, как очищенная душа воспаряет вверх и устремляется к Господу, но стоило набить живот, и легкость исчезала, а на смену ей приходило уныние и недовольство собой. Умение поститься и голодать стало его первой победой над алчущей плотью. Иногда, во сне, ему виделись столы, полные изысканных яств, и, наказывая тело за его проделки, Лытка в такой день не ел ничего кроме хлеба, запивая его водой. И вскоре сны отступили перед силой его духа.

Грех гордыни распознать в себе было трудней, и Лытка несколько раз перебарщивал в борьбе с ним, так что наставникам приходилось его одергивать, ибо чрезмерная строгость к себе тоже являлась проявлением гордыни и к Богу не приближала. Смирения он добивался многочасовым стоянием на коленях, поражая других послушников, и земными поклонами распятию, но этого ему казалось мало. Лытка внушал себе, что он червь по сравнению с сиянием славы Иисуса, и не мог понять, является ли его стремление во всем на Иисуса походить той же самой гордыней. Его духовные отцы иногда терялись от его вопросов, но, поразмыслив, приходили к выводу, что стремиться к Иисусу надо, однако отдавая себе отчет в том, что достичь, даже хоть немного приблизиться к нему, все равно не получится.

Лытка затвердил наизусть все Благовесты: Христос был столь любим им, что каждое слово о нем внушало благоговение. Когда вместе с хором Лытка пел на службе, его душа порхала под куполом церкви, купалась в восторге и трепете — славить Иисуса, и его отца, и его пречистую мать Лытка мог бы бесконечно. Он пытался внушить эту любовь своим товарищам, но они не понимали его. Сначала он сердился, жалел, что не может заставить их поклониться Господу, но потом понял: это тоже гордыня. Надо жалеть их и стараться спасти, а не возносить себя над другими послушниками... Уроки иеромонахов явно шли ему на пользу.

И как бы ни коробили его некоторые высказывания товарищей, как бы ни хотелось ему вспылить и кинуться

на кощунника с кулаками, Лытка научился сдерживать гнев и просил Бога наставить похабников на истинный путь, простить их невежество и глупость. Ведь что еще, как не глупость, заставляет человека грешить?

С тех пор как Дамиан стал благочинным, в монастыре, а особенно среди послушников, пышным цветом расцвело наущничество. Лытка к тому времени хорошо понимал, что покаяние должно идти из глубины сердца и наказание, даже очень жестокое, не сможет его заменить. Но, снова победив гордыню, признал за Дамианом правоту: разговоры, оскорбляющие его слух, мало-помалу сошли на нет, послушники побаивались резких высказываний о вере. Лытка никогда не доносил на товарищей, даже если знал за ними серьезные грехи, но наказания излишними не считал. Только смысл в них прятался совсем другой: не раскаянье, а смирение несли в себе телесные муки. Для себя же Лытка давно решил, что, страдая, он берет себе часть боли Иисуса. Он бы многое отдал, чтобы спасти его от распятия, закрыть собой, принять на себя его муки. Каждый раз, когда розги хлестали его тело, Лытка думал о том, что Иисуса били кнутом, а не лозой. От жалости слезы катились у Лытки по щекам и из груди рвались стоны — он готов был перенести любую боль, лишь бы избавиться от нее Иисуса.

И ему почему-то представлялось, что кожа у Христа на спине такая же тонкая, как у Лешака. И глаза такие же большие и печальные.

Испытание похотью он старался принять со смирением, но оказалось, что этот враг коварней и сильнее голода. Плоть не желала подчиниться ему — одно неосторожное слово, или помысел, или даже тень мысли сводили на нет его многочасовые молитвы. По вечерам в спальне послушников частенько можно было услышать двусмысленную шутку, и Лытка не раз и не два с воем валился на кровать и зажимал уши, но не мог удержаться от грязных мыслей, скачущих в голове, как блохи. Даже в словах молитв ему мерещилось бесстыдство, даже тексты Благовеста, особенно о Магдалине, толкали его в пропасть неудержимых желаний.

Сначала ему помогали земные поклоны, но потом и этого стало мало, и зимой Лытка по часу и больше стоял на холоде, босиком, чтобы выморозить из себя

омерзительное вожделение. Летом же его страдания достигли пика, сны превратились в сплошной сладострастный кошмар, и Лытка просыпался в холодном поту, не зная, согрешил он или не успел: ведь сны — это те же помыслы, а грешить в помыслах все равно что грешить наяву. И тогда Паисий посоветовал ему обвязаться веревкой — сам он в юности, следуя примеру Серапиона-Столпника, только так и смог уберечь себя от греха.

Поначалу Лытка не понял, в чем подвох, но когда туго затянутая веревка прогрызла его кожу, ощутил некоторое облегчение. Теперь, едва плоть наступала на него, достаточно было десять раз поклониться распятию, чтобы мучительная боль усмирила похоть. На ночь Лытка совершал тридцать-сорок поклонов, и тогда, если ему удавалось заснуть, снились ему только страдания. Исус во сне приходил к нему, и кивал одобрительно, и улыбался грустной улыбкой Лешека. А если заснуть не удавалось, Лытка утешал себя молитвой, и вскоре ночные бдения стали для него привычными — именно по ночам, в тишине и одиночестве, он ощущал, как на него снисходит благодать. Измученное болью, бессонницей и голодом тело переставало существовать, и душа свободно парила в пространстве, ей открывались новые и новые истины. Лытка в такие минуты чувствовал себя счастливым.

Несколько раз он изводил тело до такой степени, что делался всерьез больным — ноги болели так, что он не мог двигаться, язвы, протертые на поясе веревкой, гноились, кровоточили десны и шатались зубы. Больничный однажды летом даже призывал колдуна, чтобы Лытке помочь, но Лытка отказался — негоже христианину пользоваться помощью проклятого язычника. Однако после приезда колдуна больничный и сам научился лечить Лытку, отпаивая его горьким настоем из сосновой хвои и шиповника.

На его подвижничество как-то раз обратил внимание сам авва и позвал к себе для серьезного разговора. Лытка ожидал от него чего угодно, но только не такого поворота: авва, похвалив его за усердие в служении Христу, предложил ему из певчих перейти в воспитатели приюта.

— Ты искренне любишь Бога, юноша, — сказал ему авва, — так почему бы тебе не подвизаться, как Христос и Посланцы, на главном для христианина поприще:

стать ловцом душ человеческих? Разве ты не хочешь помочь и другим обрести царствие небесное?

Лытка, смиренно опустив голову, подумал и попросил отсрочки для окончательного ответа. Приют, где настоятелем был Леонтий, вызывал у него смешанные чувства. Он вспоминал себя мальчиком и понимал, что силой сможет насадить в приюте все, что захочет. Но любовь нельзя возбудить в детях силой. Его опыт житья с послушниками говорил о том, что убеждать кого-то в том, в чем уверен сам, Лытка не умеет. Умом понимая, что наказания необходимы детям, сердцем он этого принять не мог: даже за отпетыми негодьями тринадцати-четырнадцати лет он видел Лешека, его огромные сухие глаза и яблочную кашу, стекающую из угла рта на подушку. И голос колдуна как сквозь вату пробивался в сознание: «Мальчик умер».

Нет, он не смог бы стать воспитателем и уж тем более — ловцом человеческих душ. Но, сомневаясь в правильности решения, посоветовался с Паисием: вдруг отказ авве в таком тонком вопросе тоже станет грехом?

Паисий расстроился и долго убеждал Лытку не уходить из хора.

— Я стар, — говорил иеромонах, — мне нужна смена. В тебе я вижу преемника, я столько сил вложил в твоё обучение, ты талантливый юноша. Кто ещё сможет заменить меня? И потом, своим голосом, своим пением ты тоже пробуждаешь в людях любовь к Богу, разве этого мало?

Паисий сам поговорил с аввой, и больше к этому никто не возвращался. До тех пор пока несчастье не обрушилось на окружающие Пустынь деревни. Это случилось в то лето, когда Лытке сравнялось двадцать лет.

Известие о том, что к монастырю подбирается мор, взбудоражило всю братию. Паисий поверял Лытке разговоры, которые ходили среди отцов обители, — это давно вошло у них в привычку.

Дамиан требовал не только захлопнуть ворота монастыря для паломников, но и вообще прекратить всяческое сношение с внешним миром. Иеромонахи разделились во мнениях: одни предлагали идти в народ и пышными службами в церквах вымолить у Господа прощения за людские грехи. Другие, напротив, считали, что нужно принимать схиму и уходить в дальние скиты,

где молитвы скорей дойдут до Бога, чем в деревенских храмах, оскверненных присутствием закоренелых язычников, которых так много среди крестьян.

Авва долго слушал разноголосые споры, и, говорят, глаза его горели нехорошим огнем — никогда раньше его не видели в таком возбуждении. Он поднялся и высказался как всегда коротко, и никто не посмел с ним не согласиться.

— Негоже прятаться за монастырскими стенами, когда смерть косит нашу паству. Негоже бежать в скиты — напротив, и схимники должны оставить свое праведное затворничество. Всякий, кого Господь сподобил милости вершить таинства, должны быть сейчас с паствой. Молитвы и покаяния мы должны добиться от паствы, какой бы заблудшей она ни была. И тех, кому Господь уготовил смерть, мы спасем от вечных мук: примем исповедь, причастим, отпоем и погребем по христианскому обычаю. Разве не это наш долг перед теми, кого мы крестили? Остальным же монахам надлежит молить Господа об избавлении от мора.

— В таком случае, Пустынь останется без иеромонахов, — пробормотал Дамиан, оскалив зубы. Но авва сделал вид, что не услышал его.

Страх накрыл монастырь, но роптать никто не решился. В течение трех дней в иеромонахи было рукоположено пять человек, из них трое даже не были иеродиаконами. Авва и вправду вытащил из скитов схимников, которые могли стоять на ногах. Для всех, включая приютских отроков, он установил жесткий пост, и службы в монастыре шли по десять-двенадцать часов в день — авва вел их сам, оставив в Пустыни только одного старенького дьяка. Все остальные отправились навстречу мору.

Паисий разделил певчих на тройки — они пошли вместе с иеромонахами. Дружники Дамиана сопровождали их тоже: авва опасался, что в деревнях могут вспыхнуть мятежи, ведь напуганные крестьяне склонны обвинить в беде кого угодно, даже тех, кто дарует им спасение.

Лытка принял намеренья аввы с гордостью за обитель: именно так должны поступать христиане, именно так поступил бы на их месте Иисус. Что жизнь — всего лишь тлен! Лытка не боялся умереть — ад не страшил его, а рая он не вождедел. Его любовь к Христу была искренней,

чистой, он был бы счастлив оказаться рядом с ним в раю, но и падение в ад принял бы смиренно. И уж тем более служение Господу он не считал пропуском в вечное блаженство — он хотел оказаться достойным, он стремился к этому, но достиг ли права войти в рай, не знал.

Спасти от геенны огненной заблудшие души мирян, рискуя собственной жизнью, — это настоящий подвиг того, кто посвятил себя служению Богу. Он вышел из монастыря преисполненный решимости и жалел лишь о том, что не успел повзрослеть и принять духовный сан.

В восемнадцать лет Лешек стал колдуну надежным помощником во всем, кроме колдовства. Его любили девушки, но о женитьбе он не думал: не представлял себе жизни без колдуна, да и не чувствовал, что может стать отцом семейства. Леля родила Гореславу двоих сыновей, но своими Лешек их не считал, хотя, бывая у них в доме, с удовольствием тетешкал старшего и качал младшего на руках — они были для него детьми Лели и напоминали о чудных ночах любви.

Ростом он догнал колдуна, но ни ширины его плеч, ни особенной силы не приобрел и, как и всегда до этого, выглядел моложе своих лет. Но теперь это нисколько не смущало его: люди любили его за песни, и часть уважения, которое они испытывали к колдуну, доставалась и Лешеку.

Как-то в морозном и ясном декабре колдун собрался ехать к своему старому другу — Невзору: тот прислал ему весточку, которой он очень обрадовался.

— Поехали со мной! — предложил он Лешеку. — Невзор знал твоего деда, если я, конечно, не ошибся, и он может тебе о нем рассказать. Одна только трудность: нам придется ехать мимо Пустыни, вниз по Выге, через все монастырские земли.

Лешек к тому времени не вспоминал о монастыре. Только иногда, во сне, он снова оказывался в холодной приютской спальне, и это были по-настоящему страшные сны. Он чувствовал себя маленьким, сжавшимся в комок на тонком завшивленном тюфяке, и с ужасом ждал подъема. В глубине души он отдавал себе отчет, что он уже взрослый и что здесь что-то не так, но горечь накатывала на него волнами, он хотел проснуться и не мог. Иногда

из сна его вырывал колдун, а потом долго сидел с ним, не позволяя снова заснуть и увидеть тот же сон. От счастья, что он дома, на широкой, мягкой и чистой кровати, Лешек плакал, как ребенок, но колдун никогда не смеялся над ним, напротив, как маленького, гладил по голове и прижимал к себе его лицо.

Однако Лешеку очень хотелось увидеть Невзора, который, как и его дед, был волхвом, и поездка по Выге, да еще и вместе с колдуном, нисколько его не пугала.

— У Невзора есть книги, которые я очень хочу купить, — объяснил колдун. — Он несколько лет делал с них списки и теперь написал мне, что работа закончена. Это книги Ибн Сины, великого врача с Востока, я видел их у него и с тех пор не знал покоя.

Собирались, как всегда, недолго. Ехать предстояло два дня, если сохранится хорошая погода, но сани они решили не запрягать — поехали верхом. Колдун нарочно разбудил Лешека среди ночи, чтобы миновать монастырь затемно и добраться до Лусского торгова не слишком поздно вечером.

Монастыря достигли, когда там еще спали. Лешек впервые оказался около стен Пустыни после шести лет, прожитых с колдуном.

Ярко светил месяц, и мрачные тени монастырских построек отчетливо темнели перед заснеженным лесом: пятиглавая Свято-Троицкая летняя церковь, шатер над зимней церковью Рождества Христова, надвратная часовня и сторожевая башня рядом с ней. Шестиконечные кресты венчали каждую маковку, и в холодном лунном свете Лешеку показалось, что перед ним не храмы вовсе, а могилы. Могилы, вздыбившие землю до самых небес и теперь нависшие над проезжающими путниками с жаждой их поглотить.

Давний детский страх охватил Лешека, он почувствовал себя ребенком: голова непроизвольно ушла в плечи в ожидании подзатыльника, и рука сама потянулась ко лбу, чтобы осенить себя крестным знамением.

— Охто, поедем скорей, — пробурчал Лешек, беспокойно оглядываясь на тяжелые стены обители: по спине пробежали мурашки, и передернулись плечи.

Колдун кивнул — санный путь, ведущий от монастырских ворот, был хорошо наезжен, и скакать вниз по реке не составляло никакого труда. И только когда Пустынь

скрылась за поворотом и они немного сбавили ход, он спросил у Лешека:

— Послушай, ты провел там столько лет... У меня о детских годах остались только самые светлые воспоминания. Неужели тебе не вспоминается ничего хорошего?

— Вспоминается, — пожал плечами Лешек, — Лытка. Ну, еще Паисий был ко мне добр. А вообще-то — только Лытка. Но... Знаешь, мне кажется, что я его предал.

— Предал? Почему?

— С тобой я жил так счастливо и ничего не сделал, чтобы вырвать его оттуда.

— Не расстраивайся за него. Лытке хорошо в монастыре, — усмехнулся колдун.

— С чего ты взял?

— Я в позапрошлом году ездил его лечить. Он уверовал в Христа и теперь подвижничает до того, что к нему приходится звать лекаря.

— И мне не сказал? — Лешек укоризненно наклонил голову набок.

— Я не хотел тебя расстраивать. Но, раз уж ты считаешь себя предателем, то можешь чувствовать себя свободным: Лытка нашел свое место в жизни.

Колдун говорил с легким презрением и, конечно, постарался скрыть его от Лешека, но у него не вышло. Лешек не стал убеждать колдуна в том, что тот неправ: отношение колдуна к верующим он бы изменить не смог. И если Дамиан всегда вызывал у колдуна зубовой скрежет, авва — опасения, то над монахами, искренне служившими Богу, колдун неизменно и высокомерно смеялся.

Как ни странно, Лешек не слишком удивился неожиданному повороту в судьбе Лытки. Не обрадовался, конечно, но и не огорчился — наверное, потому что это действительно избавляло его от ощущения предательства. И, к собственному изумлению, понял: Лытка все равно остается для него тем самым сильным, честным и добрым, каким был для Лешека всегда.

В Лусской торг, где можно было поужинать и переночевать, они приехали сразу после заката, усталые и промерзшие. Летом для гостей торго предназначались длинные крытые навесы с сеном, зимой же немногочисленные постояльцы ночевали в большой избе, в одной половине которой стояли длинные тяжелые обеденные

столы, а в другой гости спали вповалку на грязной подгнившей соломе.

Хозяин, грузный мужчина с нездоровыми мешками под глазами, увидев богатого гостя, был с ними любезен, накормил вкусно и сытно и посадил поближе к печке. Как бы Лешек ни устал, от хмельного меда легко оправился. Постояльцев он насчитал человек десять, в основном из кузнецов — Лусской торг славился железом, которое добывали на ближайших болотах. Колдун быстро нашел себе собеседников, и Лешек тоже с удовольствием слушал рассказы незнакомых людей об их жизни. Земля эта принадлежала князю Златояру, терем его стоял неподалеку — верстах в трех выше по реке, — и разговоры в основном крутились вокруг князя и его дружины.

И колдун, и Лешек, и другие гости быстро опьянели с мороза и дальней дороги, и когда колдун сказал, что Лешек замечательно поет, тому ничего больше не оставалось, как порадовать новых знакомых песнями. Хозяин, наверное, тронут был больше всех — потому что меда не пил — и долго уговаривал Лешека остаться у него насовсем, обещал славу и богатство, а когда Лешек смущенно отказался, звал его приехать летом и побыть хотя бы несколько дней. Он привел в избу своих многочисленных разновозрастных внуков, и Лешек пел им тоже — песни, которые сочинял еще в приюте.

Спать легли вместе со всеми, только на гнилую солому хозяин постелил теплые чистые шкуры — теперь не столько для богатого гостя, сколько для «поющего ангела»: Лусской торг был большим поселением, стоял на месте слияния двух рек, и церковь в нем получила давнюю и прочную власть. Впрочем, это не мешало местным жителям хранить в укромных местах деревянных идолов, изображавших прежних богов, окружать свои дома оберегами, подкармливать домовых и вышивать на полотенцах мировое древо. Захмелевший колдун, посмеиваясь, расспрашивал хозяина о том, во что же тот на самом деле верит.

— Домовой — это ангел или бес? — хитро прищурился он.

— Какой же он ангел? Ангелы на небе, белыми крыльями машут. А бесы — в преисподней, злые они, говорят. А домовой не злой вовсе.

— А Влас кем Христу приходится, знаешь?

— Да никем. Влас — сам по себе, а Христос — сам по себе. Влас зимой по лесам бродит, нас от бесов защищает. Все боги в Вырий на зиму уходят, а Влас с нами остается.

— От бесов, значит... — многозначительно кивал колдун. — А Христос что зимой делает? Тоже в Вырий уходит?

— Не, Христос — он тут не появляется. Как его распяли, он на небе, с ангелами белокрылыми.

— А в церковь зачем ходишь тогда? — колдун едва не хохотал.

— Ну как зачем — положено. Говорят, надо на службу к нему ходить, чтобы на Страшном суде он тебе послабление сделал.

— А Влас на Страшном суде что же, не поможет?

— Говорят, не поможет. Влас — он свой, он после смерти людей через реку Смородину переводит, к предкам, которые за ней поселились.

— Так ты куда после смерти собираешься? В рай, в ад или к предкам?

— Ну, я бы к предкам хотел, конечно... — мямлил хозяин. — Как-то проще там, со своими-то...

— А Христос тогда тебе зачем?

— Мало ли... Говорят, если ему не служить — в ад пойдешь, на сковородке жариться. Так что я лучше уж отслужу, на всякий случай, а там посмотрим.

— Знаешь, что я тебе посоветую, — лицо колдуна стало печальным и задумчивым. — Ты служить-то ему служи, раз боишься. Только перед смертью не ходи к причастию. Пойдешь к причастию, Влас не сможет перевести тебя через Смородину, Христос подоспеет раньше него и утащит к себе, на Страшный суд.

Невзор, высокий и седой старик, еще не спал, когда поздней ночью они добрались до его уединенного жилища на берегу маленькой речушки, выющейся среди густого леса.

— Охто! — старик обнялся с колдуном, а потом взглянул на Лешека и даже поднял глиняный подсвечник, чтобы осветить его лицо. — Ты не ошибся. У меня нет никаких сомнений — это внук Велемира. Похож. Очень похож. И на деда, и на отца, и на мать. Что ж, я рад. Я думал, род Велемира оборвался, а вот как причудливо сложилась жизнь... Где ты нашел его, Охто?

— Представь себе, я вытащил его из Пустыни, — усмехнулся колдун, снимая шубу, — только о роде Велемира я в то время не думал.

И вместо того чтобы отдохнуть с дороги, колдун просидел до рассвета, беседуя со старым волхвом. Они говорили о монастыре и о том, что власть церкви все туже стягивает кольцом Север и теперь опасно появляться не только в Удоге и Новограде, но и в больших селах, а иногда и в мелких деревнях. Лешек слушал их, то засыпая, то просыпаясь, ему было интересно, но сон закрывал ему глаза, и, открыв их в следующий раз, он ловил совсем другой разговор, не сразу понимая, о чем идет речь.

— Охто, ты живешь на Севере, ты редко сталкиваешься с ними, — говорил Невзор, — а я вижу их почти каждый день. И я старше, я опытней тебя и скажу: не связывайся с ними. Они раздавят тебя, как букашку. Это сила, с которой нам не справиться. Или ты не помнишь о восстаниях в Новограде?

— Помню! Отлично помню! — горячо восклицал колдун. — Все это было неправильно, и действовать надо не так!

— Акак? Какую еще силу ты можешь им противопоставить? Что ты можешь против огня и меча? Охто, они раздавят тебя, предадут мучительной смерти, ты этого хочешь?

— Я не боюсь смерти, даже мучительной.

— Ты один, один, пойми! Там, на севере, тебе кажется, что люди с тобой, но я-то видел, как это происходит! Они приходят и селят в душах страх. Ты одинок, тебе нечего терять, а любой другой человек подумает прежде о семье. Ты слишком хорошо живешь, ты не знаешь голода, ты побеждаешь болезни, у тебя теплый уютный дом. На твою землю никогда не ступала нога врага. Представь себе, что чувствует человек, когда в январе дом его пылает огнем пожара, как и все дома вокруг, когда горит хлеб, когда мечутся в огне лошади и жена держит на руках грудного младенца, который умрет от мороза через три дня?

— Они не убивают людей. Они делают нечто гораздо худшее.

— Страх — их главное оружие. Тех, кто не боится смерти, они пугают вечными муками, тех, кто не верит в вечные муки, предадут мукам здесь и сейчас, тех, кто, как и ты, не боится и этого, они ловят на крючок страха за близких. У

них много способов, проверенных временем. Красивые сказки переплетаются с кровавым ужасом, волшебная музыка — с обманом, любовь — с ненавистью. Они знают, как овладевать сердцами, Охто! Они знают, а ты нет!

— Я не хочу владеть сердцами! — кричал колдун и стучал кулаком по столу. — Не хочу! Это рабство, понимаешь? Для рабов Ромы, возможно, мечта о постном рае и казалась светлой, а для нас — нет!

— Значит, они превратят нас в рабов, подобных ромским, и тогда постный рай покажется лучшим местом, чем наша родная земля. Вокруг Новограда становится все больше и больше деревень, где живут только холопы. Представь, все до единого, и дети их, и жены — холопы! Да раньше мы и представить такого не могли!

— Но... почему они не бегут? Земли много... — растерялся колдун.

— Потому что Юга уже прокрался в их сердца, потому что они рождаются с крестом на груди и с молоком матери впитывают рабство. И то, что этого пока нет на севере, только вопрос времени. И ты не помешаешь им. Ты песчинка в их жерновах.

— Я не песчинка. Я мелкий камушек. А мелкий камушек может жернов и сломать.

— Нет, Охто, ты обольщаешься. Вспомни, что они сделали с Велемиром. Мой тебе совет — уходи на восток. Или затаись, продолжай лечить людей и колдуй потихоньку, чтобы никто этого не видел.

— Я не могу колдовать потихоньку. Люди держат меня наверху, в одиночку я могу выпросить разве что ясного неба на несколько часов.

Они и наутро, когда Лешек поднялся с постели, еще не ложились, обсуждая болезни и травы. Лешек испугался в снегу и, завернувшись в плащ, сел поближе к печке, когда колдун перешел к самому главному.

— Если ты думаешь, что я приехал к тебе за Ибн Синой, то ты ошибаешься. Хотя, если бы не книги, я бы, наверное, собирался еще года два. Пятнадцать лет назад я создал нечто и все эти годы изучал то, что создал. Посмотри, — он залез в поясную сумку и вытащил на свет хрусталь.

Глаза волхва загорелись, он вытянул шею, внимательно разглядывая осколок кварца.

— Это какой-то предмет для твоей волшбы? — недоверчиво спросил он.

— Нет. Однажды я поднялся в небо и хотел просить Мокшу о дожде.

— Высоко летаешь... — усмехнулся Невзор.

Колдун пропустил этот укол мимо ушей и продолжил — с придыханием, мучительно подбирая слова, а потом выталкивая их из себя скороговоркой:

— Но вместо нее я встретил Змея. Я никогда раньше не видел его, да и не мог видеть, я же белый, спускаться вниз я не умею, и что он делал наверху, я не знаю. Он вышел мне навстречу, и, признаться, я испугался. Он был... Он был страшен. Мне показалось, что он смеется надо мной и злится, но уже не на меня, а на кого-то или на что-то еще... Он все время оглядывался, озирался, словно боялся, что кто-нибудь его увидит. Я чувствовал, как он стискивает мне плечи и как смотрит в глаза, презрительно и внимательно. И... в общем, после этой встречи я знал, как найти хрусталь, как обработать...

— Змей стал помогать людям? И ты так запросто говорил с ним? — старик недоверчиво прищурился.

— Нет, не запросто... — колдун опустил голову. — Он велел мне в то лето не подниматься наверх и пообещал хороший урожай безо всякой волшбы. А потом он швырнул меня вниз, и я несколько дней пролежал без сознания.

— А как Змей оказался наверху? Разве для него есть туда дорога?

— Есть, есть, — улыбнулся колдун, — я всегда говорил, что нижний мир смыкается с верхним, только нам пока этого не видно. И он сразу сказал, что хрусталь имеет две стороны, и пусть люди сами решат, какой стороной захотят пользоваться. Я не знаю, зачем он дал его мне. Но искушение, ты же понимаешь, было слишком велико.

— И что он может?

— Я покажу...

Колдун взял со стола нож, нагрел лезвие в пламени свечи и острым концом прорезал на своей ладони глубокую рану, отчего Лешек вздрогнул и зажмурился, но лицо колдуна оставалось неподвижным и спокойным. Кровь побежала на полотенце, которое он предусмотрительно бросил на колени, и, зажимая запястье другой рукой, кивнул волхву на хрусталь.

— Пойдем. Ему нужно солнце.

Они вместе вышли за дверь, и через минуту Лешек услышал удивленный возглас Невзора.

— Помнишь преданье о живой и мертвой воде? — спросил колдун, когда они, в облаке пара, вернулись в дом, — в левой руке колдун сжимал хрусталь, и никакой раны на ней уже не было.

— Ты хочешь сказать...

— Да. Собирая солнечный свет, хрусталь заживляет даже старые раны и излечивает плохо сросшиеся кости. А если собрать им свет луны, он действует так, как положено мертвой воде: убивает гниль и лихорадку, и не только в ране, но и в крови. Ему нужно лишь ясное небо.

Они сели обратно за стол, и колдун рассказал о тех болезнях, которые ему удалось вылечить при помощи хрусталя. Лешек перебрался к ним поближе, и Невзор поставил самовар.

— Но почему ты не говорил об этом, когда мы собирались на сход? Это же было лет семь назад... — удивленно спросил волхв.

— Сейчас объясню. На сходе собралось слишком много людей, и не всем я мог довериться. Ты забыл, у хрусталя две стороны... Одна сторона лучи собирает, а другая — рассеивает. Змей не зря говорил о выборе между ними. Он хитер, и никто не знает, чего он на самом деле хочет. Так вот, если поставить хрусталь вот этой стороной от себя, всякий, кто находится в рассеянных лучах солнца, оказывается в полной власти того, кто держит хрусталь в руках. Им можно остановить огромное войско и заставить его повернуть назад. Любой приказ будет исполнен — можно приказать выстроиться в цепь и по одному отправить людей в прорубь. И они пойдут. Это страшное оружие, понимаешь?

— Да, — задумчиво протянул Невзор, — понимаю. Но как нам его не хватало во время войны!

— Ты не понял, — вздохнул колдун, — неужели ты не понял? Наши враги — они ведь тоже люди. Тот, кто получит этот хрусталь, станет владеть миром, он превзойдет царя Александра, но начнет он со своих братьев! С нас с тобой в первую очередь!

— Охто, ты, по-моему, передегиваешь. Хрусталь можно заставить служить людям.

— Ты возьмешь на себя такое право? Нет, не возьмешь, а если возьмешь, я знаю, кто тебя опередит. Тот, кто хочет власти сильнее, чем ты. Нет, Невзор, ничего не выйдет. Защитившись от внешних врагов, рано или поздно мы придем к их порабощению, к завоеванию новых земель. И это не все, что хрусталь умеет. Есть еще рассеянный свет луны. И в моих глазах он страшней, чем возможность отдавать приказы. В рассеянном свете луны хрусталь ловит души...

Колдун вдруг замолчал и убрал хрусталь в поясную сумку. Лицо его вмиг осунулось, глаза потускнели, и подбородок опустился на грудь.

— Вот поэтому я никому не говорю о хрустале. О его оборотной стороне не знает никто.

Разговор сам собой сошел на нет, и через некоторое время колдун крепко спал, а волхв оставался бодрым и разговорчивым, как будто и не было перед этим бессонной ночи.

— Твой дед был сильным волхвом-кощунником, — сказал он Лешеку, — хранителем Знания. Когда он начинал говорить, люди вокруг замирали и раскрывали рты. Даже я не мог противиться его голосу — он завораживал, слова лились в меня как по волшебству.

И пока колдун спал, Невзор рассказывал Лешеку про деда, и отца, и мать. И потрясла Лешека не столько история жизни, сколько история их смерти.

Князь Златояр, младший в семье, унаследовал от отца худшие, бедные земли, — собственно, не земли, а непроходимые леса и болота, да еще и по соседству с Пустынью. Лусской торг, с его добычей железа, первоначально был там единственной ценностью, но в нем давно стояла церковь, с которой приходилось делить власть. И прокормить дружину князя поселяне не могли. Златояр стягивал к себе крестьян, которые рекой текли на север, спасаясь от княжеских усобиц, и отдавал им леса исходя из четверти снопа, но клирики неизменно опережали его, и вместе с первыми домами над деревьями поднимались высокие шатры деревянных храмов, увенчанных крестами.

Прошло несколько лет, прежде чем Златояр понял, что худой мир лучше доброй ссоры. Его дружина всегда была готова услужить церкви, он честно платил им заранее оговоренную мзду, названную пожертвованием, и не только мелким деревенским приходам, но и Пустыни,

а монахи не лезли в мирские дела, а если и лезли, то неизменно на стороне князя.

Стычки возникали только на границах с Пустынью. Златояр был готов делиться деньгами, но не собирался делиться землями. И то, что Пустынь считала своей землей, Златояр причислял к своей — да и мудро было провести границу по непроходимому лесу.

Про волхва Велемира хорошо знала вся округа. Златояру он не мешал, ходил себе по деревням и рассказывал сказки о богах, лечил, гадал. Сам Златояр тоже любил его послушать и предсказания его принимал всерьез, да и боги волхва были для него ближе и дороже, чем Святая Троица. Только Велемир не мог примириться с существованием церкви, а церковь — с существованием волхва. Златояр не лез в их бесконечный спор: обидеть волхва он опасался, а с церковью ссориться не хотел. Но однажды чаша терпения церковников переполнилась. По деревням прошло поветрие, падал скот, умирали люди, и то там, то здесь вспыхивали крады, на которых горели и люди, и животные. Велемиру верили больше, чем проповедям, отказывались от причастия, снова славили своих богов, а кое-где и поджигали церкви.

На беду Велемира именно в тот год в пограничных с Пустынью землях поселились крестьяне, выжгли участок леса и сняли первый богатый урожай. Вот за эту деревню Пустынь и потребовала выкуп: избавление от волхва. Златояр предложил Велемиру уйти на север, но волхв отказался. Игумена Пустыни это не устраивало тоже: он требовал прилюдной расправы, и тогда Златояр, заманив Велемира с сыном к себе в терем, ночью связал обоих, и его дружина доставила пленников в Лусской торг, в распоряжение отцов большого Лусского храма.

На Рождество Богородицы — в праздник урожая — на торг стекалось множество людей. И, как ни противилась этому церковь, народ возносил благодарность рожаницам и устраивал разгул, который продолжался не меньше недели. Именно тогда, перед церковью, собрав людей и отгородившись от них дружиной князя, отцы Пустыни и Лусского храма после недолгих обвинений сожгли Велемира с сыном в одном большом костре.

Эта страшная казнь напугала людей, и они не посмели роптать. Да и не очень хорошо понимали, кого им

слушать, кто прав, а кто виноват. И в первые месяцы после казни церкви были переполнены поселянами: кто-то шел туда из страха перед расправой, кто-то — перед Страшным судом.

Поговаривали, что Златояр раскаялся в содеянном, но не сразу, а через несколько лет, когда по ночам к нему стал являться призрак Велемира, и даже прилюдно поклялся, что ни одного волхва церкви больше не отдаст, но клятве этой Невзор верил несильно.

Невестку Велемира с его внуком Олегом укрыли добрые люди, и Невзор ничего не знал об их судьбе, хотя много лет искал женщину в надежде дать ей кров и воспитать мальчика достойным продолжением знаменитого деда.

— И вот ты сидишь передо мной, — улыбнулся волхв, — живой и здоровый. От судьбы не уйдешь, мне жаль только, что не я, а Охто сумел найти тебя и вытащить из Пустыни. Интересно, унаследовал ли ты хоть что-нибудь из способностей деда?

— Спой ему, Лешек, — подал голос с полатей колдун. — Спой ему про злого бога, чтобы он понял, как мне удалось тебя найти.

— Да ну, Охто, это совсем детская песня.

— Это моя любимая песня, — ответил колдун, перевернулся на живот и положил подбородок на руки.

Они пробыли в гостях у Невзора примерно неделю, и все это время колдун не мог наговориться с волхвом. В последний день, перед отъездом, сидя за столом с чаркой меда, Невзор вдруг сказал:

— А знаешь, Охто, я, кажется, понял, зачем Змей дал тебе хрусталь.

— Да? — удивился колдун.

— Посмотри, из всех колдунов он выбрал именно тебя, белого, и сделал это в тайне от других богов. Он дал нам оружие против Юги. Я думаю, он понимает, что без хрусталя нам его не победить. И нашим богам без нас не победить его. Он хотел, чтобы ты воспользовался силой хрусталя. В нем — все. Ни дружина Златояра, ни даже новгородское войско не смогут тебе противостоять. Ты можешь являть чудеса, ты можешь забирать души...

— Забирать души? — тихо и грозно переспросил колдун. — И отдавать их Змею? Так?

— Я не знаю, ты не объяснил мне, что означает эта его способность...

— Что бы это ни означало! Давай вместо Юги установим вокруг власть Змея, чем это лучше? Объясни!

— Змей, по крайней мере, свой, родной...

— Ерунда! Пройдет три столетия, и он, по примеру Юги, захочет такой же власти! И все мы будем протирать колени на капищах Змея, и все мы будем выполнять его заповеди, первой из которых станет «возлюби Змея»!

— Ты всегда стоял над народами, ты не видишь разницы между нами и чужаками... Это потому что твои родители...

— Да. Я даже не стану этого отрицать, — перебил колдун. — Мне все равно, перед кем ползать на коленях, перед Югой или перед Змеем. И насаждать новую веру я не стану, ни огнем, ни мечом, ни хрусталем!

— Охто, подумай. У тебя в руках средство, которое освободит нас от чужого злобного божка, а что будет дальше, через три столетия, — разве мы можем судить? Ты станешь великим пророком, и ты станешь решать, как ему поклоняться. И потом, не один Змей управляет миром, есть и другие боги...

— Да, я знаю это лучше тебя! Но другие боги не спасли Велемира от костра, а его внука — от унижений в монастыре. Они не вмешиваются, когда целые деревни Новоград населяет холопами, когда толпы людей идут к причастию и после смерти напрямик попадают к Юге в лапы. Так что изменится, если Югу сменит Змей? Я не буду великим пророком, Невзор. Я не хочу быть великим пророком Змея.

— Охто, а кто был твой отец? — спросил Лешек по дороге домой.

— Вообще-то у меня был дед. Совсем не старый, такой, как я сейчас. Он тоже колдовал. Когда я родился, ему было не больше сорока, а матери — всего шестнадцать. Отца я никогда не видел. Верней, не так: видел, но не помню. Он был варрагом из Роскильде, а моя мать с дедом жила в Удоге. Каждую весну его корабль проходил мимо Удоги в Новоград и дальше. А осенью возвращался. Моя мать очень любила его...

Колдун замолчал, и Лешек не посмел расспрашивать, но он заговорил сам.

— Наверное, поэтому она так и не вышла замуж. Каждую весну его корабль приходил в Удогу, на несколько дней. А однажды не пришел. Я помню: пока мы жили в Удоге, каждый год в конце мая, когда озеро освобождалось ото льда, мать брала меня за руку и вела в устье речки Удожки, где раньше останавливался его корабль. И стояла там, долго. Каждый день. Она часто рассказывала мне о нем. Он был черноволосый и голубоглазый, а она, напротив, — русая, с красивыми карими глазами. Знаешь, среди карелов это редкость. Говорят, именно колдуны рождаются с карими глазами. Я унаследовал ее глаза и цвет волос отца. Она говорила, что я похож на него, а я хотел быть похожим на деда.

— И ты совсем его не любил? — удивился Лешек.

Колдун пожал плечами:

— Не знаю. В детстве я ничего к нему не чувствовал, разве что интерес. А теперь... Знаешь, ему ведь было столько же лет, сколько тебе сейчас. Он был настоящим варрагом, потомком тех варрагов, что ходили по морям на драккарах и воевали чаще, чем торговали. Он мечтал стать героем на войне. Я не знаю, почему он никогда больше не появился. Может быть, ему надоело заниматься торговлей и он стал воином, как и мечтал. А может, они сменили торговый путь. Но скорей всего его корабль не вернулся в Роскильде, так говорил мой дед. В свой последний приезд отец звал мою мать с собой, но дед уговорил ее подождать до весны. Она до самой смерти не могла себе этого простить.

— Поэтому Невзор сказал, что ты стоишь над народами?

— Да. Мои предки сотни лет живут вместе со словеннами, мы давно верим в одних и тех же богов, но, как видишь, он все равно считает меня чужим, — с горечью ответил колдун. — А я не чужой, я просто... Я просто не делю людей на своих и чужих. Тут Невзор прав.

История любви матери колдуна так тронула сердце Лешка, что он сочинил о ней одну из лучших своих песен.

Лешек добрался до Лусского торгога на рассвете и повернул к постоялому двору, где когда-то они останавливались вместе с колдуном по дороге к Невзору. Это было единственное знакомое ему место, и по-хорошему стоило сначала осмотреться, но он только окинул взглядом село и, не увидев на дороге черных клобуков, ускорил бег коня. Ветер стих, небо прояснилось, день обещал быть морозным.

У коновязи стояло много лошадей, и Лешек поначалу испугался: не монахи ли посетили постоялый двор. Но, судя по седельным сумкам, этих людей он никогда раньше не видел. Лешек с трудом слез на землю, привязал коня у самого края коновязи и, снова осмотревшись, осторожно приоткрыл дверь.

Нет, это были не монахи, — за большим столом расселись хорошо одетые воины, с опрятно постриженными бородами, в сапогах и с собольими шапками, разбросанными по столу. Лица их оставались мрачными и серыми, каждый сидел, уткнувшись в свою миску, и над столами разносился только глухой стук ложек, поэтому на скрип двери оглянулись все разом. Лешек смешался и хотел захлопнуть дверь, но, подумав, перешагнул через порог. Если Дамиан договорился с людьми князя, Лешек не успеет уйти, а напротив — бегством только возбудит подозрения. А так... Может, его и не узнают?

Хозяин, стоявший у печки, силился рассмотреть, кто его новый посетитель. Тусклый свет узких слюдяных окон не разгонял полумрака, и хозяин, взяв со стола свечу, подошел вплотную к замершему на пороге Лешеку и поднес свет к его лицу.

Это был тот самый человек, который два года назад принимал их с колдуном на ночлег, только стал он еще более грузным, а мешки под глазами совсем обвисли и потемнели. Он сощурился, поднял свечку повыше, и вдруг лицо его осветилось радостным удивлением, глаза сверкнули и он широко улыбнулся:

— Поющий ангел? — робко спросил он. — Ты ли это?

Лешек кивнул. Он не ожидал, что хозяин узнает, и на него сразу нахлынули воспоминания: о поездке к Невзору, о колдуне, о том, как внуки хозяина разинув рты слушали его пение...

— Мои внуки до сих пор помнят твои песни... — сказал хозяин, и в его глазах блеснули слезы. — Проходи, садись.

— У меня нет денег, — выговорил Лешек, проглатывая ком в горле.

— Какие деньги! Что ты говоришь! Разве что... Если ты сможешь спеть...

Лешек улыбнулся растроганно:

— Конечно. Только... я очень замерз и устал.

Воины с любопытством смотрели на эту встречу, мрачность сменилась любопытством: не иначе, Дамиан договорился с ними.

— А это не тот, кого мы ждем? — спросил старший, сидевший во главе стола.

— Что ты! — всплеснул руками хозяин. — Это не вор, это поющий ангел! Вы увидите! Подождите немного, ему надо согреться и поесть, и вы увидите!

Воины переглянулись и кивнули друг другу — знакомый хозяин, да еще и поющий ангел явно был не тем, кто им нужен.

Хозяин усадил Лешака спиной к печке и принес горячей жирной каши. В тепле немного успокоилась ломота от ушибов, зато загорелись рваные раны от укусов собак — хорошо, что в полумраке никто не разглядел его окровавленных коленей и рук. После сытной еды сразу потянуло в сон, и Лешек с трудом поднимал отяжелевшие веки — конечно, если бы он уснул, ничего страшного не произошло бы, но он обещал хозяину спеть и не хотел его разочаровать. Лешек отдал пустую миску хозяину и внимательно оглядел воинов, сидевших за столом с кружками горячего меда. Интересно, какие песни им можно петь? Лешек впервые задумался над этим. Монахам он не пел ничего, простым людям в деревнях на севере он мог спеть любую песню, а на юге? Там, где народ ходит в церкви и носит кресты? Можно ли им петь о любви, о свободе, о предраассветной мгле на полях или зимней дороге между двух заснеженных берегов?

Перед ним сидели воины, и Лешек в конце концов остановился на песне о том, как князь Олег победил Царьград — когда-то его поразила книга об этом. Впрочем, тут же в голову пришли и другие песни о воинских победах: о битве на Дивьем озере, о Злом городе и его княгине, которая предпочла смерть плену.

Он пел и видел, как загораются их глаза, как руки тянутся к поясам, нащупывая рукояти мечей, как распрямляются спины — что ж, значит, он угадал и когда сочинял эти песни, и когда выбрал их теперь. Хозяин снова успел собрать своих внуков, только вместо маленьких детишек на Лешека смотрели повзрослевшие парни и девушки.

Его просили петь еще и еще, и когда героических песен больше не осталось, Лешек запел о любви, а потом и вовсе перестал выбирать песни и не задумывался о том, ходят ли эти люди в церковь и носят ли они кресты. Низкое солнце висело на юге, а он все пел — ему так давно не доводилось петь в полный голос, и чувствовать, что ему внемлют, и ловить людское волнение, впитывать его в себя и возвращать сторицей обратно, чтобы снова ловить, и снова возвращать...

Дверь распахнула широко и уверенно, вокруг нее закружился морозный пар, и солнечный свет ударил Лешеку в лицо, освещая его с головы до ног. Он пел последние слова песни о купальной ночи, о том, как на рассвете радужно играет солнце, и открывшаяся дверь стала достойным ее завершением. Лешек прикрылся от света ладонью, чтобы рассмотреть вошедших: на пороге замерли от удивления двое монахов, в одном из которых он без труда узнал брата Авду.

Песня, хоть и смолкла, все еще держала его парящим над землей, и все вокруг тоже восхищенно молчали и даже не оглянулись на вошедших монахов. Брат Авда посторонился — лицо его оставалось равнодушным — и указал толпившимся сзади него дружникам на Лешека: — Взять его.

Монахи не слышали песни, поэтому не замедлили исполнить приказ и по одному, нагибаясь, пошли внутрь, как вдруг воины князя медленно, с достоинством поднялись с мест и преградили им дорогу. Лешек растерявшись попятился назад, к стене, и хозяин, взяв его за руку, притянул к себе в угол, словно защищая.

Брат Авда, заметив задержку, шагнул в избу сам, захлопнул дверь и подслеповато осмотрелся: после яркого зимнего дня полумрак казался непроглядным.

— В чем дело, Путята? Или князь не сказал тебе, кого мы ловим? — Авда прищурился и откинул голову назад,

сверху вниз глядя на старшего из воинов, вышедшего вперед.

— Сказал. Он сказал, что ловить надо злодея и вора, но я покуда не видел здесь воров и злодеев, — Путята презрительно ухмыльнулся.

— Разве ты не знаешь, во что он был одет? Тебе не сообщили его приметы?

— Сообщили, — спокойно кивнул Путята.

— Я не понимаю тебя и твоих людей. Освободите дорогу.

— С каких пор ты отдаешь мне приказы?

Авда снова откинул голову, и верхняя губа его приподнялась, обнажая зубы, — в полумраке лицо его стало похожим на череп.

— Ты хочешь войны, Путята? — тихо и грозно спросил монах.

— Я не боюсь войны, — уверенно ответил воин, и Лешек увидел, что они держатся за рукояти мечей и пальцы у обоих побелели от напряжения. Он вдруг припомнил их с Лыткой давнюю вылазку в Ближний скит и разговор о Дамиане — исток создания дружины монастыря. Кто они, Авда и Путята? Враги? Соперники? Товарищи? Как легко Дамиан договорился с князем о поимке вора, как легко объединяются они против общего врага, и как легко расколоть их союз!

— Нам не стоит ссориться из-за такой малости, — голос Авды вовсе не располагал к примирению, напротив, монах прошипел это сквозь зубы, и меч его пополз из ножен, показывая серо-коричневое лезвие.

— Действительно, — согласился Путята, и шорох стали о ножны услышали все вокруг. Внучки хозяина прижались к стенам, испуганно глядя на мужчину, а внуки выстроились в один ряд с воинами и сомкнули плечи.

Тишину нарушало только тяжелое дыхание соперников, смотревших друг другу в глаза; воздух, как перед грозой, стал тяжелым и вязким, и одной искры хватило бы, чтобы между ними польхнуло пламя.

— Не стой у меня на дороге, Путята, это плохо кончится, — покачал головой Авда.

— Для кого-то — плохо, — ухмыльнулся воин.

Драка началась в один миг, и Путята был первым, кто выхватил меч. Хозяин в испуге присел на пол,

увлекая Лешека за собой. Места в избе не хватало, мечи и топоры бились в стены и потолок, выхватывая их них щепы, словно брызги. Монахи сражались молча, люди же князя, напротив, подбадривали себя воинственными возгласами, и вскоре мечи звенеть перестали: враги сошлись слишком тесно, и в ход пошли ножи, более подходящие для рукопашной схватки.

Лешек ничего не мог разобрать в переплетении дерущихся тел, он видел кровь и слышал стоны, и глухие удары, и шипение столкнувшихся лезвий, и звон падавшего на пол оружия. Дверь распахнулась — на помощь людям князя спешили их товарищи, бросая коней у входа не привязанными. Солнце ослепило Лешека, он прикрылся ладонью — монахам не суждено было выйти из этого боя победителями.

Их скрутили, разоружили и связали, затолкав на спальную половину и уложив на гнилую солому. Кто-то из них оказался раненым и громко стонал, поминая Бога срывающимся голосом.

Путята, зажимая рукой кровавую рану на плече, подошел к хозяину.

— Иди перевяжи его. И вообще посмотри, нет ли тяжелораненых, — сказал он устало. От его удали не осталось и следа, а лицо было бледным и задумчивым — похоже, он жалел о том, что затеял этот бой.

Хозяин кивнул и тяжело поднял на ноги свое грузное тело, виновато оглядываясь на Лешека.

— Значит, вор и злодей? — спросил воин, осматривая Лешека с высоты своего роста. — Поедешь с нами. Князь разберется сам, что с тобой делать. Эй, свяжите ему руки! Говорят, он хитер, как лис.

Лешек неуверенно усмехнулся — приятно слышать от Дамиана столь лестные слова. Двое воинов подошли к нему и подняли на ноги, заворачивая его руки за спину. Он не сопротивлялся — это не имело смысла — и хотел было попросить отпустить его, но, взглянув на хмурые лица, отказался от этого. Колдун говорил, что просить надо только тогда, когда ты уверен, что твоя просьба будет исполнена.

— Смотри, Путята! — позвал воин, державший Лешека за руки. — Его сегодня кто-то уже вязал!

Он осмотрел Лешека внимательней.

— И собаками его, похоже, травили... — пробормотал второй, глядя ему на ноги. — Может, и вправду вор?

— Тогда вяжи его крепче, — посоветовал Путята, — раз он от собак ушел и веревка его не удержала.

Веревка снова впилась в запястья, и Лешек поморщился.

— Руки-то тонкие какие... — то ли с жалостью, то ли с сожалением сказал тот, что наматывал на них веревку, — и вязать как-то неловко...

— Вяжи давай. Златояр разберется, — прикрикнул Путята.

— Чего ты украл-то? — спросил второй.

— Я не вор, — сквозь зубы ответил Лешек.

Его вывели на двор, накинув полушубок на плечи и усадили на коня позади седла, а чтобы он не упал, воин, который его вез, привязал его к себе веревкой.

До княжеского двора ехать было недолго — версты три, — и всю дорогу Лешек, подпрыгивая на крупе резвого жеребца, думал о встрече с князем. Он давно хотел взглянуть тому в глаза, а когда-то мечтал и о кровавой мести за отца и деда, но с годами желание мстить притупилось, осталась только горечь и жгучая бессильная ненависть, заставлявшая скрежетать зубами.

Однако князь не поспешил ему навстречу — во дворе, огороженном высоким частоколом, со множеством высоких построек, его втокнули в маленькую клеть, пристроенную позади длинного приземистого сруба с земляной кровлей, наподобие варражских домов, которые Лешек видел в Удоге. В клетке было холодно, разве только не морозно, и довольно светло: низкие длинные окна выходили на три стороны, и в них задувал зимний ветер. Вдоль боковой стены шла узкая лавка, и Лешек присел на ее край, придвинувшись к стенке сруба: она оказалась теплей остальных. Ему ничего не сказали, он слышал только, как дверь заперли на тяжелый скрипучий засов.

Он не спал больше двух суток, но побоялся лечь на лавку, чтобы не замерзнуть, просто прижался щекой к теплым бревнам, стараясь не думать о том, что его ждет. Но мысли упорно возвращались на круги своя: Златояр отдаст его Дамиану. И стычка его людей с монахами ничего не значит — им просто хотелось доказать

превосходство над братией, заткнуть их за пояс, побрыцать оружием, не более. Наверное, князь даже не захочет взглянуть на пленника.

Тело быстро сковала стылая промозглость клетки, от каждого вдоха ныли ушибы, а раны на ногах и запястьях дергала острая боль, что никак нельзя было назвать добрым знаком. Связанные руки затекли, и Лешек их не чувствовал. Прошло не меньше двух часов, прежде чем снаружи заскрипел засов, и в клетку вошел воин, который вязал ему руки, а с ним — молодая женщина, с кринкой в руках и корзинкой под мышкой.

Воин велел Лешеку встать и повернуться к нему спиной, а потом распустил веревки, стягивавшие его руки.

— Вот, посмотри, — кивнул он женщине, — и быстреей.

Женщина развернула Лешека к себе лицом и усадила на лавку, разглядывая его запястья. В кринке, над которой поднимался пар, был травяной настой — Лешек расслышал запах ноготков и подорожника. Она промыла раны на его руках, довольно жестоко соскабливая гнойный налет и шепча при этом ласковые слова, и положила на них примочки, обмотала белыми тряпичками, после чего воин снова связал Лешеку руки за спиной, только, жалея его, стянул веревки немного выше запястий.

— Нехорошо являться к князю в таком виде, — хмыкнул воин и снял с Лешека рваные, окровавленные штаны, — мои, конечно, великоваты будут, но уж всяко лучше, чем эти...

Женщина обработала ему раны на коленях, аккуратно перевязала и помогла одеться — штаны воина и вправду оказались чересчур большими, зато более плотными и теплыми, чем те, что изорвали собаки.

— Ну что? Так лучше? — ласково спросила женщина.

— Спасибо, — хлюпнув носом, ответил Лешек. — Я... я не вор, честное слово...

Они оба ничего на это не сказали и молча ушли, задвинув за собой засов.

Горящие потревоженные раны не позволили уснуть, а в следующий раз дверь открылась на закате, когда красные солнечные лучи напрямую пробивались в окошко. На этот раз за ним пришел Путята в сопровождении двоих воинов, которых Лешек до этого не видел. Отвели

его недалеко — в тот самый длинный сруб с земляной кровлей.

Внутри было тепло, даже душно. По стенам ярко светили чадящие факелы, а посередине стоял длинный широкий стол, упирившийся в огромный открытый очаг, — не иначе, князь жил среди варрагов и обустроил место для пиров так же, как это делали они. За столом, усыпанным яствами, сидели воины, их было не меньше сорока человек, и все они ели жареное мясо и шумно прихлебывали из огромных дымившихся кружек.

Косматый широкоплечий старый человек сидел во главе стола, спиной к очагу, его волосы были тронуты грязно-серой сединой, а на помятом морщинами лице застыла презрительная гримаса, которая приподнимала крылья широкого носа и искривляла тонкий безвольный рот. Его спина гордо выгибалась, плечи были чуть откинuty назад, и подбородок смотрел вверх, что придавало князю сходство с хищной внимательной птицей. Лешек представлял себе князя совсем по-другому — тонким белокурым юношей, наверное потому, что все время слышал о нем: «младший сын». И, хотя он прекрасно знал, что Златояру уже немало лет, увидеть старика он не рассчитывал.

Лешека подтолкнули к противоположному от князя концу стола, пронзительный взгляд Златояра мельком коснулся его лица и был похож на пощечину — так смотрят на кошку, которая путается под ногами, на жука, случайно упавшего в кринку с молоком, на камень, о который довелось неосторожно споткнуться. Лешек стиснул зубы: он давно ждал встречи с этим человеком, но не думал, что явится перед ним со связанными руками, избитый, уставший и беспомощный. Злость зашевелилась в груди, заставляя глубоко и шумно дышать.

Князь откусил кусок мяса и, не прожевав, снова коротко глянул на Лешека.

— Говорят, ты хорошо поешь, — невнятно и быстро пробормотал он. — Прежде чем вернуть тебя в Пустынь, я хочу послушать твои песни.

Лешек поднял голову и выпрямил плечи. Нет, петь жующему князю он не станет. Пусть его отдадут Дамиану, пусть делают с ним все что угодно — он не ученый медведь на торге. Люди, слушавшие его песни,

замирали, едва он открывал рот, они плакали и смеялись, они распахивали ему навстречу свои души...

— Ну? — переспросил князь, откусывая следующий кусок, отчего по его бороде побежала струйка жира.

— Я не буду петь, — тихо ответил Лешек, но вместе с клокочущей в горле злостью вдруг ощутил тот самый отвратительный, унижительный страх. Страх перед тем, кто его сильнее.

— Я не понял, что он говорит, — скороговоркой сказал князь и глянул на Путятю.

— Он не хочет петь, Златояр, — с горечью ответил воин и с сожалением посмотрел на Лешека, как будто был в чем-то виноват.

— Так попроси его как следует, — князь поднял и опустил брови, словно не понял, почему Путята до сих пор сам не догадался этого сделать.

Его дружина замолчала и перестала жевать, с любопытством глядя на происходящее.

— Ну? — Путята пристально посмотрел на Лешека и дернул подбородком.

Лешек опустил голову и слегка приподнял плечи. Человек, сидевший во главе стола, виновен в смерти его отца и деда, и надо быть последней мразью, чтобы петь, глядя на его равнодушное, искаженное брезгливой гримасой лицо. Но от страха язык прирос к нёбу, и Лешек только покачал головой, еще сильнее втягивая ее в плечи. Путята оглянулся на кивнувшего князя и ударил Лешека по лицу ребром ладони, от чего тот отлетел к стене и, не имея возможности помочь себе руками, сполз на пол. На глаза навернулись слезы, не столько от боли, сколько от страха и обиды. Воин поднял его на ноги за воротник и притянул его лицо к себе.

— Ну?

Лешек зажмурил глаза и покачал головой, глотая слезы. Путята отшвырнул его от себя на шаг-другой и повернулся к князю.

— Златояр, даже соловей не поет в клетке, или ты об этом не знаешь? — со злостью сказал он и распрямил плечи.

— Неужели? — усмехнулся князь. — А ведь действительно, об этом я не подумал.

Он захихикал противным тонким смешком и потер руки. Лешек глубоко вдохнул и сжал правый кулак,

представив, что в нем лежит топор громовержца. Но вместо твердости и спокойствия ощутил вдруг злобу, смешанную с отчаяньем. Подбородок его задрожал, и слезы с новой силой готовы были хлынуть из глаз — страх превратился в обреченную решимость. Ему нечего терять! И неважно, кто его замучает: Дамиан или Златояр.

— Развяжи ему руки, — кивнул князь, и Путята не замедлил исполнить приказ.

Лешек, с трудом сдерживая дрожь, потер запястья и пошевелил пальцами, словно собирался кинуться на князя с кулаками. А потом вскинул голову и не мигая посмотрел на Златояра.

— Я спою тебе, князь, — сказал он, тяжело дыша, — и я не знаю, кто из нас сильнее пожалеет об этом.

Лицо Златояра изменилось, улыбка сползла с губ, он перестал жевать и готов был выплеснуть наружу гнев, но не успел: Лешек хорошо знал силу своего голоса, и первый же звук затолкнул гнев князя обратно ему в глотку.

Он пел об огне, который снится князю, и о предсмертных криках тех, кого этот огонь пожирает, о том, как эти крики не дают ему покоя, как он зажимает уши, но все равно слышит их и корчится на полу, в надежде, что они когда-нибудь смолкнут.

Он пел о предательстве и вероломстве, о нападении на спящих — и о деревне с богатым урожаем.

Слова исторгались из его глотки, словно плевки, — князь, задохнувшийся, с искривленным ртом, откинувшись на высокую спинку стула, будто намертво пригвожденный к ней. Воины приподнялись с мест и замерли неподвижно, не смея отступить назад. Наверное, никогда в песне Лешек не изливал гнева, и гнев этот был подобен огромной волне, несущейся по глади озера и сминающей большие корабли, словно утлые лодчонки.

Он пел о вечерах, на которых князь слушал сказки о богах, и о том, что боги не забыли этих вечеров. Он пел о моровом поветрии и о иереях, спасавших людей молитвами, которых никто не слышит, о ревнивом боге и его слугах, одетых в черное, о дружине князя, посланной им на помощь: сдержать и напугать людей.

Он пел о чести и тугой мошне, о власти и правде, о силе и несмываемом позоре и снова о пылающем огне,

который никогда не даст князю покоя. И о мертвецах, по ночам встающих из-под земли, чтобы занять места в изголовье княжеской постели, тянущих к нему обугленные руки и проклинающих его сторовшими губами.

Он пел долго и не останавливался, потому что гнев никак не мог излиться до конца, тяжелыми валами накапывая на грудь. Только возвращались к нему от внимавшего князя страх и слезы, и Лешек ненасытно пил его раскаянье и обрушивал на него новые валы гнева.

Мертвая тишина сковала всех, когда Лешек смолк, и лишь огонь, взметнувшийся в очаге, шумел, напоминая о только что спетой песне... Князь, скорчившийся на широком стуле, долго оставался неподвижным, так же как и его потрясенная дружина, а когда поднял старческие, слезящиеся глаза, в них плескалась нестерпимая боль.

— Велемир? — он умоляюще глянул на Лешка.

— Меня зовут Олег, — слотнув, ответил тот. Он впервые назвал имя, полученное им при рождении.

* * *

Колдун приехал из монастыря сжимая кулаки и скрежеща зубами, кинул поводья на коновязь и бегом взлетел на крыльцо. Лешек, который грелся на солнышке возле дома, успел удивиться и испугаться: лицо колдуна было серым, угол его губы подергивался, а глаза метали молнии.

— Охто, что-то случилось? — спросил Лешек, вслед за ним входя в дом.

Колдун уже поднял тяжелую крышку сундука и выкидывал на пол вещи — шкуру, бубен, пояс с оберегами.

— Да, случилось... — ответил он мрачно. — С юга идет поветрие. Мор.

— Ты хочешь... Ты будешь просить богов?

— Я буду просить у богов ясного неба. Если успею. Это страшный мор, я никогда не видел такого, только слышал от деда и читал в книгах. Пока он ползет медленно, и умирают люди медленно, но через некоторое время он полетит по земле быстрее ветра, и смерть начнет выкашивать всех без разбора.

Он сел на пол рядом со своими вещами и стукнул кулаком по коленке.

— Я ненавижу монастырь, я ненавижу их злого бога! Малыш, ты подумай, что они сделали! Они пришли в деревню, между прочим, не их деревню, и помогли местному иерею: собрали всех жителей, прошли вокруг деревни крестным ходом, вернулись в церковь и причастили всех, всех до единого! И здоровых, и больных!

— И что... теперь тем, кто умрет, придется идти к Юге? — не понял Лешек.

— Теперь они напрямик отправятся к Юге, все! Все, понимаешь? — колдун снова хлопнул себя по коленке. — Теперь заболеют и те, кто был здоров! Дикари! Невежды! И они смеют говорить, что несут с собой свет! Да еще наши прадеды знали, как останавливать мор! И никак не крестным ходом и причащением!

Он рывком поднялся на ноги:

— И это только первая деревня! Они как тараканы расползаются по земле!

Лешек раскрыл свой сундук и тоже начал собирать вещи:

— Я поеду с тобой.

Колдун вскинул глаза:

— Ты останешься дома.

— Почему? Охто! Я уже не ребенок, или ты забыл?

— Ты останешься дома, — твердо и мрачно повторил колдун.

— Но почему? Разве тебе не потребуется помощь? Зачем ты тогда учил меня столько лет?

— Малыш... Я не знаю, лечит ли эту болезнь хрусталь... И если нет — я могу только говорить с людьми, только делать вид, что я прошу богов остановить мор, а на самом деле... Тебе там нечего делать.

— Ну и что? Я тоже могу говорить с людьми, я буду помогать тебе!

— Малыш, ты можешь заболеть, — коротко сообщил колдун, — поэтому ты останешься дома.

Лешеку вдруг стало очень страшно. Он сел на кровать и запинаясь спросил:

— Охто... А ты? Ты тоже можешь заболеть?

— Да.

— И что? Если хрусталь не лечит этой болезни, ты умрешь?

— Возможно.

Лешек опустил голову и помолчал, а потом робко тронул колдуна за плечо:

— Охто... Можно я все-таки поеду с тобой?

— Нет, — резко ответил колдун.

— Я не могу отпустить тебя так просто...

— Можешь. Малыш, твое предназначение не в этом, как ты не понимаешь?

— А твое?

— А мое предназначение — лечить людей. Я всю жизнь учился этому, и, кто знает, может, это мой час?

Он упаковал вещи и кликнул матушку, чтобы она собрала ему еды в дорогу.

— Охто, но послушай... — Лешек ходил за ним по пятам. — А если монахи захотят помешать тебе?

— Пусть попробуют, — бросил колдун через плечо.

— Тебе не кажется, что ты... просто храбришься?

— Конечно храбрюсь. Но я все-таки колдун, ты не забыл? И я не позволю этим ловцам душ... — он со свистом втянул в себя воздух и не стал продолжать.

И в первый раз достал со дна сундука меч в красивых инкрустированных ножнах.

— Видал? — гордо спросил он и улыбнулся Лешеку. — Эту штуку мне подарил старый дружник в Удоге. Это случилось, когда на город напали свеи, они часто на нас нападали. Мне было лет пятнадцать, и я, по дурости, сунулся в бой, как все мужчины.

— И за это он подарил тебе меч?

— Нет, — хмыкнул колдун, на ходу прикрепляя меч к поясу. — Мое участие в бою закончилось бесславно, меня оглушили первым же ударом и хорошо, что не затоптали. После боя, когда я пришел в себя, мы с дедом лечили раненых, многих нам удалось спасти, в том числе этого старого воина. И тогда он отдал мне меч со словами: «Никогда не лезь в бой, жди своего часа, но если враг подойдет к тебе вплотную, защищайся». Мы вскоре ушли из Удоги, и больше мне не доводилось бывать в бою. А теперь... Вот я и дождался своего часа...

— Охто, но ты же не умеешь им пользоваться!

— Кто тебе сказал? Для меня пятнадцатилетнего это был такой подарок! Как же я мог не научиться? Тогда о боевой славе я мечтал гораздо больше, чем о лекарской

стеze, во мне же течет варражская кровь, — он рассмеялся и вскочил на коня. — Я поехал, мне надо спешить. На всякий случай: серебро лежит в дупле раздвоенного дуба, помнишь? Где осиное гнездо.

Лешек растерялся — он не думал, что колдун уедет прямо сейчас! Ему так многое хотелось сказать ему на прощанье, так о многом расспросить! И эти его слова о каком-то дурацком серебре! Как будто он и вправду не собирается возвращаться!

— Охто, погоди! Я тебя хотя бы провожу! — крикнул он в отчаянье.

— Нет, не надо. Оставайся здесь и не уходи далеко от дома. На охоту не ходи, вообще в лес не суйся, сиди и читай Ибн Сину.

Он хотел тронуть коня с места, но Лешек вцепился ему в стремя:

— Охто! Охто, не уезжай! Пожалуйста, не уезжай!

— Да что ты, малыш? — глаза колдуна стали влажными. — Как же я могу не ехать?

Но Лешек припал щекой к его руке и взял ее в объятия.

— Не уезжай, Охто! Я прошу тебя! У меня никого больше нет, кроме тебя! Как я буду жить без тебя?

— Малыш... — колдун вздохнул. — Я, наверное, все-таки вернусь... Я ведь не умирать еду, а лечить людей. И потом...

Он погладил Лешека по голове, не торопясь вырывать руку из цепких объятий.

— И потом, знаешь... На краю света, за далекими непроходимыми лесами, меж кисельных берегов течет молочная река Смородина. Там, за Калиновым мостом, нас ждут наши прадеды. И... в случае чего... я буду ждать тебя там, хорошо? Хотя я и не твой отец, я все равно буду тебя там ждать. А сейчас мне надо спешить.

Лешек кивнул, не в силах ничего сказать, и медленно, неохотно выпустил руку колдуна. Тот тронул коня с места, и Лешек сел на землю, не удержав слез.

Колдун вернулся через три дня, в субботу на рассвете, — посеревший, с запавшими глазами, но живой. Лешек купался и увидел его издали, но тот крикнул ему:

— Не подходи ко мне! Уйди в дом!

Лешек не посмел его послушаться и из окна смотрел, как колдун топит баню — топит по-черному, и, вместо того

чтобы подождать на улице, купается в едком дыму, кашляет, вытирает слезы, выходит на воздух, чтобы отдышаться, и снова возвращается в дымную баню. Только через три часа, накалив печь докрасна, он наконец вымылся, даже не окунаясь в речку, и выбрался на воздух, сел в тень, тяжело дыша, с красным лицом и не менее красными, воспаленными глазами, которые разбел дым.

— Собирайся, малыш, — сказал он, когда Лешек подобрался к нему сзади, — поедешь со мной. Мне нужен помощник.

Лешек боялся поверить своему счастью — как? Неужели колдун передумал?

— Охто! Ты же велел мне сидеть дома! — радостно засмеялся он.

— Крусталь лечит эту болезнь. Нам ничего не угрожает, кроме дружины монахов. Рядом со мной ты будешь в большей безопасности, чем здесь. Сегодня поедем к нам на торг, объедем деревни, какие успеем, а вечером двинем на юг. Мор идет медленно, и, если бы не монахи со своими крестными ходами и гнусными проповедями, я бы его остановил. Кстати, можешь попариться, я натопил так, что в баню заходить страшно. Уезжаем надолго, когда еще помыться доведется...

— Расскажи хоть, как там? Что с тобой было?

— Да ничего со мной не было. Там, куда монахи не заходили, больные есть, но немного, я их вылечил. А там, где они уже помолились, дела обстоят гораздо хуже: люди болеют, через одного болеют. Три ночи не спал, ходил по домам. Одному тяжело: и погоды проси, и лечи, и ухаживай, и объясняй, что дальше делать. Да и повеселей вдвоем. Иди мойся, я подремлю немного. Но как только соберешься, сразу меня буди, ладно?

Лешек кивнул: если надо успеть на торг, то больше часа колдуну спать не придется — время катилось к полудню. Он быстро помылся, собрал вещи и разбудил колдуна только тогда, когда оседлал коня.

— Что? Что такое? — не понял колдун.

— Пора. Я готов, — сказал Лешек.

— Правда? Мне показалось, что я только что закрыл глаза... — колдун, кряхтя, поднялся. — Поехали.

Лешек с жалостью смотрел, как его шатало по дороге к коновязи, — может быть, стоило отдохнуть немного и

только потом ехать по деревням? Но колдун сказал, что нарочно вернулся к субботе, чтобы застать на торге как можно больше людей.

Там-то и пригодилось умение Лешека собирать народ своим пением. И когда вокруг выросла толпа, колдун, который не любил говорить прилюдно, обратился к ней с долгой речью.

— Вы слышали, что с юга на нас идет поветрие? Вчера я говорил с богами и просил их мор остановить.

Лица людей помрачнели и насупились: о поветрии, которое еще не дошло до села, им думать не хотелось, но страх уже глодал их сердца.

— Что сказали боги, Охто? — выкрикнул кто-то. — Они не оставят нас?

— Какие жертвы им нужны?

— Боги просят жертв, но не таких, как всегда. Боги запрещают ходить в лес, убивать животных, как диких, так и домашних. Боги велят сидеть по своим дворам и до первого снега не появляться на торге.

— А праздники? А урожай?

— Праздновать будем, когда уйдет мор. Боги не хотят веселья, когда вокруг царит смерть. Им нужно другое: они велят каждый день топить печи в домах и париться в бане. Каждый день, вы слышали? Дымы должны виться над каждой деревней, над каждым двором. Дым — та жертва, которая нужна богам.

— Летом? Топить дома?

— Да! Так хотят боги. Дым и пар каждый день, и мор обойдет нас стороной. Если же сюда явятся монахи из Пустыни, гоните их топорами и вилами. Того, кто пойдет к причастию, боги спасти не станут.

— Охто, а с кем из богов ты говорил? — подозрительно спросил человек из первого ряда.

— Я говорил с Власом и Мокшей, — невозмутимо соврал колдун. — И если ты мне не веришь, то вспомни или спроси своего отца: сорок лет назад, когда меня тут еще не было, волхвы несли от богов те же вести.

— Правда, — негромко сказал старик, стоявший в стороне. — Во время мора боги всегда требуют дыма, я помню. Мор обходит стороной тех, кто каждый день топит печь.

Потом на колдуна посыпались вопросы, и он с готовностью отвечал: можно ли косить сено, можно ли стирать

белье, как обмолачивать хлеб, как доить коров. Прошло не меньше часа, прежде чем люди отпустили его, и они с Лешекком направились в ближайшую деревню.

— Как легко со своими! — улыбнулся колдун. — Попробуй скажи что-нибудь подобное на юге! Там нужны зрелища, которые переплунут церковные действия.

До вечера успели заехать в две деревни, рассказать старикам о «требовании богов» и послать гонцов в разные стороны, куда не успели добраться сами. А потом колдун гнал коней на юг, в сторону монастыря, надеясь хотя бы к утру поспеть в Лусской торг.

— Пропадает ночь, луна пропадает! — ругался он по дороге. — Не успеть сегодня, точно не успеть!

— Охто, ты все делаешь правильно! — ворчал Лешек. — Не надо себя напрасно корить!

— Знаешь, когда я думаю, что там, на юге, может быть, умирают люди, я не могу думать о том, что все делаю правильно. Я мог бы послать на север Невзора, ему бы поверили быстрее, чем мне. Или... Я мог бы оставить ему хрусталь... Но я испугался чего-то — не знаю, чего.

На закате они добрались до Пустыни, молчаливой и обезлюдившей, но до Лусского торгога не доехали: на берегу Выги, неподалеку от Никольской слободы, им повстречался конный монах, из числа дружников Дамиана. Оказалось, что колдуну он знаком, поэтому они остановились и раскланялись.

— Ты откуда так спешно? — спросил колдун.

— Из Дальнего Замошья. Мор, в каждом дворе больные! Отец Нифонт умирает, послушник Лука в горячке. Мы три дня назад там служили, было всего двое больных! А сегодня — все, в каждом дворе! Шестеро умерло, отец Нифонт исповедал, причастил и сам свалился.

Колдун поморщился, но ничего не сказал, и монах продолжил:

— Еду в Пустынь, надо собирать иеромонахов по нашим деревням — некому исповедовать, некому причащать...

— Лучше бы ты туда не ездил... — пробормотал колдун.

— Не могу. Дамиан шкуру спустит, — монах невесело усмехнулся. — Я бы отсиделся где-нибудь, так ведь велено всем: по деревням. Да и жалко Нифонта: без причастия ведь умрет. Луку он причастил, а его кто причастит?

Колдун снова скривил лицо, а Лешек обмер: Лука — это же Лытка! Лытка!

— Охто! Поедем скорей! — дернул он колдуна за рукав. — Поедем! Может, мы еще успеем!

— Поедем, — мрачно выдавил колдун. — Напрямик поедем, через Бугры. Три часа езды, не больше. Луна через час взойдет.

Выга в том месте делала изгиб к Лусскому торгу, по ней до Дальнего Замошья можно было ехать от рассвета до заката, напрямую же пробираться получалось быстрее, но труднее — между крутых берегов Выги лежало холмистое урочище. Они распрощались с монахом, и Лешек пришпорил коня, обгоняя колдуна.

— Ты куда рванулся? Убьешься в темноте, — прикрикнул колдун.

— Это же Лытка! — крикнул ему Лешек. — Послушник Лука — это Лытка!

— Да знаю я... — буркнул колдун.

Через реку перебирались вплавь, рискуя лошадьми, хотя колдун и выбрал узкое место. И темно было хоть глаз коли — месяц прошел с летнего солнцестояния, и прозрачные сумеречные ночи сменились непроглядной чернотой.

Колдун ехал впереди, осторожно выбирая дорогу по тропе крутого берега, а Лешек нетерпеливо подгонял его и изнывал от невозможности двигаться быстрее. Он с трудом различал тень колдуна, хотя ехал уткнувшись в хвост его лошади вплотную. Кони поминутно спотыкались и вздрагивали, слыша, как осыпается под их копытами красный глинистый берег. Но и поднявшись на самый верх, ехать быстрее не смогли: спускались так же осторожно, потом снова поднимались на новый бугор и спускались — теперь уже к Выге. Колдун безошибочно вышел к воде неподалеку от Дальнего Замошья, и снова пришлось перебираться через реку вплавь.

Луна к тому времени поднялась высоко над рекой, и темный силуэт обыденной церкви, возвышавшейся над домами, они увидели издалика. Колдун пустил коня во весь опор по обмелевшему песчаному берегу, и теперь Лешек едва за ним поспевал.

Несмотря на поздний час и погашенные огни, деревня не спала: то там, то здесь слышны были причитания

и стоны, изредка хлопали двери, а из узких окон церкви отчетливо несло «Богородице дево, радуйся».

— Вот радость-то богородице — такой богатый урожай, — прошипел колдун и направил коня к церкви.

Дверь в храм была открыта нараспашку, а перед образом Тимофея Чудотворца, напротив входа, горела одинокая свеча, пламя которой вот-вот грозил погасить ветер. Свет луны, проникая в узкие окна, едва освещал мрачные образа по стенам церкви — согбенные черные фигуры, непременно держащие в руках кресты: двенадцать Посланцев. Лешку показалось, что черные фигуры наступают на него и хотят взять в кольцо, и на секунду страх охватил его и два пальца потянулись ко лбу — если он осенит себя крестным знаменем, они его не тронут, отпустят восвояси. Лунные лучи, осязаемые в густой темноте, устремлялись к распятию — довольно грубому, простому, — и благостное лицо Иисуса никак не соответствовало его плачевному положению. Рядом с ним богородица с закотившимися глазами тетешкала на коленях тощенького младенца, и их умиротворение не вязалось с мертвенным лунным светом, и одинокой трепыхавшейся свечой на ветру, и запахом — странным сладким запахом, смешанным с ароматом ладана и горящего воска.

В углу, недалеко от входа, скукожившись сидел послушник в скуфье, натягивая подрясник на колени, и пел высоким, надтреснутым голосом. «Богородице дево» закончилась, и он затянул «Господи, воззвах». Лешек не узнал его — он был совсем юным. Глаза послушника, неестественно расширенные, неподвижно смотрели в одну точку на пустой стене, и взгляд его ничего не выражал.

— О чем молишься? — бесцеремонно спросил колдун, подойдя к послушнику вплотную.

Послушник не сразу его услышал, продолжая петь, но вдруг закашлялся, глаза его расширились еще сильнее, и из них побежали крупные слезы.

— Все помрем тут... во славу Господа... — прошептал он.

— Где отец Нифонт? Где Лытка? — спросил колдун немного ласковой.

— Отец Нифонт — вон лежит, — послушник ткнул пальцем в аналой. — А Лытка в угол уполз, к распятию поближе.

Лешек посмотрел на аналой: перед ним на полу лежало мертвое тело с запрокинутой головой, и острая борода смотрела в потолок. Руки старца кто-то сложил на груди, поставив в них свечу, но свеча согнулась и погасла. Колдун мельком глянул на мертвеца и подошел к распятию. В тени кануна, обхватив руками основание креста, ничком лежал Лытка — Лешек узнал его сразу, несмотря на прошедшие годы, несмотря на то, что не увидел его лица.

Колдун расцепил его безвольные руки и повернул лицом вверх, внимательно прислушиваясь к его дыханию.

— Помоги мне его раздеть, — велел он Лешеку.

— Святотатство творите, — проворчал из своего угла послушник, — не баня здесь, чай.

— Помолчи, — отмахнулся от него колдун.

— Я вот дружников позову.

— Ты помирать, кажется, собирался, — хмыкнул колдун, — вот и помирай.

Он отодвинул распятие в сторону и положил Лытку так, что теперь на него падал пучок лунного света. Несколько минут он осматривал голое тело, прикладывал ухо к груди, щупал пах и подмышки, а Лешек увидел на нем широкий шрам вокруг пояса. Послушник, до этого молчавший, снова затянул «Богородице», только совсем тихо и хрипло.

— Лытка, — шепнул Лешек и тронул горячую, заросшую густой красивой бородой щеку, — Лытка, ты слышишь меня?

— Он не слышит, — сказал колдун и застонал, громко и протяжно.

— Что-то не так? — испугался Лешек.

— Я опоздал, малыш... — прошептал колдун. — Я напрасно ездил на север, мне надо было оставаться здесь...

— Он... он умрет? — Лешек почувствовал, как слезы встают в горле.

— Нет, он не умрет, не бойся. Но это уже не тот мор, что медленно полз по земле. Теперь он полетит по деревьям быстрее ветра и никакие думы от него не спасут... Мне горько и страшно, малыш... Я не смогу его остановить... У меня только один хрусталь.

— Но... откуда ты знаешь?

— У всех, кого я лечил еще позавчера, в паху или под мышками набухали большие желваки. Мой дед рассказывал, что пока людей убивают эти желваки, которые зреют медленно, иногда дольше недели, от мора можно спастись дымом и паром. А потом, в одночасье, люди начинают умирать просто так, от горячки. Никаких желваков у них нет, они умирают без всяких причин, задыхаются. И мор летит по земле, словно его несет ветер, и убивает целые деревни. Спасения от него нет. И не только мой дед знал об этом, я читал об этом в книге о лихорадках. Ты видишь? У Лытки нет никаких желваков, никаких язв, а губы посинели, как будто ему не хватает воздуха.

Колдун достал из кошельа хрусталь и глянул на луну, пробивавшуюся в церковь сквозь окно.

— Я даже не знаю, куда направлять луч... — пробормотал он. — Приподними ему плечи, я буду светить на сердце.

Лешек с трудом усадил тяжелого Лытку, и размякшее тело его норовило сползти на пол. Колдун светил желтым лучом Лытке на грудь, и через несколько минут Лешек почувствовал, что Лытка шевельнулся и застоялся. Неожиданно горячие плечи, за которые Лешек держался руками, промокли — в одну секунду тело Лытки покрылось потом, словно его окатили водой. И пот этот был холодным и липким.

— Наверное, хватит... — пробормотал колдун, продолжая светить на сердце желтым лучом. — Хвала Змею, что я могу сказать... Я пойду по деревне, а ты вытри его, одень и вынеси на воздух — мне кажется, тут все пропитано ядом. Возьми мой плащ, он в седельной сумке. Потом догонишь меня, ладно?

Лешек кивнул. Колдун поднялся и осмотрел церковь еще раз.

— Красиво рисуют и красиво поют, — хмыкнул он, — этого у них не отнять...

— Разве это красиво? — удивился Лешек, снова глянув на образа двенадцати мрачных Посланцев.

— Да. Ты просто не замечаешь, потому что любовался на иконы много лет. И неважно, что на них нарисовано, — колдун качнул головой, быстрым шагом направился к выходу и крикнул насупившемуся послушнику:

— Эй ты, будущий покойник! Пошли со мной. Господь услышал твои молитвы — ты останешься в живых.

Лешек сначала вытащил Лытку из церкви, под раскидистые ивы, росшие кругом, и увидел, как колдун светит хрусталем на грудь ошалевшего послушника. Он вытирал потное тело друга своей рубахой и время от времени заглядывал ему в лицо — не придет ли тот в себя? И наконец Лытка очнулся и посмотрел на Лешека, приоткрыв растрескавшийся рот, — в восторге, с благоговением и небывалым удивлением.

— Господи Иисусе... — услышал Лешек шепот непослушных губ. — Господи, прими меня в свои небесные чертоги...

— Лытка, да что ты, Лытка! Ты будешь жить! Все хорошо!

— Правда? — подобие улыбки коснулось его губ. — Я буду жить, чтобы нести по земле твою славу и твою величие...

Лешек рассмеялся, и слезы поползли у него по щекам — от радости. Лытка... Самый отважный, самый сильный и добрый... Он оставил друга на попечение послушника, велел тому поить Лытку водой как можно чаще, а сам побежал догонять колдуна — поговорить с другом можно потом, сейчас колдуну он нужнее.

Пока луна не растворилась в предрассветном небе, колдун успел обойти десяток дворов, поднимая на ноги больных, и весть об этом мгновенно облетела деревню — люди несли к нему родных на руках, понимая, что летняя ночь коротка и до их двора колдун может не дойти. Лешек, осматривая больных, выстраивал их в очередь, пропуская вперед детей и тех, кто был совсем плох и не дотянул бы до следующей ночи, объяснял, как надо ухаживать за ослабленными и как хоронить мертвых, — дел ему хватало. Поближе к рассвету ему и вовсе пришлось успокаивать толпу людей, кричавших, плакавших и требовавших вылечить именно его мать, сына, мужа или жену, — луну провожали с воем, причитаниями и страхом. Едва появившаяся надежда угасала на глазах, и Лешек, как мог, старался быть ласковым с людьми. Ему помогали взрослые мужчины, строго следя за соблюдением очереди, и только благодаря им Лешек не разорвали на куски те, кому он обещал выздоровление следующей ночью.

Когда взошло солнце, колдун спрятал хрусталь обратно в кошель и поднялся на ноги, обзвывая стонущую толпу.

— Завтра времени хватит на всех, — он с сожалением пожал плечами. — А сейчас послушайте меня. Я прошу тех, кто здоров и силен, собрать дров на краду: нам надо похоронить мертвых.

— На краду? — испуганно пискнул кто-то из женщин. — Но ведь так хоронить нельзя, отец Феофан запретил нам...

— И где он, отец Феофан? — злобно спросил уставший колдун.

— Он... Он умер третьего дня...

— Царство ему небесное, — выплюнул колдун. — Мертвых — на краду. Бог отца Феофана не спас вас от болезни, а мои боги, как видите, не оставили вас. Или вы мне все еще не верите? Во славу наших богов, мертвых — на краду. После того, как мы похороним всех, я прошу вас не покидать своих домов и тем более не выезжать из деревни. Топите печи, топите бани — боги хотят дыма, огня и пара, и они не оставят вас. Если хоть один человек, даже монах, сегодня покинет деревню, я уйду, и ничто не спасет вас от смерти — ни молитвы монахов, ни лунный свет.

Люди молчали, со страхом глядя на колдуна. А он и вправду был страшен: темные глаза глубоко запали и смотрели на толпу будто из пустых почерневших глазниц, кожа на лице приобрела землистый оттенок, и время от времени подергивался угол рта. Под конец своей речи он пошатнулся, и Лешек еле успел поймать его под руку.

— Охто, я помогу собрать дрова, отдохни...

— Нет, малыш, тебе одному будет не справиться. После погребения отдохнем, до самого восхода луны будем спать.

И он оказался прав: сложить краду для пятнадцати умерших Лешек бы не сумел — слишком большое и сложное это было сооружение. Из деревенских только старики помнили последние погребальные костры, да и те возжигали их от случая к случаю: в Дальнем Замосье жили люди, пришлые из всеволодских земель, и почти все они крестились при рождении.

Колдун выбрал место неподалеку, но так, чтобы высокий огонь не мог перекинуться ни на дома, ни на лес: примерно в полуверсте от деревни, на крутом берегу реки. Трудились долго, возводя огромный дровяной круг, и рыли вокруг него канавку, и ставили высокий соломенный тын и домовину из тонких бревен — на самую верхушку костра. Людей собралось много, кто-то благоговел перед колдуном, кто-то его опасался, кто-то хотел поблагодарить, а кто-то — умиловать. Солнце высоко поднялось над землей, когда мертвых из деревни понесли на костер, — похоронное шествие растянулось длинной змеей.

— Пойдем, похоже, кроме нас некому похоронить отца Нифонта, — колдун подмигнул Лешеку. — Он все равно без причастия умер, так что какая ему теперь разница?

Лешек подумал, что молоденький послушник мог бы им помочь, но когда они вошли в церковный двор, то увидели, что оба послушника обнявшись спят на траве, в тени ив. Лешек подошел поближе, всматриваясь в лицо Лытки, но тот не проснулся: на щеках его появился легкий румянец, и круги под глазами немного посветлели.

— Ну? — позвал колдун.

Лешек кивнул и вошел вслед за ним в церковь.

При свете дня там было не так мрачно: солнечные лучи с разных сторон освещали темные образа, и Лешек вспомнил слова колдуна о том, что они красивы. Но, сколько ни всматривался в сутулые фигуры, закутанные в бесформенные одежды, красоты он в них не нашел.

Колдун осмотрелся и заглянул в алтарь, а вернулся, держа в руках яркую золоченую ризу.

— Оденем его красиво, — он глянул на покойника с жалостью и спросил у Лешака: — Ты знал его при жизни?

— Он был моим духовником... — ответил Лешек, поморщившись, и поспешил добавить: — Нет, он был не вредным, и наивным немного... Мы его обманывали и смеялись потом: он всегда верил нашим исповедям. И епитимии назначал со вздохом, и искренне считал, что они нам помогают. И в бога он тоже верил. Охто, может, не надо его на краду? Пусть его братия хоронит.

— Малыш, видишь ли... Это не вопрос веры. Во время поветрий наши предки сжигали мертвых и никогда не

ждали положенных трех дней. Мертвые тела источают яд, и только огонь уносит его на небо. А братия повезет тело в обитель и станет отпевать, похоронит в земле, и яд этот будет сочиться из могилы.

Лешек вздохнул и согласился: колдун все делал правильно. Они облачили покойного в ризу и положили тело на срачицу, которую колдун беззастенчиво стащил с престола. Вдвоем нести тело было тяжело и неудобно, несмотря на то, что отец Нифонт не отличался большим весом, — тщедушный старичок, когда-то он казался Лешеку огромным и сильным, как бог, от имени которого говорил.

Они проходили ворота церковного двора, когда сзади раздался крик послушника:

— Куда! Стойте!

Колдун не остановился и не оглянулся, и послушник догнал их за воротами церкви.

— Вы что! Куда вы его несете? — он забежал вперед, но колдун и тут не остановился.

— Я дружников позову! — крикнул послушник. — Не трогайте отца Нифонта!

При свете дня лицо его показалось Лешеку знакомым; наверное, он все же был из приютских, только изменился за эти годы. Послушник отчаялся докричаться до колдуна, махнул рукой и побежал в противоположную сторону, вдоль церковной ограды, — не иначе, и вправду звать дружников.

Конский топот за спиной Лешек услышал, когда они не успели пройти и половины пути до крады, а похоронное шествие давно достигло реки, — их догоняли двое монахов: без клобуков, в подрясниках, поверх которых были надеты кольчуги, и держа топоры наготове.

— Охто! — крикнул Лешек. — Ты слышишь?

— Слышу, — невозмутимо ответил колдун и тяжело вздохнул. — Опускаем.

Монахи догнали их быстро — колдун едва распрямился и шагнул им навстречу, оттесняя Лешека с дороги. Лица дружников, помятые и недовольные, ясно говорили о том, что их только что разбудили. Колдуна в монастыре, наверное, знали все, от мала до велика (не так часто в Пустыни появлялись посторонние), поэтому монахи остановили коней и

обратились к нему довольно почтительно. Одного из них Лешек знал — когда-то тот был послушником, которого Дамиан принял в свою «братию», а вот второго, постарше, он видел впервые.

— Зачем ты забрал тело из церкви? И вообще, что там происходит? — старший указал в сторону крады.

Колдун ответил, нисколько не смущаясь:

— Мы хороним умерших.

— Что, без отпевания? И где вы их хороните? Почему не у церкви?

— Потому что это наше дело, как и где хоронить своих мертвецов, — спокойно сказал колдун. — Кто-то же должен позаботиться об этом.

Монах помолчал секунду — ответ колдуна его явно смутил, но придумать возражение он затруднялся, и тогда в разговор вступил младший:

— Но отец Нифонт — не ваш мертвец. Мы отвезем его в обитель и похороним там.

— Тело отца Нифонта источает яд, — колдун пожал плечами, — вы принесете в обитель смерть.

При этих словах оба монаха непроизвольно осадили лошадей, и младший перекрестился, но не замолчал:

— Господь не позволит мору перешагнуть порог монастыря. За стены обители смерть никогда не проникнет!

Колдун кивнул и сморщил лицо:

— Нет, ребята. Не Господь — я вам этого не позволю. Тело отца Нифонта не покинет Дальнего Замощья. И, если отпевать его некому, придется хоронить без отпевания.

— Кто дал тебе право решать?

— Я сам взял себе это право. И не советую вам его оспаривать.

При этих его словах младший снова испуганно осенил себя крестным знаменем, а старший посмотрел на него удивленно. Лешек хмыкнул: наверняка младший помнит приютские байки о том, что колдун ворует и ест детей, а при желании может превратить человека в камень.

— А если мы его все же оспорим? — бесстрашно спросил старший.

Колдун поднял брови и терпеливо объяснил:

— Вы погубите себя, братию и жителей тех деревень, мимо которых повезете тело. И не надейтесь на своего бога — он вас не спасет.

Монахи чувствовали себя неуверенно — колдуна в монастыре не причисляли к врагам, он лечил братию, и применить оружие дружники не решались: в вопросах богословия они, несмотря на постриг, были не сильны, никто не отдавал им никакого приказа, а слова колдуна пугали, да и колдун в тот миг казался той самой смертью, которую им пророчил.

Колдун, видя их замешательство, кивнул Лешеку, они подняли носилки с телом и двинулись вперед, оставив дружников размышлять, что требуется делать в подобных случаях. Но как только тропа вывела их на высокий берег реки, на водной глади сразу стала видна лодка и черные фигуры монахов в ней. Они гребли к берегу, завидев скопление людей. Конные дружники закричали и замахали им руками, указывая на колдуна с Лешekom, и лодка взяла немного левей.

— Охто, послушай... — начал Лешек, когда колдун оглянулся и всмотрелся в лодку. — Я думаю, ты напрасно... Не стоит их злить, слышишь? И вообще, мне это напоминает рассказ Невзора о смерти моего деда.

— Напоминает, малыш, напоминает, — ухмыльнулся колдун, — но что ты можешь мне предложить? Бросить все и уйти? Чтобы потом, зимними вечерами, проклинать монахов за их преступления?

— Я не знаю... Но...

— Нет, малыш. Никаких «но» не будет. И я никуда не уйду.

Конные догнали их снова и на этот раз преградили дорогу, не позволяя добраться до крады и людей.

— Пойдите! — велел старший. — Подождите отца Варсонофия. Я думаю, он лучше нас разберется, как нужно хоронить отца Нифонта.

Колдун вздохнул и остановился, сделав Лешеку знак опустить носилки на землю. Лодка причалила к берегу, и Лешек действительно увидел отца Варсонофия — крикливого, желчного иеромонаха, который любил пугать приютских мальчиков геенной огненной и более всего раздражался, когда слышал смех или шумную возню. Он нисколько не изменился за эти годы, как будто время для него остановилось, — не старый, не молодой,

худощавый, узкоплечий, с брюшком, выступавшим далеко вперед, с обвислыми щеками и брюзгливо изогнутым ртом. Вместе с ним из лодки на берег выбрался молодой высокий монах, которого Лешек не знал, и трое дружников Дамиана: в кольчугах под рясами, с топорами и в шлемах поверх клобуков. Высокий монах помогал отцу Варсонофию подниматься на крутой берег, а дружники обогнали их и присоединились к своим конным товарищам, угрожающе глядя на колдуна.

Иеромонах запыхался и, поднявшись, долго не мог ничего сказать, шумно хватая ртом воздух и указуя перстом на тело отца Нифонта. Колдун оставался спокойным, без тени насмешки ожидая, когда Варсонофий заговорит. Лешек же поспешил спрятаться колдуну за спину, хотя иеромонах вряд ли узнал бы в нем какого-то приютского мальчишку.

— Куда? — выдохнул наконец отец Варсонофий.

— Туда, — ответил колдун и махнул рукой в сторону крады.

— По какому праву? — отец Варсонофий так возмутился, что голос его чуть не сорвался на визг.

— Тело отца Нифонта не покинет Дальнего Замошья, — уверенно сказал колдун и вскинул глаза.

— Ты... ты что себе позволяешь?! — снова задохнулся иеромонах. — Ты, проклятый язычник, как ты смеешь прикасаться к телу иерея! Ты ежечасно должен благодарить своих поганых богов за то, что еще жив! Убирайся прочь, пока я не велел утопить тебя в реке, как щенка!

— Я сказал, тело отца Нифонта не покинет Дальнего Замошья, — повторил колдун угрожающе, глаза его блеснули, а рот на мгновение оскалился.

Отец Варсонофий отступил на шаг и перекрестился:

— Сатана! Сам Сатана говорит твоими устами! Я вижу его лик!

— Моими устами говорит здравый смысл, — скривился колдун, — который вам, монахам, почему-то отказывает. Это тело источает яд, и этот яд должен сгореть в огне.

— Что? — взвизгнул иеромонах. — Так это крада! Я так и знал, это крада! Тело инока — на поганый костер? Сжигать православных христиан на потеху идолопоклоннику? Вяжите проклятого язычника! Он смущает народ!

Дружники только и ждали приказа, чтобы вскинуть топоры, но колдун выхватил из ножен меч и отступил на шаг, прикрывая собой Лешека.

— Уберите оружие, — велел он тихо, — сейчас не время выяснять, чьи боги лучше.

Колдун был так уверен в себе, что дружки заколебались.

— Вяжите его! — вскрикнул Варсонофий. — Он хочет надругаться над нашей верой! Я не удивлюсь, если он сам наслал мор на деревню, нарочно, чтобы смущать неокрепшие в вере души поселян!

Колдун ударил мечом в древко топора, который занес над ним один из дружников, и оно громко треснуло, с лязгом металла о металл отразил второй удар и плашмя ударил мечом по голове третьего дружника. Но четвертый, изловчившись, обошел его сбоку, и лезвие топора вскользь прошло по правому плечу колдуна, разрывая плотную ткань кафтана. Плоть чавкнула, и на землю хлынула кровь, но колдун словно не заметил этого, разрубая древко еще одного топора. Лешек вскрикнул и кинулся на спину монаха, ранившего колдуна, краем глаза заметив, что от крады в их сторону бегут люди, много мужчин, и тоже сжимают в руках топоры, только не боевые, а тяжелые, рабочие, которыми только что рубили дрова.

Колдун сломал еще один топор и схватился врукопашную с двумя монахами сразу, а Лешек впился ногтями в горло своего противника — он хотел убить того, кто посмел поднять на колдуна руку, но тот был искушенным бойцом, легко перекинул Лешака через спину и припечатал оземь так, что на несколько минут вышиб из него дух.

— Остановитесь, христиане! — вышел вперед отец Варсонофий. — Колдун наслал на вас мор, чтобы надругаться над вашей верой! Остановитесь!

Но люди, которые бежали на помощь колдуну, пропустили его слова мимо ушей, набрасываясь на дружников Дамиана.

— Стойте! Вы погубите свои души! — кричал иеромонах, а молодой брат закрыл его своим телом, чтобы толпа не смела его со своего пути.

Дружников повязали в одну минуту, но и колдуну на всякий случай заломили руки за спину. Лешек с трудом сел, потряхивая гудящей головой, и попросил поселян, державших колдуна за руки:

— Отпустите его! Вы что, не видите, он же ранен...

Но его просто не услышали, потому что отец Варсонофий заговорил густым басом, как привык говорить на проповедях:

— Кто родственника на краду положит, своими руками его в геенну огненную толкнет, ибо Дьявол только и ждет, как загубить христианскую душу. Разве отец Феофан не говорил вам, как достичь царствия небесного? Разве преисподняя милей вашим сердцам, чем райские кущи? Зачем вы слушаете проклятого язычника, устами которого говорит враг рода человеческого, руками которого он творит зло на земле? Колдовством своим прогневил он Бога на небе, за его грехи вы теперь жизнями расплачиваетесь!

— Ты, отче, тут абсолютно прав, — выдохнул колдун. — Мои боги мора на людей не насылают, только твой злой бог с людьми привык обращаться, как с нашкодившими щенками: чуть что не по нем — либо мор, либо костер, либо распятие!

— Наш Бог, единый и всемогущий, о вечной жизни для паствы своей заботится, а твои идолы — суть деревянные истуканы, и, поклоняясь им, ты свою душу губишь и идущих за тобой в пропасть ада ввергаешь! Люди! Посмотрите! Адское пламя предлагает он вашим родным вместо райских садов! Адское пламя предлагает возжечь он прямо на земле! Зачем? Затем, что Сатане так угодно — не пустить христианские души к Господу! Это колдуны, ведуны да кощунники насылают на людей болезни, по злобности и от бессилия перед Божиим величием. Это они, сотворяя свои поганые действия...

К отцу Варсонофию сзади подошел седобородый немощный старик, которого под руку вел мальчик, и похлопал иеромонаха по плечу:

— Погоди кричать. Что-то не понял я, кто на нас морто наслал: бог твой за грехи наши или колдун по злобности и от бессилия?

Колдун рассмеялся.

— А ты не смейся. Лучше прямо скажи — насылал на нас мор колдовством или не насылал?

— Не насылал, — ответил колдун. — Я тут только сегодня ночью появился, а монахи когда к вам пришли?

— А ведь верно, — сказал тот, кто держал колдуна за руки. — Как монахи пришли, так и началось...

— Врет он, — забасил отец Варсонофий, — врет, нарочно от себя подозрение отвести хочет, на невинных свой грех свалить. Да разве можно верить проклятому язычнику?

— Молчи, — оборвал старик. — Ты нам все о вечной жизни поешь, а кто ее видел, твою вечную жизнь? А колдун сына моего на ноги поднял, ему больше веры.

— Отпустите колдуна, — снова затянул Лешек. — Он же ранен, вы что, не видите?

И опять никто не обратил на его тихий голос никакого внимания.

— Колдун полдеревни спас и остальных вылечить обещал, как только луна взойдет, — сказал кто-то. — А если колдуна обидеть, кто мою сестру лечить станет? А?

— Слово Божие, смирение и молитва — вот лучшие лекарства для души страждущей, — ответил иеромонах. — А волшба и чародейство — путь в адское пламя. Или вы этого не знаете?

— Что-то отцу Нифонту ни смирение, ни слово божье не помогли, — хмыкнул колдун. — Или он недостаточно усердно молился?

— Отца Нифонта Господь милосердный к себе призвал, и не тебе, червяку, рассуждать о промысле Божьем! — возразил иеромонах.

— Это ты, отче, раб божий, червяку уподобляешься, а мои боги от меня унижений не просят, я перед ними на коленях не ползаю, я им, как родителям, в пояс кланяюсь.

— Эй, погоди! — оборвал их тот, кто интересовался судьбой своей сестры. — Так значит, родственников наших, умерших, тоже господь к себе призвал? Так, что ли? Нам радоваться, что ли, надо?

— Надо смиренно принимать от Бога все, что он нам дает: и жизнь, и смерть, — с достоинством ответил отец Варсонофий. — И отец Нифонт умер, души ваши спасая, а вы ему как за подвиг его отплатить хотите? На краду поганую положить, в адское пламя?

— Ты, отче, только о смерти да о мертвых печешься, — сказал колдун, и Лешек заметил, как смертельно бледнеет его лицо, — а я — о жизни и о живых. И я говорю — тело отца Нифонта должно сгореть на краде, дабы яд от него не расползлся по земле и не тревожил живущих.

— Колдун верно говорит, — согласился старик. — Мои деды так же делали во времена поветрий. Огонь и дым останавливают мор.

— Да отпустите же его! — взмолился Лешек. — Что же вы делаете!

— Отпустите колдуна, — наконец услышал его старик. — Колдун нам не враг. А тело монаха несите на краду...

Колдун зажал рану на плече, едва ему освободили руки, но Лешек понимал, что поздно: кровью пропитался весь рукав, и густой красный ручеек тек с ладони, тяжелыми каплями падая на землю.

— Остановитесь! — закричал отец Варсонофий. — Не погубите душу христианскую, иноческим подвигом райскую обитель себе заслужившую!

Он кинулся защищать тело отца Нифонта, и вместе с ним на его защиту встал молчаливый молодой монах, но их оттащили в сторону, и четверо мужчин подняли носилки на плечи.

— Стойте, несчастные! — кричал иеромонах. — Стойте! Что вы творите! Жизнь ваша — мгновение, а вы ради мгновения вечностью пренебрегаете!

— Посадите их в лодку, пусть плывут отсюда по-хорошему, — сказал старик, но колдун его оборвал:

— Нет! Никто не покинет деревню сегодня. Или я уйду и оставляю вас наедине с мором!

— Хорошо, — согласился старик, — отведите их в церковь и закройте там до утра.

— Гореть в огне будете! — зашипел отец Варсонофий. — И колдун вас от геенны огненной не спасет! Что творите? Беззаконие и святотатство! На страшном суде ответите за все!

Колдун улыбнулся, хотел что-то сказать, как вдруг пошатнулся и упал на колени. Лешек подбежал к нему и присел рядом:

— Охто, ты ляг, ляг! Я сейчас тебя перевяжу.

— Да ерунда, просто голова закружилась... — махнул рукой колдун, — пить только хочется...

Люди расходились: часть в сторону деревни — те, кто уводил монахов, а часть — в сторону крады, унося с собой тело отца Нифонта.

Лешек растегнул на колдуне кафтан: кровь протекла и на бок, и под мышку, и на грудь.

— Пожалуйста! — крикнул он уходящим в деревню. — Приведите наших коней. Или принесите седельные сумки! Пожалуйста!

Кто-то из мужчин обернулся и кивнул ему. Лешек осторожно снял с колдуна кафтан и рубаху, но тот даже

не поморщился. Рана была страшная, хотя и не опасная, если бы не потеря крови.

— Рви рубаху, перетянуть надо, — велел колдун. — И не дрожи ты так! Лекарь, тоже мне!

— Охто, тебе ведь больно! Как же...

— Ничего, я как-нибудь потерплю. Недолго осталось. Сейчас перетянешь, промоешь, и я рану кристалем залечу.

— Ты же говорил — сначала луной и только потом солнцем!

— Мало ли что я говорил. Не могу я сейчас луны дожидаться. Промоешь — и хватит, — проворчал колдун, но, помолчав, добавил: — Так только меня можно лечить. И себе, и другим — сначала луна, понял?

— Понял, — вздохнул Лешек, — все я про тебя давно понял...

— Да ладно, — улыбнулся колдун.

— Охто, монахи тебе этого никогда не простят. Разве ты не понимаешь?

— Простят не простят, какая разница? Главное, чтобы не помешали.

Крада вспыхнула высоким бездымным огнем, и жар заставил людей отступить назад. Пламя полыхало долго, и когда клубы мутного дыма устремились в небо, колдун показал на него людям:

— Их души полетели навстречу богам. Не плачьте. Они будут ждать вас и встретят, когда настанет ваш час. Так же, как сейчас их встречают прадеды.

Когда огонь сожрал предназначенную ему жертву и опал, скукожился, облизывая белый пепел, колдун велел насыпать над крадой курган, но до конца работы не дотянул — свалился. Лешек оттащил его в тень высокой травы и сам улегся рядом, надеясь не проспять восход луны. О Лытке он успел забыть.

А с отцом Варсонофием им довелось встретиться в следующий раз через десять дней, в Лусском торге, где каждый день случался крестный ход, и костры пылали по рубежам села — из епархии приехал гонец от епископа с предписаниями, как следует бороться с поветрием: какие молитвы читать, какие иконы выносить на крестный ход, в какие часы совершать службу. Одно

из предписаний гласило: возжигать костры на границах селений, на таком расстоянии, чтобы огонь не мог перекинуться на постройки.

Колдун фыркал на это:

— Слышали звон... Невежды... Кому нужны их костры?

В Лусском торге он уже не выступал открыто против монахов, а потихоньку ходил по дворам, лечил заболевших хрусталем, велел топить печи и бани и не ходить к причастию. Но люди были перепуганы, поэтому слушали всех, кто давал им советы. Они топили печи, парились в банях, выходили на крестный ход, выстаивали многочасовые службы в церкви, исповедовались и причащались. А после отпевания несли своих мертвых в леса, где сжигали их на крадах. Дружина князя им не препятствовала, монахи топали ногами и грозились отлучением от церкви, но «братии» Дамиана явно не хватало, чтобы пресечь языческие погребения.

В довершение загорелся Большой Ржавый мох, и Лусской торг несколько дней тонул в едком дыму торфяного пожара, что не могло не радовать колдуна. Тусклый лунный свет, пробивавшийся сквозь дым, все равно вылечивал горячку.

Невзор в селе не появлялся, но сложил шалаш в лесу, неподалеку, и народ ходил за советами и к нему, что для колдуна оказалось подспорьем. Во всяком случае, хоронили мертвых без его участия, и днем они с Лешком отсыпались после бессонных ночей.

— Ты играешь с огнем, Охто, — повторял Невзор. — Зачем ты используешь колдовство прямо на глазах у монахов?

— Неправда, я колдовать ухожу в лес, — усмехался колдун.

— Ага. А за тобой идет толпа, бо́льшая, чем крестный ход. И о хрустале знают все, от мала до велика. Ты не боишься, что монахам захочется его получить?

— Хрусталь — вещь богопротивная, монахи должны бояться брать его в руки, — с улыбкой возражал колдун. — И потом, они сами так перепуганы, что перестали обращать внимания на крады. Что уж говорить о хрустале. А вообще-то перед таким бедствием, как мор, они могли бы и забыть о наших разногласиях — беда у нас общая, и все мы по мере сил с ней боремся.

— Ну, предположим, ты об этих разногласиях не забываешь... А главное — еще неизвестно, беда это для монахов или нет, — Невзор насупился.

— Что ты имеешь в виду? Ты хочешь сказать, что их радует повальная смерть паствы?

— Они ловят души, Охто. А ты сильно им в этом мешаешь... Сейчас они не тронут тебя — побоятся обезумевшей толпы. Но настанет день, когда они с тобой расправятся.

Как-то ночью колдун разыскал высокий молчаливый монах, сопровождавший в Дальнем Замосье отца Варсонофия, и жестами попросил пойти за ним. Колдун удивился и несколько не обрадовался — у него не было времени: луна убывала, и новолуния жители торго ждали с содроганием. Он покачал головой, и монах удалился, понимающе кивая. А через полчаса появился снова, притащив на широкой спине большого иеромонаха, и покорно пристроился в конец очереди. Но тут колдун сжалился над ним и сам подошел к отцу Варсонофию.

Иеромонах был в сознании, но тяжело дышал, его трясла лихорадка, и с кашлем из горла отходила пенящаяся, ярко-красная мокрота.

— Что, отче, жить хочешь? — спросил колдун, усмехаясь.

Тот ничего не ответил, но на глазах его появились слезы.

— И за мгновение земной жизни готов рискнуть вечностью? — широко улыбнулся колдун. — Готов, готов, вижу... Ничего, не бойся: покаешься, отмолишь — господь твой милосерден. Говорят, своих не бросает.

Отец Варсонофий закашлялся, а колдун, велев молчаливому монаху раздеть иерея и усадить, через минуту водил хрусталем по его узкой, болезненной груди. Когда же лихорадка перестала трясти его брэнное тело, иеромонах хрипло сказал:

— Я буду молить Бога, чтобы он направил тебя на путь истинной веры, простил тебе твои заблуждения и принял в свои небесные чертоги.

— Спасибо, не надо, — безразлично ответил колдун. — Я вовсе не собираюсь в его небесные чертоги. Иди с миром, отче, и не забудь об этой встрече, когда братия захочет сжечь меня на костре.

Полдня Дамиан терпеливо сидел в Никольской слободе, ожидая вестей о прочесывании леса, — певчий не мог уйти, не оставив следов! Хоть один след да должен был быть длинней остальных! И только когда понял, что метель замела следы безвозвратно, архидиакон, ругаясь и раздавая зуботычины направо и налево, выехал из слободы в Лусской торг — стоило договориться со Златояром о поимке беглого послушника, злодея и вора.

Монахи в скитах и на заставах были предупреждены, в каждой деревне сидели по два дружника, однако Дамиан не слишком надеялся на эти дозоры: разве что певчий сам забредет в тот дом, где остановились братья.

Северный ветер толкал сани вперед, пока дорога вела с севера на юг, но стоило повернуть на восток, и метель завертелась бешеной каруселью: ветер летел вдоль берегов и задувал со стороны леса, поднимая в воздух снежные воронки. Дамиан кутался в медвежьи шубы, натягивал широкий куколь на голову, но холод полз в каждую щелку и пронизывал шубы насквозь. И шевелил мех, поднимая его дыбом. Послушник нахлестывал лошадей, с трудом передвигавших ноги по глубокому снегу, и поминутно оглядывался назад, и в глазах его архидиакон разглядел ужас. Вой ветра мешал спросить, что так напугало послушника.

Смеркалось. Дамиан не сразу заметил, как темнеет небо в снежной пелене, а когда понял, что через несколько минут на реку спустится ночь, у него самого по спине пробежали мурашки. То ли послушник заразил его суеверным страхом перед зимней ночью, то ли его напугало одиночество в мутной круговерти, то ли грохот ветра в лесу и свист поземки под полозьями саней... Но мех на шубах шевелился, и Дамиану показалось, что звери, с которых были содраны эти шкуры, оживают, ежатся от холода и скоро поймут, что под ними, прячась от мороза, лежит живая, съедобная плоть.

Ветер сбивал лошадей с ног и грозил опрокинуть сани, и в его шуме Дамиан слышал далекий сатанинский смех, похожий на грохот падающей крыши горящего дома, и раскаты этого хохота заставляли волосы на голове шевелиться, и холодный пот выступал на

лбу и покрывал челку ледяной коркой. Кони надрывно ржали, но бежать не могли, увязая в снегу. Метель все туже стягивала сани в снежной воронке: ни берегов, ни пути впереди не было видно, и послушник, вцепившись в вожжи, начал громко и отчаянно выкрикивать:

— Отче наш! Иже еси на небесех! Да святится имя Твое!..

В другом случае Дамиан бы рассмеялся над ним, но на этот раз ему было не до смеха: над послушником хохотал ветер, хохотал зычно, и хлопал в ладоши — Дамиан видел его хохочущий, торжествующий лик.

Это колдун. Мысль прорезала пространство и острой занозой впилась в висок.

— Да приидет царствие Твое... — прошептал архи-
диакон непослушными губами, — да будет воля Твоя...

И вдруг понял: Бог не слышит их. Они одни в этой снежной пелене. Они, их перепуганные усталые кони — и колдун, хохочущий и швыряющий в сани ветер и снег. И шкуры убитых зверей, грозящие вот-вот обрести плоть и кровь.

Зачем он убил колдуна? Что менялось с его смертью? Так хотел авва? Но авва сидит за толстыми стенами Пустыни, в теплой просторной настоятельской келье, а Дамиан едет вдоль темного леса, и ветер грозит похоронить его в снежной могиле и смеется над его страхом и над его молитвами.

Зачем он убил колдуна?

— И остави нам! Долги наша! — кричал послушник. — Якоже и мы! Оставляем должником нашим!

Грехи? Со времен приютского детства грех Дамиан понимал как нечто мелкое: провинность, о которой могут прознать иеромонахи. Разве убийство колдуна было грехом? Да нет же! Проклятый язычник, заслуживший костер! Он сейчас горит в аду! Он не может быть ветром, метелью, заснеженным небом! Или... или...

Дамиан сполз на самое дно саней и укрылся с головой, зажимая уши, чтобы не слышать хохота, похожего на гром падающей сгоревшей крыши. Но губы сами собой шептали:

— И остави нам долги наша... И остави нам долги наша...

Златояр принял промерзшего ойконома Пустыни радушно; несмотря на поздний час, накрыл столы и предложил гостить у него в тереме, сколько тому пожелается, поэтому Дамиан быстро забыл о страхах ночной дороги в метель.

Князь пообещал отправить своих людей в Лусской торг и в ближайшие деревни, тем более что дружина его сидела без дела — так почему не помочь доброму соседу в его богоугодных делах? Дамиан, конечно, не сильно уповал на княжескую дружину, но это отрезало певчему пути в многолюдные места торга. Впрочем, в голову снова закралось сомнение: пеший, в лесу, в такую метель — человек не может остаться в живых. Дамиан в санях, закутавшись в теплые шубы, и то рисковал завязнуть в снегу и замерзнуть.

Ясным утром он проснулся в светлом тереме, но, несмотря на уговоры Златояра, задерживаться не стал: авва прав, певчий пойдет к Невзору. И, наверное, настало время заехать к волхву в гости. А заодно проверить заставы, расставленные по берегам Выги: в этом архи-диакон вполне доверял Авде, но проверить бы не помешало.

До дома волхва добраться засветло он не успевал и хотел заночевать в Дальнем Замосье, поэтому не торопился: позавтракал вместе с князем, основательно собрался и выехал со двора только к полудню. По дороге ему встретился Авда с десятком братьев, которые направлялись в Лусской торг обедать, и Дамиан велел им посмотреть, усердствуют ли люди князя в поимке вора.

В Ближнем Замосье его догнал патрульный, весть ойконому принесли по цепочке: ночью беглеца видели в Покровской слободе. Его даже поймали и связали, но он ускользнул от монахов, забрал коня и скрылся в неизвестном направлении.

— Как это он ускользнул? — от злости Дамиан выбрался из саней и теперь топал ногами. — Как ускользнул?

— Не знаю, — беззаботно пожал плечами патрульный — ну еще бы, ведь это не его вина, чего ему беспокоится!

— Почему его немедленно не повезли в Пустынь? Почему не обыскали?

— Я не знаю, наверное, пережидали метель...

— Шкуру спущу, — прошипел Дамиан и рухнул обратно в сани. — Поворачиваем обратно! Когда это было?

— Ночью... — дружник пожал плечами.

— А поточней?

— Я не знаю...

— Да за ночь он мог добраться до Новограда! — выплюнул Дамиан со злостью, но вовремя сообразил, что Выга охраняется от Никольской слободы и выше, а значит, проскользнуть мимо Лусского торгога он не мог. На коне через лес не проедешь и не пройдешь. Значит, он спустился по Луссе до торгога и прячется где-то там!

Да, Лусской торгог — не Никольская слобода, его так просто не обыщешь и вверх дном не перевернешь. Да и в Никольской обыски ничего не дали.

— Поворачивай, сказал! — прикрикнул Дамиан на послушника. — Дотемна-то доберемся?

— Не знаю, — ответил послушник, вылезая в снег и разворачивая лошадей, — попробуем.

Снега за ночь намело много, и утоптать ледяной путь не успели, однако обратно, по собственным следам, ехали чуть быстрее. И всю дорогу Дамиан недоумевал: как певчий мог оказаться в Покровской слободе? Неужели прошел напрямик? Но это же невозможно! Зимой, по глубоким сугробам, когда привычные приметы засыпаны снегом, когда небо затянуто тучами! В метель!

Может быть, беглец не так прост, как кажется? Он не замерз по пути в Никольскую, там найти его не удалось, он прошел напрямик до Покровской слободы и не заблудился в лесу, его не сожрали дикие звери, а в довершение всего ускользнул от связавших его монахов и украл у них коня!

И если в Никольской все можно списать на везение и помощь крестьян, то добраться до охотничьей слободы через лес зимой не может ни один поселянин.

Колдун. Ему помогает колдун, нарочно явившийся с того света, чтобы отомстить Дамиану за свою жуткую смерть. От этой мысли между лопаток пробежала липкая капля пота. Архидиакон посмотрел на темные стены леса по обоим берегам, и, несмотря на сиявшее солнце, ему показалось, что из-за деревьев за ним кто-то следит. И от этого взгляда не спасет ни крестное знамение, ни молитва: над колдуном не властен ни Бог, ни Дьявол, что бы там ни говорил авва, чему бы ни учило Святое Писание.

Неожиданно перед глазами появился обрывок воспоминания из раннего доприютского детства. Он почти ничего

не помнил, кроме таких отдельных обрывков, но зато они были отчетливыми и подробными. Промозглый апрель, снег сошел, черная, мокрая земля покрыта сором, небо затянуто низкими сырыми облаками, и мать, теплая и большая, держит его на руках, стоя на крыльце бани. В бане не тепло, а на лавках расставлены горшки с едой, такой вкусной, что у него текут слюнки и он плачет, требуя немедленно его накормить. Дамиан не помнил своего настоящего имени, крестили его в монастыре Полиевктном.

Но в тот миг мать звала его настоящим именем и говорила что-то: он не помнил ее слов, от которых ему стало очень страшно, и если сначала он плакал от голода, то после ее слов — от ужаса.

И теперь, всматриваясь в лес по берегам Выги, Дамиан чувствовал тот же самый ужас, что на пороге бани в далеком, забытом апреле, — ужас перед силой мертвецов, рядом с которой меркла крестная сила.

И как назло из-за поворота показались высокие каменные кресты над могилами иноков, погибших во время мора. Дамиан скрипнул зубами и застонал, так громко, что послушник оглянулся на него с удивлением. Неужели им не нравится лежать на высоком крутом берегу? Они бы предпочли быть похороненными на монастырском кладбище, поближе к братии, чтобы и из могил достать оставшихся в живых. Достать ядом, который источают их мертвые тела, ядом, о котором говорил колдун. И, наверное, он был не так уж неправ. Иначе почему первыми умирали те, кто отпевал и готовил мертвецов к погребению? Тогда Дамиану показалось хорошей мыслью похоронить их на землях князя. А теперь? Теперь, когда он едет мимо и вокруг только снег и ни одной живой души, кроме послушника, которого и за человека-то можно не считать?

Он бы, наверное, снова начал молиться, потому что на лбу, несмотря на мороз, опять выступил пот: Дамиан цепенел от страха. Ему мерещилось, что снег над могилами шевелится и мертвецы вот-вот начнут вылезать на свет и вереницей потянутся на лед, перерезая ему дорогу. Но тут из-за поворота показались двое дружников, охранявших реку, и наваждение оставило его.

Солнце еще не закатилось, но уже спряталось за крутым лесистым берегом, когда Дамиан добрался до

постоялого двора в Лусском торге, где и узнал бесславную историю о стычке монахов с людьми князя.

Дамиан не сомневался, что князь выдаст беглеца Пустыни, у него не было ни малейшей причины сомневаться в этом, а у князя — держать певчего у себя. Поэтому, для порядка отругав брата Авду, архидиакон решил немного отдохнуть с дороги и поужинать в теплой, вонючей избе постоялого двора (не являться же на поклон к Златояру после произошедшего с просьбой об ужине и ночлеге!). На радостях он простил двоих дружников, упустивших беглеца в Покровской слободе, выслушав их сбивчивый рассказ о кознях нечистой силы. В нечистую силу Дамиан не поверил — наверняка братья заснули, а кто-то из охотников развязал и выпустил певчего, указав ему дорогу к торгу.

Князь Златояр — опытный воин, его дружина умела не только собирать дань по окрестным деревням, но и сражаться с настоящим врагом, когда князь Новоградский призывал народ на войну против иноземцев. Его воины не упустят беглеца, они хорошо понимают силу приказа, поэтому Дамиан не спешил; однако откладывать на утро поездку к Златояру не стал.

К воротам терема, что стоял в устье Луссы, архидиакон подъехал в сопровождении десятка дружников и на этот раз стучал в ворота громко и властно, не так, как прошлой ночью.

Ворота отворились нескоро, и навстречу монахам вышли воины с факелами, меряя «братию» презрительными взглядами. Однако Дамиана их заносчивость не задела — он деловито осмотрелся и улыбнулся в усы: неважно, кто победил в стычке, неважно, как дружина князя относится к дружине монастыря. Важно, что Златояр боится отцов церкви и будет преданно блюсти ее интересы, чтобы не потерять своей власти.

— Я должен видеть князя, — посмотрев на воеводу сверху вниз, сказал архидиакон.

Но ответил ему не Путята.

— Я здесь, отец Дамиан, — раздался из темноты скрипучий голос, — я ждал тебя.

Князь, одетый в соболью шубу до пят, в расшитой золотом шапке, выступил вперед, и двое воинов держали над ним факелы, словно желали осветить его

богатый наряд, столь неподходящий для позднего зимнего вечера.

— Я просил тебя о помощи, князь, и, говорят, ты изловил беглеца, который обокрал обитель.

— И что ты хочешь? — спросил Златояр, гордо задрвав подбородок.

— Я хочу получить обещанное.

— Я обещал выдать тебе злодея и вора, разве не так? Злодея и вора, Дамиан.

— Да, — кивнул архидиакон, не понимая, к чему клонит князь.

— Злодея и вора, а не певца и не волхва.

— Какого волхва, Златояр? О чем ты говоришь?

Но князь не услышал его:

— Я поклялся, и ты должен помнить мою клятву: никогда больше не выдавать церкви врагов вашей веры. С меня довольно одного предательства, одного несмыслимого пятна на честном имени воина. Я больше двадцати лет не сплю ночами, слыша предсмертный крик Велемира, или ты не знал об этом?

— Знал, знал, — пробормотал Дамиан, — об этом все знают. Но при чем тут вор и злодей, которого я просил изловить?

После злосчастной истории с сожжением двух волхвов, отца и сына, князь действительно принародно поклялся не вмешиваться в духовные дела церковников. Дамиан тогда был молод, но случай этот помнил хорошо, тем более что во время мора, который случился два года назад, Пустынь обращалась к Златояру за помощью, но получила решительный отказ.

— Не прикидывайся наивным, Дамиан. Или ты не знаешь, что вор и злодей, которого ты ловишь, — внук Велемира, Олег?

— Ты что-то путаешь, князь... — пробормотал Дамиан, — это певчий, бывший приютский воспитанник, я знал его с детства, его зовут...

Архидиакон осекся. Лешек. Лешек — заблудшая душа. Алексий... Олег? Да этого не может быть!

— Он сам сказал тебе об этом? — вымученно усмехнулся он.

— Нет. Я увидел это в его глазах и услышал в его песнях.

— Князь, мне неважно, чей он внук, — взяв себя в руки, продолжил Дамиан, все еще не оправившись от

изумления. — Он обокрал обитель, он унес священную реликвию Пустыни, и кем бы ни были его предки, он от этого не перестал быть вором! Надеюсь, ты обыскал его?

— Нет, — князь покачал высоко поднятой головой. — И я не верю, что юноше, обладающему даром, многократно превосходящим дар его деда, понадобится священная реликвия церкви. Волхвы не нуждаются в церковной утвари, даже очень дорогой. Этот мальчик, задайся он такой целью, сможет через несколько лет купить Пустынь с потрохами. Так что ты лжешь мне, Дамиан.

Несолоно хлебавши покинул Дамиан княжеский двор и тут же послал гонцов в обе стороны. На Выгу — осматривать людей князя, ведь Златояр мог переодеть беглеца, выдать ему грамоту, посадить в княжеские сани. Или оставить у себя в тереме, что тоже не исключено. Только взять приступом двор князя Дамиан не надеялся. Второй же гонец поехал в Пустынь, к авве, доложить, что послушник Алексей вовсе не тот, за кого себя выдавал.

Боясь опоздать, архидиакон поостерегся заночевать на постоялом дворе. Теперь важно добраться до Невзора раньше певчего, иначе... А что «иначе»? Он уйдет вместе с волхвом? Не уйдет. Идти им некуда. И волхв, в отличие от мальчишки, хорошо это понимает. Волхв понимает многое, а главное — он стар. Это вздор, будто старики не боятся смерти. Боятся, еще как! Гораздо сильнее молодых. И чем меньше им остается жить, тем сильнее они за жизнь цепляются.

Олег... Внук Велемира... Это никак не укладывалось у Дамиана в голове. Сын безмужней нищенки, ничемный, трусливый, слабосильный — внук знаменитого волхва? Но как легко он обвел отцов обители вокруг пальца! Почему все легко согласилось с Паисием, когда он захотел оставить его в хоре? Почему не приняли во внимание, что мальчишка восемь лет прожил у колдуна? Поверили колдуну? Да никто колдуну не поверил, хотя тот и старался.

Да потому что голос его хотелось слушать снова и снова! Божий дар, значит? Никакой это, оказывается, не божий дар, а наследство Велемира. А авва так надеялся,

что если не хрусталь, то этот чарующий голос привлечет людей в его сети, как пламя свечи привлекает мотыльков.

Авва... Интересно, что теперь скажет авва? Дамиан злорадно скривил лицо: ловец человеков! Слава Симеона Первозванного не дает игумену покоя! Архидиакон вдруг осекся: он по-своему презирал авву, но только не за это... Это Паисий подобен Симеону Первозванному, со своей любовью к Богу, со своими проповедями, которые никого, кроме послушника Луки, за всю историю обители в объятья Иисуса не толкнули. Авва не такой, красивые сказки о Боге — не для него. Авва вылеплен из того же теста, что и Дамиан, он обеими ногами стоит на земле, восторженность и возвышенность чужды ему еще более, чем архидиакону. Он слишком умен, слишком трезв, слишком практичен. Вера — не его стезя, его путь — знание, логика, холодный расчет.

Дамиан всегда подозревал, что игуменом управляет какая-то идея, — чересчур прямолинейно он вел обитель к непонятной цели и легко мог вычленить верное решение из десятка возможных. И только во время мора Дамиан начал догадываться, что движет аввой: авва был ловцом душ, он служил Богу напрямую, минуя лицемерные препоны Писания, минуя церковную иерархию, минуя то, что обычно называют «верой». Авва не верил, авва знал, что Богу нужно. Знал слишком определенно, чтобы расплыться на остальное. Миропомазание—исповедь—причастие—погребение. Вот четыре вехи, которые приведут душу к Богу, а уж куда — в рай ли, в ад — это вопрос, который должен заботить Паисия.

Тогда, во время мора, Дамиана напугала эта мысль — мысли о Боге обычно не тревожили его, он жил так, будто ни Бога, ни Страшного суда не существовало вовсе. Покаяться он бы всегда успел, так зачем отравлять себе жизнь с начала и до конца? Но когда понял, что покаяния в цепочке, выстроенной аввой, нет, насторожился и испугался, почувствовал себя бараном, ведомым на заклание. Ведь исповедь и покаяние — вещи совершенно разные, ему ли, выходцу из приюта, этого не знать! Но потом Дамиан снова успокоился, принял идею аввы как должное и решил до поры до времени не задаваться этим вопросом — умирать он пока не собирался.

И ведь в Никольскую авва приехал, чтобы причастить слободских, ждал, что Дамиан сделает все, чтобы начался бунт, а потом начнет его усмирять!

Хуже не было для целей аввы колдунов и волхвов. Дамиан помнил, как еще во время мора авва потихоньку начал ненавидеть колдуна. Он, в отличие от иеромонахов, не кричал об этом и геенну огненную колдуну не пророчил, но Дамиан видел, как кривится его лицо и загораются глаза при упоминании бесчинств, творимых проклятым язычником. Архидиакон не раз и не два докладывал авве о хрустале, о том, что тот может излечить любую болезнь, но авва неизменно отмахивался: пост, воздержание и молитва, говорил он, — вот лучшее лекарство от болезней. И если Господь посылает болезнь смертельную, то все в его руках. Разумеется, для ловца душ хрусталь — только помеха на этом поприще. Но во время мора авва побоялся злить паству, а потом история с хрусталем как-то забылась, колдун продолжал пользоваться монахов, и вспомнил о нем только при строительстве церковей в Пельском торге и окрестных деревнях.

Расчет аввы был прост: сначала крещение, потом медленное, но верное приобщение к церкви, а потом — присоединение земель Пельского торга к своим. А главное, задолго до присоединения земель авва получил бы то, за чем охотился: новые пойманные в сети души.

И если бы колдун продолжал потихоньку колдовать, потихоньку лечить страждущих, потихоньку устраивать разгулы в деревнях, авва оставил бы его в покое. Но колдуну этого было мало: он не желал ни крещения, ни церковных служб, ни христианских погребений. Он словно давно понял главную цель аввы.

Авва побоялся казнить колдуна: в борьбе за умы поселян это надолго отвратило бы людей от церкви, Пельский торг — не Лусской, и всей дружины Дамиана не хватило бы, чтобы удержать их от бунта. И тогда авва принял адониево решение: казнить не колдуна, а кого-нибудь другого, к кому поселяне не так привыкли, от кого не зависит урожай на их полях и чья смерть вызовет ужас, но не бунт. Это отрезвит колдуна, напугает людей, и, если он не остановится, через год его казнь для поселян станет закономерной. Лучше всего для

этого подходила ворожея, которая к тому же путалась с колдуном, но когда хватились, выяснилось, что она бесследно исчезла из Пельского торгога и никто не мог сказать, где она.

Вот тогда-то и припомнили о Невзоре, который во время мора тоже мешался у церковников под ногами, но не так откровенно, как это делал колдун. В Пельском торгоге о нем слышали, а возможно, и видели — его причастность к богопротивным занятиям доказывать не требовалось.

Дамиану стоило большого труда выяснить, где живет старый волхв, так, чтобы об этом не прознал князь, и привезти в обитель к назначенному сроку — в самом конце лета, перед праздником урожая. Умирать Невзор не хотел и тем более — умирать на костре. Он был неглуп и осторожен и сумел купить себе жизнь. Авва при свидетелях поклялся Богом, что за открытую ему тайну отпустит волхва и никогда его не потревожит, если захочет этой тайной воспользоваться. Клятву эту слышали Дамиан, благочинный и брат Авда, и игумен не посмел ее нарушить: казнь Невзора не стоила того, чтобы авва стал клятвopреступником, пусть и в глазах своих приближенных.

Невзор рассказал отцам обители о кристале, верней, о его оборотной стороне.

С этой минуты жизнь колдуна не стоила и выеденного яйца, и даже бунт в Пельском торгоге ничего не значил по сравнению с тем, что давало монастырю обладание кристалем. Однако авва не спешил с принятием решения — он, как обычно, хотел получить сразу все: и кристаль, и души поселян, и земли Пельского торгога.

— Послушай, юноша... Отпусти мою совесть... — прошептал Златояр, судорожно схватив Лешека за стремя.

— Князь, — вздохнул Лешек. — В моем сердце больше нет ни гнева, ни обиды. Но боль осталась, пойми... Твое раскаянье не воскресит мертвых и не изменит моей судьбы. Но я благодарен тебе и не держу на тебя злой.

Он тронул бока лошади и не оглядываясь поехал вперед, а вслед за ним двинулась свита из дружников князя. Даже с таким сопровождением ехать по Выге было небезопасно, и Златояр указал Лешеку кружной путь — по

зимнику через Большой Ржавый мох. И хотя дорога получалась верст на тридцать длинней, Лешек не мог не благодарить князя: ни он сам, ни монахи не знали о наезженном зимнике через болото, по которому можно добраться до Красного ручья, где когда-то стоял дом Велемира.

Люди князя должны были проводить его до зимовья углежогов, где Лешек мог в безопасности переночевать и по свету отправиться к волхву. Князь не сомневался, что монахи не знают, где живет Невзор, иначе бы они давно расправились с ним, как когда-то расправились с Велемиром.

Встретившись с большой семьей старого углежого (весельчака-балагура, у которого весь дом ходил ходуном от его живости и забав), Лешек неожиданно подумал о будущем. Его приняли — впервые — как внука волхва. Старый хозяин знал Велемира, собственно, он был его ближайшим соседом, да и трое его взрослых сыновей, хоть в те времена и были малы, но хорошо запомнили волхва и его сказки о богах.

Лешек пел им праздничные песни — веселые, разгульные, летние, но старый хозяин почему-то вдруг загрустил и даже смахнул слезу, а на удивленный взгляд Лешека ответил:

— Скоро вообще волхвов не останется по земле... Будем псалмы тянуть потихоньку. И не будет никакого веселья — не хочет новый бог смеха и радости. Как мои внуки жить станут? Ты пой, мальчик, пой... Я ведь тебя помню. Только ты маленький был совсем. Мать твоя у нас жила до весны, а к лету ушла на Луссу, все спрятаться хотела, за тебя боялась.

Лешеку и самому захотелось расплакаться от его слов: о матери, конечно, не о волхвах. Он вспомнил, как в приюте умолял ее прийти к нему хоть на минутку и как ей одной поверял свои страхи, как представлял ее тонкие руки, обвивающие его шею. Он никогда не пел о матери, он не придумал про нее ни одной песни, потому что ком вставал у него в гортань и вместо слов наружу рвались рыдания.

И тогда он спел им о злом боге — любимую песню колдуна — и впервые подумал, что хочет стать волхвом, как его дед. Но не только сказки о богах он понесет людям, не только целебные травы, а правду о новом боге, который не любит смеха и веселья. Пока он жил с колдуном, о будущем он не думал: время бежало само по себе, и Лешек не

замечал его. А теперь, когда он найдет Невзора, он попросит научить его тому, чему не успел научить колдун. И когда-нибудь после его смерти люди скажут: это был знаменитый волхв Олег. Он лечил людей и пел им песни.

Словно в ответ на его мысли старый хозяин вышел за дверь, а вернулся с гуслиями в руках.

— Ты под эти гусельки хорошо засыпал когда-то. Сам не умеешь играть?

Лешек покачал головой.

— Я их летом в торг не беру, здесь оставляю. Не любят слуги нового бога наших гуселек, ой не любят! Сила в них скрытая, волшебная. Ты научись играть, это несложно. Тогда тебе никто не страшен.

И, вместо того чтобы спать, Лешек до рассвета пробовал перебирать струны, издававшие чарующие звуки, да так и уснул сидя, положив голову на резную доску. Конечно, играть он не научился, но понял, что при первой же возможности раздобудет себе гусли и песни его тогда зазвучат совсем по-другому.

Угложок не пустил его в дорогу после стольких бессонных ночей, и Лешек гостил у него до следующего утра, слушая рассказы о Велемире, и об отце, и о матери — работу по такому случаю хозяин отменил: нечасто в зимовье появлялись гости.

Однако на следующее утро, как хозяин ни уговаривал его остаться, Лешек не согласился — рано или поздно Дамиан услышит о наезженном зимнике и тогда станет искать его именно здесь.

Лешек выехал затемно, но до вечера едва успел добраться до Выги — по узкому Красному ручью ездили редко, если ездили вообще. В устье ручья стояла деревенька из трех дворов — Большие Печищи, — но Лешек решил там не появляться, памятуя о встрече с монахами в Покровской слободе.

Вместе с темнотой с севера наступала тяжелая черная туча, закрывавшая полнеба, и казалось, что это сама ночь наползает на землю, приближается, подкрадывается, чтобы поглотить день. Ночь несла с собой северный ветер, и солнце скрылось до того, как успело зайти за горизонт: долгие сумерки утонули в густом снегопаде. Лешек выбрался на широкий простор Выги, озираясь в поисках монахов, но снег падал так густо, что он не

разглядел и противоположного берега. И стоило ему выехать из-под прикрытия деревьев на берегу ручья, ветер ударил с такой силой, что едва не сбил коня с ног.

Теперь ураган не хохотал, а плакал. То тонко и безнадежно кричал, то низко завывал, словно по покойнику, то надрывно рыдал, а то ревел раненым зверем. На этот раз Лешек ехал ему навстречу, и конь тоже плакал под ним, тяжело переставляя копыта и пригибая голову.

Даже если Выгу и охраняли дружки Дамиана, в такой метели они бы не разглядели одинокого всадника. Лешек пожалел, что не остановился на ночлег в Больших Печищах. Ветер тек навстречу широким потоком, снежной рекой, и Лешек подумал, что чья-то широкая длань закрывает ему дорогу на север, отталкивает его назад, не пускает, хочет удержать и рыдает, словно не надеется на свою силу.

Предчувствие беды не остановило Лешека — и колдун, и Лытка всегда смеялись над его мрачными предсказаниями, и он научился не принимать их всерьез. Ему пришлось спешиться и вести коня в поводу, утопая в сугробах и сбиваясь с дороги.

И через несколько часов ветер сдался: только поземка путалась под ногами, тоненько подвывая, словно преданная собака, умоляющая о чем-то хозяина. Справа Лешек увидел тень церкви над деревней Тихоречье и черный крест, направленный в небо, обложенное тучами. Монахов на Выге не было — возможно, они не ждали его так далеко от Лусского торго, а возможно, князю удалось их обмануть и направить по ложному следу.

Лешек снова двинулся верхом и задолго до рассвета добрался до устья Песчинки — теперь ничто не могло помешать ему доехать до дома волхва, тем более что путь был наезжен и конь резво скакал вперед, выбрасывая из-под копыт легкий снег, наметенный на реку за ночь.

* * *

Целый год, до следующего лета, страх перед мором не отпускал село — торг собрался только на Купалу, после второго сенокоса. И хотя благодаря стараниям колдуна до села не дошло поветрие, Пустынь простерла руку к

реке Пель, убедившись в том, что зимой эти земли так же хорошо досягаемы, как и Никольская слобода.

Строительство храма началось через год после мора, в ноябре, и как только замерз Безрыбный мох, монахи проложили через него зимник, выходявший на Узицу. Одновременно с храмом, возводимым перед торговыми рядами, стали строить церквушки и в окрестных деревнях.

Поселяне с любопытством посматривали на строительство — монахи хорошо платили за лес и брали на работу местных плотников, соблазняя высокой платой. Церковь должна была потрясти воображение жителей торгога, закостеневших в язычестве, как размером, так и вычурностью форм.

Колдун стал молчаливым и раздражительным, по несколько недель не выезжал из дома, задумал переписать книгу по астрономии, но поминутно отвлекался и сидел, неподвижно глядя в окно, потихоньку сгрызая перо за пером. Лешек жалел его и чуял беду.

— Охто, я прошу тебя... Я очень тебя прошу... Ты только не вменяйся, ладно? — просил он. — Ничем хорошим это не кончится.

— Разумеется, не кончится! — взрывался колдун. — Чем хорошим может кончиться приход клириков на чью-то землю? Вот увидишь, через год они будут требовать пожертвований, через десять лет в открытую начнут сдирать с торгога дань, а через пятьдесят все здешние жители станут их холопами, как в Новограде.

— Охто, ты не сможешь им помешать. Давай уедем, а? Пожалуйста, давай уедем! У тебя же есть родственники на востоке. Возьмем матушку, Милушу — и уедем!

— Ага, а еще Кышку с женой, Мураша, Лелю с Гореславом и двумя пацанятами! И вот ту славную девушку, которая хочет за тебя замуж, и ее доброго отца, и сестер, и их мужей, и детей, а лучше всего — всех сельчан и всех деревенских вместе с ними!

— Не выдумывай! — Лешек подсел к колдуну поближе и заискивающе смотрел ему в глаза снизу вверх. — Я ничего такого не говорил. Им ничего не угрожает, они не станут, как ты, искать правды. Будут жить, как в Лусском торгоге: днем ходить в церковь, а ночью праздновать Купалу и строгать обереги.

— Малыш, как ты не понимаешь! Ведь это не только хождение в церковь, не только дань и холопство! Хотя и этого вполне достаточно. Пойми, я храню древнее знание, я не только умею просить богов об урожае и лечить болезни! Кто вместо меня будет выбирать время сева и жатвы? Кто скажет, где выжигать лес? Ты думаешь, я прошу дождя, когда мне требуются деньги на книги? Нет, малыш, я точно знаю, что нужно хлебу озимому, а что — яровому, я знаю, чего просить и когда! Ты припоминаешь дожди во время сенокоса? Нет! Кто кроме меня скажет людям, когда начинать косить сено, чтобы успеть его высушить и убрать? Отец Паисий? Или Дамиан? Я не могу уйти!

— Охто, не злись. Я говорю не о том. Ты ведь не сможешь потихоньку продолжать колдовать, потихоньку распорядиться сенокосами и лечить болезни. Ты полещешь в дела братии, ты запретишь деревенским причащаться, ты будешь на каждом углу говорить об их злом ревнивом боге, которого надо гнать отсюда взащей, ведь так?

— Конечно. Потому что одного не может быть без другого! Ты видел, что они творили во время мора? Или мне надо было пристроиться в очередь на исповедь и ходить вместе с ними крестным ходом? Они — мошенники, глупцы, невежды! Потому что их бог мыслит только о смерти, ему не интересна жизнь — какие-то там урожаи, какие-то сенокосы, болезни скота! Чем больше людей умрет от голода, тем лучше! Чем мрачней будет их жизнь, тем соблазнительней им покажется рай!

— Ты меня-то в этом не убеждай! — фыркнул Лешек. — Охто, ты ничего с этим не сделаешь! Они убьют тебя, и на этом все закончится!

— Пусть попробуют!

Лешек начинал говорить и о волшебной силе хрустала, с помощью которой можно было бы прогнать монахов с этих земель, но колдун отвечал коротко и зло:

— Нет. Это исключено.

— Но почему, Охто, почему?

— Потому что это будет война бога против людей, а не война богов.

— А то, что происходит сейчас, — это не война бога против людей?

— Нет. Сейчас против людей воюет церковь, а бог всего лишь смотрит и радуется ее успехам. И, я думаю, его жрецы говорят с ним так же, как я говорю с нашими богами. И так же слушают его советы. Так что пока — это война между мной и аввой. И если я хоть раз применю хрусталь, кто поручится, что Юга не вооружит авву чем-нибудь подобным? Нет, малыш. Я не применю его, даже если мне потребуется спасти свою жизнь.

Резчиков по дереву монахи привезли из Новограда, надеясь на местных мастеров. Колдун, побывав в торге, долго хохотал — резьба, украсившая церковь, состояла в основном из обережных знаков: новоградские мастера успели забыть их смысл, но резчиков подкупила простая чистая красота языческих узоров. Зато поселяне не забывали, что эти узоры означают, и немало подивились тому, что дом бога Юги поручено охранять местным богам.

В конце мая, не дожидаясь крещения села, колдун отправил Милушу и матушку к своим родственникам, на Онгу. Леля поклялась ему, что покрестится вместе со всеми и никогда больше не станет ворожить, — только поэтому он позволил ей остаться. Лешек по его расчету тоже должен был уехать, колдун даже придумал для него поручение, но на этот раз Лешек наотрез отказался, и сопровождать женщин поручили неженатому Мурашу.

Колдун долго уговаривал Лешека, грозился, топал ногами, умолял и убеждал.

— Нет, Охто, — неизменно отвечал тот, — никогда. Пусть от меня не много пользы, пусть я буду тебе мешать, но я никуда не уеду.

— Малыш... Как ты не понимаешь! Они ведь побоятся тронуть меня и начнут с тех, кто мне дорог! Ты делаешь меня уязвимым!

— Пусть. Это тебя немного отрезвит. Может быть, ты начнешь думать, когда что-то делаешь.

— Я, по-твоему, не думаю, что делаю? — обиделся колдун.

— Ты лезешь на рожон! Вместо того чтобы приносить пользу, ты борешься с теньями, которые тебе не по зубам! Охто, они убьют тебя!

— Они убьют меня только за то, что я существую, и неважно, как я буду себя вести. Они никогда не примирятся со мной, никогда. Это вопрос времени.

— Но ведь Невзор до сих пор жив, и ничего!

— Невзор... Невзор просто не попался им на узкой дорожке, — усмехнулся колдун, — и потом, он очень осторожен.

— Вот именно! Охто, пожалуйста, ну давай ты тоже будешь очень осторожным! Ты же не хочешь, чтобы они убили меня, правда?

Колдун вздохнул:

— Ты хитрый, трусливый маленький негодяй.

— Да! Да, я хитрый и трусливый! — засмеялся Лешек. — Поэтому я никуда не поеду.

Колдун не стал мешать крещению, тем более что из монастыря прибыли дружки Дамиана и множество иеромонахов. Но, оставив двух иереев, трех дружников и мальчиков-певчих, на следующий день они убралась обратно в Пустынь.

Весь день крещения колдун провалялся на кровати, уставившись в потолок, и только вечером вышел искупаться, сказав Лешеку, что тот во всем виноват. Сейчас бы не крещение было в селе, а торжественное изгнание монашества с Пельской земли.

— Охто, ты сам понимаешь, что это ерунда, — Лешек жалел его, да и сам не сильно радовался приходу монахов.

— Да понимаю, малыш, понимаю... И горящих домов видеть не хочу, и изрубленных тел — тоже. Я бессилен, это и выводит из себя!

Однако, когда пришло время колдовать, он словно забыл все свои обещания.

— Тяжелое лето, — сказал он Лешеку. — Иногда, бывает, и без колдовства неплохо обходится, а в это лето не обойдется. Дожди идут, много дождей. Всегда просил дождя — а теперь облака надо разгонять. Не понравилось нашим богам крещение. Оставайся дома, ладно?

— Нет уж! Чтобы они взяли тебя голыми руками? Беззащитного? — вскинулся Лешек. — Ты плохо-то обо мне не думай. Ты считаешь, я монахов сильно люблю?

— Хорошо, хорошо. Поехали.

Колдовал колдун в открытую, не таясь, и его песня силы разносилась над полями далеко и зычно. В Безрыбном дружки выследили его, и вместе с ними к месту колдовства явился иеромонах — просвещать

темный народ божьим словом. Только они опоздали: колдун успел допеть свою песню и уйти в небеса. Люди, удерживавшие взглядами белое пламя, в испуге расступились перед вооруженными всадниками, и иерей выступил вперед с обличительной речью.

Он говорил о врагах рода человеческого, об их хитрости и коварстве, о том, как просто смутить неискушенную душу, как просто толкнуть ее в адово пламя. И указывал при этом на костер. Лешек, стискивая рукоять меча, доверенного ему колдуном, стоял ни жив ни мертв и боялся, что пламя упадет и колдун не успеет попросить богов об урожае, тем более что в этот раз просить было тяжело.

Но вдруг краем глаза Лешек заметил шевеление возле костра и думал, что колдун упал, что люди не удержали его наверху. Иеромонах размахивал руками и продолжал говорить, когда у него за спиной на четыре лапы медленно встал огромный медведь, охранявший колдуна. За много лет это случилось в первый раз — обычно медведь лежал неподвижно, уткнувшись носом в костер, глаза его оставались прикрытыми, и Лешек давно перестал думать о нем как о живом, настоящем звере.

Святой отец стоял к зверю спиной и догадался о том, что происходит нечто ужасное, только когда дружки, испуганно крестясь, осадили коней. Медведь же тем временем поднялся на задние лапы и, когда иеромонах оглянулся, издал могучий рев, нависая над его головой. Святому отцу не хватило силы даже для крестного знамения: он присел, накрыл голову руками и, тоненько закричав, оступился и коlobком скатился с холма под ноги лошадям. Медведь опустил на четыре лапы и медленно двинулся в сторону монахов, угрожающе рыча. Перепуганные кони взвились на дыбы, люди разбежались в стороны от разящих копыт, и дружникам не удалось их удержать — один из них упал, а двоих лошади понесли в поле. Иерей, шепча слова молитвы, отползал от холма, но медведь не стал долго его преследовать и вернулся на место: улегся носом к костру и прикрыл глаза, словно ничего не случилось.

— Вернитесь! — крикнул Лешек. — Вернитесь скорей! Пламя упадет!

Круг снова сомкнулся, а монахи, проклиная колдуна и обещая ему адские муки, в страхе покинули холм. Надо

сказать, больше никогда они не пытались приближаться к месту колдовства.

Колдун вернулся на рассвете как всегда усталым, долго пил и дрожал от холода, а потом рассказал Лешеку, что чуть не упал вниз.

— Знаешь, это, конечно, несмертельно, но очень неприятно. Я падал дважды. Один раз, когда меня вниз сбросил Змей, и еще раз — в юности, когда слегка переоценил свои силы. И каждый раз несколько дней лежал без сознания. Вот был бы монахам подарочек...

— Я бы увез тебя домой. И, знаешь, монахам медведь совсем не понравился, я думаю, они тебе его припомнят.

— Медведь поднимался? — удивился колдун. — Такого ни разу не было на моей памяти. И на памяти моего деда тоже. И... какой он был?

— Он был большой и страшный, Охто!

— Что ж... Значит, мои предки хранят меня надежней, чем я думал, — колдун погладил рукой медвежью шкуру.

К осени колдун свикся с мыслью о крещении Пельских земель. В конце лета, перед самой распутицей, к нему приезжал один из иереев и пытался запугать, но, при всей ненависти к монастырю, колдун проявил чудеса осторожности (или хитрости), и расстались они договорившись: колдуну не мешали колдовать и лечить людей и скот, а он в ответ не мешал братии проповедовать.

— Малыш, я противен сам себе, — сказал колдун, когда иерей уехал, и весь вечер пил мед, пока не захмелел настолько, что упал с лавки.

Лешек уложил его в постель, но колдун все равно продолжал бормотать себе под нос о том, что это ерунда, что никакой договор ему не поможет. И не стоило опускаться до уступок: он бы и так колдовал и лечил. Надо было гнать монаха со двора, а не беседовать с ним о мире и дружбе.

— Я не знаю, что мне делать, малыш, — шептал он. — Я не боюсь смерти, но ведь вместе со мной из этих земель уйдет знание. И никто не защитит людей от болезней, и никто не объяснит им... и никто не поможет...

Наутро, с тяжелой головой, колдун начал писать книгу. Он ни разу не пробовал этого делать, только

переписывал чужие, и долго думал, и стирал написанное, так что испортил несколько листов, протерев их до дыр. У Лешака было уже три книги с песнями, он гордился ими и перелистывал их, любуясь стройными рядами букв и нотных крюков.

— Охто, не торопись, — посоветовал он колдуну, — вспомни, как я писал первые песни. Ты сначала реши, что ты хочешь написать.

— Все! В том-то и дело, я хочу написать все!

— Выбери главное. То, чего нет в других книгах. Хочешь, я тебе помогу?

Выяснилось, что записать надо не так уж и много, если хорошо перед этим подумать. Увы, Лешек ничего не понимал в календарях и таблицах, которые колдун вырисовывал сначала на бересте, а потом переносил на пергамент.

Они работали больше двух месяцев, и колдун, проснувшись, умывался и садился за стол. Без матушки им приходилось тяжело, и Лешек взял на себя хозяйство. Осень была дождливой, словно все то, что боги не вылили на поля летом, обрушилось на землю в октябре. Узица вышла из берегов и подтопила погреб и баню, но колдун не сильно расстроился и ничего не предпринял, целиком погрузившись в свою книгу.

Зима наступила рано, морозы пришли неожиданно и сковали речку льдом. И если раньше с утра до вечера шел дождь, то теперь на землю падал снег. Колдун отказался ехать на торг, даже когда лед окреп настолько, что держал лошадей, — ему было некогда, он боялся потерять и несколько минут, не то что часов.

Когда снег надежно укрыл землю, выглянуло солнце и ударил мороз. Лешек каждое утро выходил на охоту, потому что запасы подходили к концу, а подмокшее в погребе зерно сначала покрылось плесенью, а потом замерзло. Без матушки они оба похудели и осунулись, питаясь от случая к случаю.

В то чудесное зимнее утро ничто не предвещало беды: Лешек подстрелил зайца и возвращался домой, предвкушая, как накормит колдуна жареным мясом. Он мурлыкал какую-то песню — просто от хорошего настроения, — правда, мурлыкал слишком громко. Настолько громко, что не услышал приближения всадников. Они

же, напротив, видели его и слышали и приблизились так, что, когда Лешек оглянулся, бежать было поздно.

Впереди, на вороном жеребце, сидел отец Дамиан.

Лешек остановился и уронил зайца в снег. Колени дрогнули и подогнулись, голова ушла в плечи: он почувствовал себя маленьким и жалким, словно не было этих восьми лет, прожитых с колдуном. Словно не яркое солнце светило сквозь прозрачное кружево леса, а масляная лампадка в полутемном приютском коридоре. Дамиан убил его однажды, и ничто не помешает ему сделать это во второй раз.

— Быстренько заткните ему рот! — велел архидиакон дружникам, и только тут Лешек сообразил, что происходит что-то не то. Монахи в последнее время часто проезжали мимо их дома, и за колдуном иногда посылали из монастырской больницы, но никогда ойконом Пустыни собственноручно здесь не появлялся. Мелькнула мысль, что Лешека кто-то узнал и теперь Дамиан приехал за ним, чтобы вернуть в обитель, и тогда надо звать колдуна на помощь! Но голос отказывался повиноваться. Как в кошмарном сне, когда хочется кричать, а из горла раздается только тихий сип. Как когда-то на клиросе перед архимандритом...

Двое дружников подъехали к нему, и один из них протянул руку, чтобы зажать Лешеку рот, когда до него дошла простая и страшная мысль: Дамиану не нужен какой-то приютский мальчишка. Он приехал за колдуном! И в последний миг Лешек успел крикнуть, едва не сорвав голос:

— Охто, беги! Беги!

Дружник двумя руками схватил его голову, одной зажимая ему рот, а другой запрокинув ее назад, едва не сломав ему шею. Лешек попытался сопротивляться, но второй монах спрыгнул с лошади и скрутил ему руки, на всякий случай отбирая лук — легкий лук, которым убить человека можно только выстрелом в упор. Его связали в одну минуту и заткнули рот какой-то черной тряпицей, но он все равно продолжал рваться и кричать, только получалось это тихо и бесполезно.

— Где-то я его видел... — пробормотал Дамиан. — Подними-ка ему лицо.

Дружник послушно дернул Лешека за волосы на затылке.

— Нет. Не припомню. Потом выясним. Поехали.

Лешека кинули поперек седла и, взяв лошадей под уздцы, двинулись к дому. Их было восемь человек.

Колдун, скорее всего, не услышал крика. Он вышел на крыльцо раздетым, даже не подпоясанным, и босиком, и не потому что заметил монахов, а просто потянуться и глотнуть свежего воздуха. Дружник, который вез Лешека, остановил лошадь за деревьями, но Лешеку все равно было видно крыльцо, и он рычал, стараясь привлечь внимание колдуна и вытолкнуть изо рта тряпицу. Но она заткнула ему дыхательное горло, и ему пришлось замолчать, чтобы не задохнуться. Восемь коней всхрапывали и топали, люди переговаривались между собой, и колдун не заметил подвоха.

— Доброго здоровья, — холодно сказал он, увидев Дамиана, направлявшегося к крыльцу.

— И тебе, — ответил архидиакон. Вместе с ним шли трое дружников.

— Что тебе нужно здесь? — колдун не собирался скрывать свое отношение к ойконому Пустыни и громко скрипнул зубами.

— Приехал к тебе в гости, — ответил с улыбкой Дамиан.

— Не может быть, — презрительно фыркнул колдун и хотел уйти в дом, но вдруг один из дружников в два прыжка преодолел высокие ступени и успел схватить колдуна за рубаху.

Этого оказалось достаточно, чтобы задержать его, пока не подбегут остальные, и драки на крыльце Лешек не видел — колдуна быстро свалили с ног. Но сопротивлялся он долго: на помощь троем товарищам подоспели другие монахи, и только после этого, через несколько минут, связанного колдуна вывели во двор.

Прятать Лешека теперь не имело смысла, лошадей привязали к поручням мостков, спускавшихся в воду, а его самого — к высокой иве на берегу. Увидев Лешека, колдун опустил голову и прошептал под нос какое-то ругательство. Его под руки держали двое монахов, он стоял на снегу босиком, а Дамиан подошел к нему вплотную и спросил:

— Мне не много от тебя нужно. Всего несколько вопросов и одна вещь. Останешься в живых, если честно все расскажешь.

— Я не люблю говорить, когда у меня связаны руки, — ответил колдун.

— Попробуй к этому привыкнуть, — улыбнулся Дамиан. — Итак, для начала: где ты спрячешь хрусталь?

Лицо колдуна изменилось в одну секунду: он этого не ждал. Никогда ему не приходило в голову, что хрусталь захочет завладеть братия. Он покачал головой и процедил сквозь зубы:

— Ищите.

— Не беспокойся, найдем. Может, ты сможешь нам? Зачем перерывать весь дом и тратить время?

Колдун покачал головой, и Дамиан жестом указал дружникам на сосну, растущую во дворе. Колдуна, так же как и Лешек, привязали к дереву, но сидя, чтобы Дамиан мог говорить с ним сверху вниз. Трое или четверо монахов направились в дом, а остальные встали рядом с Дамианом.

— Ты можешь меня остановить, — прошипел архидиакон и, выхватив из-за пояса плеть, наотмашь хлестнул колдуна по груди и плечам. Колдун лишь сузил глаза и стиснул зубы: плеть порвала рубаху, и на том месте, куда попал ее металлический конец, начало расплываться кровавое пятно. Лешек завыл и забился: Дамиан убьет его! Не так много надо, чтобы этой плетью убить человека! Ему когда-то хватило пяти ударов.

Но колдун не умер ни от пяти, ни от десяти. Судорога пробегала по его телу от каждого удара, и вздрагивали губы, от рубахи остались одни лохмотья, и кровь пропитала ее насквозь, но колдун молчал, откинув голову и глядя в одну точку, поверх головы Дамиана. Лешек разрыдался, но веревки держали его крепко и помочь колдуну он ничем не мог. Пусть дружники найдут хрусталь, пусть Дамиан забирает его и уходит!

— Ты сильный человек, — хмыкнул Дамиан, вытирая лоб, — но у всякой силы есть предел, вот увидишь.

Он ударил колдуна еще несколько раз, пока его не остановил один из дружников — брат Авда, как потом узнал Лешек.

— Дамиан, хватит. Найди другой способ, иначе ты просто его убьешь.

— У меня в запасе много способов, — усмехнулся архидиакон, — но я приберегу их для других вопросов.

Через несколько минут на крыльцо вышел один из дружников и показал Дамиану найденный хрусталь — отыскать его было нетрудно, он лежал на полке в сундуке, замок которого Лешек мог открыть ногтем.

— Это он? — спросил Дамиан, но колдун не пошевелился. — Я думаю, он.

Лешек сам готов был крикнуть, что это то, что им нужно, лишь бы Дамиан больше не трогал колдуна, но его рычания никто не слушал.

— Итак, какой стороной к солнцу его надо повернуть, чтобы заставить людей исполнять мои приказы? — Дамиан пригнулся, словно хотел получше рассмотреть лицо колдуна.

Лешек обмер: откуда они узнали? Кому колдун успел рассказать о хрустале? Тот не смог скрыть горечи: зубы его громко скрипнули, и глаза закрылись.

— А вот мы сейчас его испытаем, — Дамиан потер руки и, когда дружник передал ему хрусталь, направил узкий луч на грудь колдуна. Раны под лучом на глазах начали затягиваться, и Дамиан поспешил повернуть его другой стороной. Радужный, переливчатый свет широким конусом полился на грудь колдуна и на его лицо — Лешек никогда не видел, как солнце преломляется через эту грань хрустала, колдун никогда при нем этого не делал.

— Давай отвечай: что значит «ловить души»? Это мой самый главный вопрос, и я не уйду отсюда, пока не получу на него ответ.

Колдун молчал, и Дамиан недоверчиво посмотрел на кусок хрустала в своей руке, а потом направил радужные лучи на одного из дружников и велел:

— Замри.

Тот переминался с ноги на ногу и остановился ровно в той позе, в которой застал его приказ, — кривой и неудобной. Дамиан опустил хрусталь, но дружник не пошевелился. На лице его застыл испуг, и архидиакон снова направил на него лучи и сказал:

— Читай «Отче наш».

Но дружник молчал, глядя на архидиакона расширенными глазами, полными муки.

— Свободен.

Дружник рухнул в снег как подкошенный и почему-то разрыдался.

— Что ревешь?

Тот ничего не ответил, мотая головой.

— Ну что, мне эта вещь подходит. — Дамиан сунул хрусталь в кошель. — Жаль, на колдуна не действует. Ты расскажешь мне, что значит ловить души, или я спрошу тебя по-другому?

— Спроси по-другому, — скривив лицо, ответил колдун.

— Разводите костер, ребята, — велел архидиакон. — Посмотрим, что он нам скажет.

Колдун молчал. Молчал, когда Дамиан пытал его раскаленным на огне копьём, и когда прижимал к ранам на груди горящие головни, и когда вплотную придвинул угли костра к его босым ногам. По бледному лицу колдуна катился пот, глаза были плотно закрыты, и подбородок дрожал от напряжения, сжимающего зубы. Лешек уже не рыдал и не рвался: в нем что-то надломилось, он перестал воспринимать действительность всерьез, словно происходящее было сном, наваждением. Такого не могло случиться на самом деле! По двору расплзался тяжелый запах горелой плоти, ноги колдуна обуглились, и любой человек давно бы потерял сознание, но колдун молчал и сознания не терял, только угол рта его подергивался непроизвольно, как это всегда бывало с ним от волнения или усталости.

— Кончай, Дамиан! — взмолился другник, прижимавший к земле колени колдуна. Снег вокруг растаял, обнажив мокрую пожелтевшую траву.

Дамиан, который мрачнел с каждой минутой все сильнее, ногой отодвинул угли в сторону, и они зашипели в снегу.

— Выводите из подклета лошадей, кто там еще у него есть, и поджигайте дом, — вздохнул он, и монахи поспешили выполнить его приказ.

Когда дом со всех сторон обложили сеном и соломой, колдун заговорил, и Лешек не узнал его тихого, надтреснутого голоса:

— Там книги, Дамиан. Они стоят дороже, чем кони. Если ты поменяешь их на серебро, купишь все земли Златояра.

— Мне не нужны бесовские книги. Поджигайте дом, что стоите! Я и без них получу все земли Златояра.

Сухая солома полыхнула легко и бесшумно, и Лешек увидел, как по щеке колдуна побежала слеза. Через сто лет неизвестный певец не сможет спеть его песен. И календарей колдуна тоже никто никогда не увидит. Огонь набирал силу медленно и шипел на покрытых ином бревнах подклета. Дамиан продолжал смотреть на колдуна, надеясь, что тот его остановит, но когда пожар охватил бревна и дом было уже не спасти, со злостью отвернулся в сторону.

— Послушай, — предложил брат Авда, — может, этот парень знает о хрустале? Он же жил с колдуном?

— Хорошая мысль, — улыбнулся Дамиан, — давайте его сюда и разводите костер, тут все давно потухло.

Лешек не сразу понял, что речь идет о нем, и даже не успел испугаться, когда колдун заговорил снова:

— погоди, Дамиан. Парень ничего не знает. Он ваш, приютский. Я украл его у вас восемь лет назад и держал у себя силой.

Лешек обомлел: что он такое говорит? Зачем он выдает его Дамиану?

— Так вот где я его видел! — архидиакон хлопнул ладонью по ляжке. — Это тот самый певчий, которого я убил? Зачем тебе щуплый приютский ребенок? Ты что-то темнишь.

— Он зарабатывал мне деньги. Он пел, а люди платили. Хорошо платили.

Зачем он врет? Это же неправда, неправда! — хотел закричать Лешек, но тут понял, что колдун спасает ему жизнь.

— Ладно, я сам его об этом спрошу. Об этом и о хрустале.

— Не трогай парня, Дамиан, — прошептал колдун, — он действительно ничего не знает. Я скажу тебе все, что ты хочешь...

— Стоило тратить столько времени! — хмыкнул архидиакон. — Отойдите все! Дальше!

Дом пылал, перекрытие подклета с грохотом обвалилось, и он медленно осел на землю, накренившись на бок. Кони, беспечные до этого, заржали и начали рваться с привязи.

Дружники послушно ушли в стороны, и Дамиан нагнулся к губам колдуна. Лешек не слышал, что он говорил, но говорил он недолго.

Вот что колдун имел в виду, когда сказал о том, что Лешек сделает его уязвимым! Ради тайны хрустала он пожертвовал всем, он вынес нечеловеческие страдания, он позволил сжечь книги! Лешек не мог ни кричать, ни плакать. Ну и пусть! Пусть! Зачем он сразу не сказал все Дамиану! Зачем! Может быть, теперь его отпустят... Лешек вылечит его, они поставят новый дом...

Дамиан выпрямился, и странная полуулыбка играла на его губах.

— Отвяжите его, — приказал он монахам.

Колдун в первый раз посмотрел на Лешека — в его глазах плескалась боль, но в них не было осуждения. Одними губами колдун шепнул ему «прощай»: он давно понял то, с чем не мог примириться Лешек. Лешек закричал, но сквозь тряпку крик его прозвучал хриплым рычанием, а колдун, повернув голову к огню, запел навстречу ему песню силы. Монахи подняли его, но стоять он не мог, и они держали его под руки, чтобы он не упал.

— Ты все равно не сможешь ходить, — сказал ему Дамиан и кивнул друзьям на горящий дом.

В этот миг упала крыша крыльца, и сквозь дверной проем, охваченный огнем, Лешек увидел горящую комнату — пламя перелистывало книгу колдуна на столе. Страницы взлетали вверх и корчились, скукоживались одна за другой...

Монахи подвели колдуна к огню как можно ближе, от жара прикрывая лица рукавами, и с силой толкнули вперед. Песня силы заглушила гудящее пламя, и в ее последнем звуке слились победный звериный рев и предсмертный крик боли.

С грохотом рухнула тяжелая крыша, поднимая в небо столб черного дыма, перемешанного с искрами. На месте дома пылал огромный костер. Погребальный костер.

Лешек заворуженно, не мигая, смотрел на огонь и чувствовал, что задыхается. Боль пришла потом, а в тот миг он просто задышался, не в силах осознать прошедшего.

— Этого — туда же? — спросил у архидиакона брат Авда.

— Зачем? Пусть живет, — усмехнулся Дамиан, — сделаем подарок Паисию.

Монахи собрались быстро, кинули Лешека поперек седла белого коня колдуна, крепко привязали и двинулись к монастырю по замерзшему болоту. Лешек ни о чем не думал и ничего не чувствовал, и только когда перед ним раскрылись ворота Пустыни, словно наваждение, словно оживший кошмар, вдруг понял, что это жизнь с колдуном была его счастливым сном, а теперь пришло время проснуться и посмотреть правде в глаза. Он снова стал двенадцатилетним мальчиком, запуганным и забитым, снова ощутил унижительный страх, снова втянул голову в плечи, и, когда его поставили на ноги и ввели в двери зимней церкви, рука сама собой потянулась ко лбу, творя крестное знамение.

Лытка, как ни старался, не мог отвлечься от мыслей о Лешеке и внимательно смотрел на каждого дружка, въезжавшего в обитель: вдруг привезли вести о нем? Конечно, перед послушниками «братия» Дамиана не отчитывалась, но слухи, сдобренные домыслами, быстро разносились по монастырю. Когда же Лытка увидел запряженные сани аввы, покидавшего монастырь, тревога охватила его: неужели Лешека нашли? Но его опасения развеял Паисий, который вышел проводить авву и встретил Лытку недалеко от ворот.

— Ты знаешь, кем оказался наш Лешек? — спросил он, и Лытка не понял — рад Паисий или огорчен, — он внук знаменитого волхва, которого когда-то сожгли на костре. Вот поэтому он и не смог обратиться в истинную веру, так что ни твоей, ни моей вины в этом нет. Авва сам поехал его искать. Князь Златояр отказался выдать его Дамиану, и авва надеется с ним договориться.

В жизни Лытки было два по-настоящему счастливых дня. Первый — когда Господь спас ему жизнь во время мора, но не спасение жизни сделало Лытку счастливым — в тот день он видел Иисуса. Видел очень близко. Иисус провел своей тонкой десницей по его щеке, и Лытка помнил его прикосновение до сих пор. И слова Христа, обращенные к нему, тоже помнил. Иисус сказал: все будет хорошо, ты будешь жить. И называл его по имени. И глаза у него были совсем такими, какими Лытка их представлял — большими и светлыми.

Он никому не рассказал об этом, когда вернулся в монастырь, только отцу Паисию. После болезни Лытка долго оставался слабым и беспомощным, и его вернули в Пустынь — он стал обузой для монахов, путешествовавших от деревни к деревне. Во время мора умерло много иноков, в том числе старый отец ойкономом, но многим Господь сохранил жизнь, так же как Лытке. Дамиан, которого авва назначил новым ойкономом Пустыни, предложил похоронить монахов на высоком берегу Выги, на княжеских землях, чтобы люди могли кланяться их могилам и не забывали их человеколюбивого подвига. Авва согласился с этим, и Лытке снова пришлось признать за Дамианом правоту.

Над могилами поставили высокие каменные кресты, и путешествуя по реке видели их издали. Лишь могилы отца Нифонта не было среди них — проклятые язычники сожгли его тело на краде, когда Лытка был чересчур слаб, чтобы за него заступиться.

Вторым счастливым днем стало для Лытки чудесное воскресение Лешека. Всего два месяца назад! И до сих пор у Лытки от радости стучало сердце, когда он вспоминал ту минуту...

В четверг, перед самым обедом, когда они заканчивали спевку (как всегда наверху), дверь в зимнюю церковь распахнулась, и на хоры сразу потянуло морозом. Несмотря на то, что Рождественский храм топили три раза в неделю, в нем все равно было холодно, и певчие кутались в шерстяные плащи и поджимали под себя ноги.

— Эй, Паисий! — услышали все голос отца ойконома. — Смотри, что я тебе привез! Может, теперь ты сменишь гнев на милость и перестанешь пугать меня адовыми муками?

Паисий перегнулся через поручни, огораживавшие хоры, и удивленно посмотрел вниз, шуря подслеповатые глаза.

— Да спустись! Что ты сверху разглядишь? — захохотал Дамиан, и Паисий его послушался. Лытка помог ему сойти вниз по узенькой крутой лестнице — ноги еkkлeсиарха плохо его слушались.

Лешека Лытка узнал сразу, с первого же взгляда, несмотря на то, что тот повзрослел, вытянулся и приобрел тщательно постриженные усы и бородку. Только глаза его были тусклыми и смотрели в одну точку, и губы, прежде мягкие и безвольные, сжались в узкую бледную полосу. Он был одет в волчий полушубок, беличий треух и меховые сапоги, каких в монастыре никогда не видели, и напоминал скорей поселянина.

— Мальчик мой... — прошептал Паисий, разглядев, кто стоит перед ним. — Господь явил нам чудо!

Он осторожно обнял голову ему на плечо, но Лешек не пошевелился, продолжая отстраненно смотреть в стену. Лытка тоже не мог двинуться с места от удивления и радости.

— Это не Господь, а я явил вам чудо, — довольно усмехнулся Дамиан. — Его украл колдун и восемь лет держал у себя, заставляя петь на потеху толпе.

Сердце Лытки замерло от жалости: вот почему у Лешка остановившийся взгляд и скорбно сжатые губы — наверное, жизнь у колдуна была нелегкой. Ничего, в обители он отогреется, здесь он среди друзей...

— Лешек, — он осторожно взял друга за руку, — Лешек, теперь все будет хорошо. Ты узнаешь меня?

— Да, Лытка, — безучастно ответил тот, — я всегда тебя узнаю, даже со спины...

Голос его был хриплым и тихим, будто каждое слово давалось ему с трудом.

Оживал Лешек медленно, очень медленно. Он почти ничего не ел, и Лытке казалось, что он с отвращением смотрит на пищу и еле-еле сдерживает спазмы в желудке, если что-нибудь глотает. А еще Лытка думал, что Лешек непрерывно испытывает сильную боль: когда на него никто не смотрел, лицо его искажалось мучительной гримасой, сухие глаза жмурились и сжимался рот. По ночам он долго не мог уснуть (Лытка, стоя на коленях в молитве, часто ловил его остановившийся взгляд), а если засыпал, то неизменно ежился и стонал во сне, словно ему снились кошмары.

— Лешек, у тебя что-нибудь болит? — спрашивал Лытка.

— Нет, со мной все хорошо, — неизменно говорил тот.

Лешек на все вопросы отвечал вполне осмысленно, но отрешенно, словно заставляя себя выдавливать каждое слово. Только однажды Лытка увидел проблеск жизни в его глазах, если такой всплеск чувств можно назвать проблеском жизни.

— Лешек, не таись, расскажи мне, что с тобой было. Тебе станет легче, вот увидишь! Расскажи мне! — попросил Лытка. — Колдун мучил тебя? Он издевался над тобой?

Лицо Лешка вмиг потемнело, как грозовая туча, глаза широко раскрылись, и оскалился рот.

— Никогда! Слышишь? Никогда не смей говорить ничего плохого про колдуна! Никогда, слышишь? — закричал он и поднялся на ноги, сжимая кулаки.

Лытка усадил его на кровать, стараясь успокоить, но Лешек и сам расслабился, и вдруг, впервые за много дней, из глаз его полились слезы. Лытка решил, что колдун сильно запугал его, если он боится говорить о нем плохо.

Через неделю, в воскресенье, Лешек принял послушание — теперь его положение в обители было определено и никто не косился на него непонимающе. Перед этим Паисий робко предложил ему прийти на спевку — он и жалел Лешека, и боялся, что волшебство детского голоса навсегда потеряно, но когда Лешек, поднявшись на хоры, запел «Богородице, дево», слезы потекли по щекам иеромонаха и он долго сидел, опустив лицо на колени, и вытирал глаза полами рясы.

Время шло, и Лешек ожил, глаза его немного прояснились, взгляд стал осмысленным, а на лице появились чувства и переживания. Только тогда Лытка понял, насколько губительным для души Лешека оказалась влияние колдуна. У него и в детстве было прозвище «заблудшая душа», и если Лытке повезло — он имел таких замечательных духовных наставников! — то Лешеку никто не помог обрести веру.

Его представления о грехе так и остались детскими, немного наивными, словно и не было этих восьми лет, и Лытке стоило большого труда объяснить ему, что бороться с грехом в себе надо не для похвалы духовника, а для самого себя, для спасения своей души.

— И от кого мне надо спасаться? — усмехался Лешек.

— От Сатаны, конечно, от врага рода человеческого.

— Да? А я думал — от Юги. А Сатана — он богу помощник?

— Нет, Лешек! — терпеливо улыбался Лытка. — Сатана — его враг, он наказывает грешников.

— Но если он наказывает грешников, значит, он помогает богу?

— Как ты не понимаешь! Бог хочет спасти людей от Дявола, но если человек грешит, то Бог помочь ему не может! Но, знаешь, для меня спасение — это не главное. Я люблю Иисуса, понимаешь? Он хотел спасти всех людей и за грехи их был распят.

— А Иисус — это и есть бог?

— Бог — это святая Троица. Он един.

— Ну как же он один, если он — троица! Юга, Иисус и Богородица?

— Нет, не Богородица, конечно, а Святой дух, — Лытка посмеивался: он был счастлив, объясняя Лешеку такие простые понятия. И хотя душа Лешека оставалась далекой от искренней веры, Лытка не отчаивался.

Он любил Лешека и прощал ему все: и его заблудшую душу, и изречения, за которые духовник мог бы наложить на него суровую епитимию, и непонимание, и нежелание понимать. Лытке, наверное, было все равно, станет ли Лешек верить так же истово, как верил он сам. Только одно заставляло упорно склонять его к вере: теперь Лешек не был невинным отроком, которого Господь простил бы и принял в рай. Лытка боялся, что за свои заблуждения Лешеку придется гореть в аду, и сердце трепетало от страха за друга. Лешек остался таким же тонким, таким же уязвимым, несмелым, каким был в детстве, и Лытке хотелось закрыть его собой, заслонить, оградить от жестокостей этого мира. Но защитить его от адовых мук Лытка не мог, хотя и молился по ночам за спасение души Лешека.

И в то же время, надеясь, что Лешек ступит на праведный путь, Лытка с ужасом думал о том, насколько ему самому тяжело далось обуздание плоти, и не мог допустить мысли, что Лешеку придется пройти той же дорогой. Этот выбор — адовы муки или страдания на земле — мучил Лытку, заставляя спрашивать совета у Господа. Он не желал Лешеку ни того, ни другого и сам бы с радостью принял за него все, что предназначал ему Господь.

Лешеку все время было холодно: он кутался в плащ на спевках и сжимался в комок под одеялом — ну разве он способен бороться с грехом при помощи мороза? Да он заболит и умрет, если хоть раз выстоит час на снегу босиком.

Как можно мучить его постом, ведь он и так бледный и худой, ему надо пить молоко, это понимал даже Дамиан когда-то. У него тонкая и нежная кожа, и веревка, вроде той, которая когда-то помогала Лытке избавиться от похоти, сотрет ее в один миг! И бессонные ночи для Лешека — напрасная жестокость, он с трудом может выстоять всю ночь, и после этого у него вокруг глаз ложатся черные круги.

Лытку грызли сомнения, и он решил поговорить об этом с самим Лешekom. И когда рассказал ему о своих опасениях, Лешек ответил совсем не так, как Лытка ожидал. Наверное, он не успел привыкнуть к тому, что его друг уже не ребенок, хоть и выглядит моложе своих лет.

— Знаешь, ты боишься за меня напрасно. Во-первых, я не умру от мороза, я каждое утро растирался снегом и частенько купался в проруби, честное слово. Только холод и мороз — разные вещи. Во-вторых, я вовсе не собираюсь усмирять свою плоть, мне и так хорошо. А в-третьих, ты, наверное, не знаешь... На краю света, за далекими непроходимыми лесами, меж кисельных берегов течет молочная река Смородина. За ней лежит солнечная, зеленая земля — светлый Вырий. Там ждет меня колдун. И ни в рай, ни в ад я не пойду. Лытка, у меня другие боги, и они меня не оставят, поверь мне...

Лытка тяжело вздохнул:

— Лешек, ты заблуждаешься, и это самое страшное... Бог — один, других богов просто не существует.

— Давай не будем спорить об этом, ты не убедишь меня, а я — тебя. Расскажи мне лучше, что за шрам у тебя на поясе?

— Откуда ты знаешь о нем? — удивился Лытка.

— Какая разница? Расскажешь?

— В юности меня мучила похоть, теперь это прошло, — улыбнулся он, — я победил свою плоть, как это когда-то сделал Серапион-столпник. Я лучше о нем тебе расскажу, он был настоящим подвижником. Кроме того, что в юности он, обуздывая страсть, обвязывался веревкой, которая впивалась в его тело до крови, он тридцать лет стоял на столбе, представляешь? Тридцать лет — стоя!

— Как? Вот так тридцать лет и не слезал со столба?

— Конечно! И люди видели его подвиг, и многие последовали его примеру!

— Нет, Лытка, ты что-то путаешь... А как он спал?

— Стоя. Как же еще.

— Ну, предположим. А как же он мылся?

— Он не мылся, даже схимники не моются, это же часть подвига.

— Да? Интересно... А как он добывал еду?

— Добрые люди давали ему хлеб и воду.
— Послушай, Лытка, объясни мне — а для чего он это делал?

— В смысле?

— Ну для чего он стоял на столбе? Что в этом полезного?

— Он усмирял свою плоть, и мысли его устремлялись к Богу.

— А для людей, для других людей — в чем для них-то польза?

— Он вдохновлял их своим подвижничеством, я же говорил.

— И они вслед за ним залезали на столбы и стояли там по многу лет?

— Ну да...

Лешек расхохотался. Он хохотал долго, смахивая слезы с глаз и хлопая себя по коленкам, и Лытка, слегка обиженный за своего любимого святого, все равно радовался — Лешек смеялся в первый раз с тех пор, как вернулся в обитель. И хотя смех добродетелью не считался, Лешеку Лытка прощал все.

* * *

В первые недели в обители боль не отпускала Лешка ни на секунду. Она была такой невыносимой, что он не мог даже расплакаться — ему казалось, что если он позволит ей выйти наружу, то она его убьет. Боль мешалась с кошмаром, самым страшным его ночным кошмаром: просыпаясь на тонком соломенном тюфяке, кишевшем насекомыми, Лешек с замиранием сердца ждал, когда же наконец его разбудит колдун и он обнаружит, что лежит на мягкой кровати под теплым одеялом. Колдун всегда чувствовал, что Лешеку снится монастырь, он всегда будил его и сидел с ним рядом!

Пусть это окажется кошмарным сном, пусть колдун разбудит его! Пусть не в их теплом доме, пусть в шалаше среди леса — но пусть колдун будет жив! Пусть Дамиан передумает его убивать, пусть оставит умирать на снегу, и тогда Лешек его вылечит! В мыслях он выбирал для колдуна самые лучшие и редкие травы, он даже знал,

где возьмет их среди зимы и как сделает из них настои и отвары. Он продумал все до мелочей: и как спрячет колдуна в лесу, и как сложит шалаш, и где найдет посуду, и сколько для этого понадобится времени. Он порвет свою рубаху на бинты, он будет перевязывать его каждые два часа, и поить водой, и держать его голову у себя на коленях, как делал сам колдун, когда Лешек болел. И если колдун потом не сможет ходить, Лешек придумает что-нибудь, он будет носить его, и сажать на коня, и помогать ему во всем! Пусть только он будет жив!

Если бы колдун остался жив, Лешек украл бы хрусталь у Дамиана и вернулся, и тогда вообще не нужно было бы строить шалаш — они бы ушли на Онгу, вдвоем, к Милуше и матушке, и построили бы там дом. И колдун снова написал бы свою книгу, они бы вместе переписали еще множество книг!

Лешек тысячу раз мысленно прошел путь из Пустыни к дому колдуна, тысячу раз представил, как хрусталь залечивает его раны на груди и на ногах, и придумал тысячи слов, которые не успел сказать колдуну и которые, несомненно, сказал бы, пока они добирались до Онги: они ведь всегда говорили дорогой.

Спальня послушников на двадцать человек была стылой и душной. Маленькие окна, затянутые пузырем, днем пропускали мало света, зато ночью сквозь них сочился мороз. Топили в доме послушников через день, утром, и к вечеру второго дня в спальне изо рта шел пар, а за ночь бревна покрывались инеем.

Лешек неподвижным взглядом смотрел на Лытку, стоявшего на коленях и шептавшего слова молитв, и ужас холодным сквозняком полз к Лешеку под одеяло: все это — явь, все это — его жизнь, и никто его не разбудит. И пресная пища, и полутемная спальня, и вши, за несколько дней успевшие изгрызть его тело, и тонкое колючее одеяло, и молитва, бесконечная молитва — это теперь его жизнь.

Каждая мелочь монастырского существования поначалу причиняла Лешеку боль. Мокрый черный хлеб с кислым привкусом, с волглой коркой — да матушка бы не сумела испечь такого, даже если бы очень постаралась! Тонкий тюфяк, двадцать человек в одной комнате, запах немых тел, от которого спазмом сжимаются легкие.

Могила. Это могила под крестом, где люди погребены заживо, где они гниют, не успев умереть, — от вшей, от сырости, от нездоровой жизни. Здесь никто не ходит по лесу просто так, чтобы побыть в одиночестве, подумать, посмотреть на небо, тронуть рукой ствол дерева и ощутить, как под корой бежит живой сок. Здесь вообще нельзя побыть одному, здесь в твою сторону все время косятся чьи-то подозрительные глаза, тебя слушают чужие уши, и только схимники наслаждаются одиночеством, но одиночество их — просто еще более глубокая могила.

Выходя же за пределы спальни, особенно днем, Лешек непрерывно чувствовал страх. Ему казалось, что с ним непременно сделают что-нибудь ужасное: за то, что он чужой, за то, что он не желает поклоняться их ревнивому богу. Он считал, что все вокруг видят, о чем он думает, и им хочется заставить его молиться так же, как молятся они. Он ходил на службы, крестился, кланялся и озирался по сторонам: заметил ли кто-нибудь, как ему хочется вырваться из храма?

Лешек принял послушание, чтобы никто не догадался о его ненависти к их богу. Он боялся примерно так же, как в шесть лет, когда ходил по стеночке и опасался громко вздохнуть. Только на этот раз он не хотел быть хорошим, как тогда, он хотел, чтобы все думали, что он — такой же, как они. Он понимал, что его страх не имеет ничего общего с действительностью, но каждую минуту ждал, что о нем доложат Дамиану и тот прикажет дружникам: «Давайте его сюда и разводите костер».

Постепенно страх притупился, а боль ушла вглубь, перестала быть нестерпимой, и вместе с этим пришла тоска: Лешек каждую минуту ощущал бессмысленность монастырской жизни, ее бесплодность, когда каждый день лишь приближает тебя к смерти и не несет ничего, кроме подготовки к ней. Вся жизнь — подготовка к смерти. Как это нелепо, как искажает суть и смысл бытия!

Он и в детстве тяготился бесконечными службами, хотя приютских мальчиков освобождали от большинства повечерий и полунощниц. Послушники же, как и монахи, певшие в хоре, участвовали во всех бесчисленных богослужениях. Лешек посчитал, что в обычный день, не воскресный и не праздничный, стоит на клиросе не менее десяти часов, в праздники же — и все

шестнадцать. Когда-то затверженные наизусть слова бесстыжей лести, обращенной к Богу, всплывали в памяти сами собой, только теперь Лешек старался вдуматься в смысл того, что он произносит: в малопонятные, искаженные до неузнаваемости слова, из которых составлены молитвы. Вдумывался и ужасался: неужели богу и вправду угодно слышать столь откровенное заискивание? Неужели именно эти слова, более подходящие трусливому невольнику в ожидании заслуженного наказания от хозяина, требуются богу?

Тяжелый запах ладана и горящего воска в маленькой зимней церкви плавал над клиросом душным серым облаком, и, если служба шла без перерыва больше трех часов, Лешек чувствовал, как слабеют ноги и не хватает воздуха, как мутная пленка затягивает глаза и свечи расплываются широкими радужными пятнами. Голова трещала и туманилась, и Лешеку стоило большого труда не упасть в обморок, и он старался вдыхать медленно и глубоко.

Среди послушников осталось не так много ребят, вместе с которыми Лешек рос в приюте: часть из них ушла в дружину Дамиана и приняла постриг, часть покинула монастырь, получив наделы земли в близлежащих деревнях, поэтому Лешека окружали в основном люди малознакомые. Единственная его радость в монастырской жизни, Лытка, — и тот все время старался убедить его уверовать в Христа, рассказывая сказки о своем боге. С Лыткой Лешек не боялся быть откровенным, но старался не переходить границ дозволенного. Лытка, по крайней мере, не докладывал духовникам о его «грехах». Остальные же послушники постоянно доносили друг на друга, и Лешеку казалось: чем страшней наказание назначал за грехи духовный отец, тем сильнее они радовались и потирали руки.

Он боялся, что кто-нибудь донесет и на него, ему была отвратительна даже мысль о том, что его высекут на глазах у всех, как нашкодившего щенка. Лешек слушал разговоры послушников с ужасом и отвращением: он никогда не сталкивался с похотью в том виде, в котором нашел ее в монастыре. Лытка не обращал внимания на скабрзности, пропуская их мимо ушей, а когда Лешек спросил, почему он, такой чистый и верующий, позволяет товарищам так говорить, тот коротко ответил:

— Я молюсь за спасение их душ.

— Лытка, это же грех! — улыбнулся Лешек.

— Конечно, они грешат в помыслах. Но они, по крайней мере, не любодествуют, а это немало. С помыслами бороться гораздо трудней. Когда-нибудь они смогут и это.

— Ага, они все время в этом друг другу помогают, — пробормотал Лешек.

— В чем?

— Борются с помыслами. Вместо того, чтобы думать о своих грехах, постоянно докладывают кому следует о чужих.

— Это тоже полезно, — пожал плечами Лытка, — если от греха не спасает стремление к вечной жизни и страх перед адовыми муками, можно уберечь человека от греха страхом наказания.

— Знаешь, я не ребенок, я свободный человек, и мне совсем не хочется, чтобы кто-то таким способом удерживал меня от грехов.

— Лешек, то, что ты говоришь, — это грех гордыни. Мы все грешим понемногу и сами этого не замечаем. Грубым словом, непристойным смехом, дурными помыслами...

— У меня нет никаких дурных помыслов!

— Да пойми ты, так и надо! Мы должны чувствовать свою ничтожность, каждую минуту должны чувствовать, как мы низки, чтобы благодарить Бога за любовь к нам. В своей гордыни мы забываем, как бrenно наше тело, как мы зависим от него, а Бог — он знает об этом, но все равно любит нас! Неужели ты не благодарен ему за это?

— Нет, — бросил Лешек.

— Ты поймешь, ты рано или поздно поймешь...

— Надеюсь, что не пойму.

Лешек никогда бы не признался никому, что к его страху перед Дамианом добавился страх перед наказанием. И теперь, говоря с Лыткой, он всегда осматривался по сторонам — нет ли рядом того, кто побежит докладывать о его греховных речах иеромонахам.

Как-то вечером, когда Лытка пошел помолиться перед образом в церковь, к Лешеку подсел послушник Илларион, из певчих. Ему было лет двадцать, ростом он не вышел, телосложение имел хлипкое и мучился угрями на лице и груди, которые время от времени

становились гноившимися чирьями. Лешек смотрел на его лицо и понимал, что брезгливость, наверное, не то чувство, которое следовало бы испытывать: в этих отвратительных условиях, не умываясь неделями... Что еще можно ожидать? Он непроизвольно составил в голове рецепт для настоя, который бы излечил несчастного за неделю-другую, и с горечью подумал, что тут никто не позволит ему собирать травы, даже летом. Илларион сел на Лыткину кровать и шепотом, чтобы никто его не услышал, спросил:

— Послушай, ты жил в миру... А женщин ты часто видел?

— Каждый день, — ответил Лешек. — Я жил со старушкой, которая заботилась обо мне, вела дом, и...

— Нет, я про молодых женщин.

— Ну конечно видел, — отмахнулся Лешек.

— И... какие они... расскажи, а?

Щеки послушника горели, он опускал глаза и прятал в редких усах странную, глупую улыбку.

Лешеку почему-то стало противно и в то же время жалко его. Он вспомнил, как удивлялся при виде большого количества женщин на торге, как женщины восхищали его — ведь он не потерял этой способности и через много лет.

— Послушай, может, тебе стоит поселиться в какой-нибудь деревне, жениться, завести детей? — спросил он послушника.

— Не-а, — ответил тот. — Там же работать придется, а здесь что? Сыт, одет, обут, молись да пой на службах. Может, меня в монахи постригут.

— Тогда, пожалуй, тебе про женщин слушать и не стоит, — хмыкнул Лешек.

— Ну пожалуйста, расскажи, а? Любопытно же...

— Правда, расскажи! — подскочил сзади еще один послушник, совсем мальчик, с веселыми горящими глазами. — Я видел женщин в прошлом году, меня посылали помогать отцу Варсонофию в Богородицкий храм. Но только издали, меня Варсонофий не пустил близко посмотреть. И еще мы из приюта бежали на них смотреть, но там вообще ничего не видно было.

Услышав его звонкий голос, к кровати Лешека потянулись и другие послушники и окружили его со всех сторон. Глаза у них были масляные, бегающие, они

смущались и бросали друг на друга быстрые взгляды. Лешек растерялся, но тут из угла спальни раздался голос сорокалетнего Миссаила, которого, наверно, специально поселили в спальню к молодым — иногда осаживать их молодецкий пыл. Послушники, которые никогда не станут монахами, жили в другой спальне.

— А вот я завтра отцу благочинному расскажу, — проворчал он. — Про женщин им захотелось. К постригу надо готовиться, а не о блуде думать. Или хотите, как я, всю жизнь на скотном дворе провести?

— Заткнись, Миска! Только попробуй кому-нибудь рассказать! — рявкнул на него здоровенный послушник — Лешек еще не знал их всех по именам.

— Ты-то чего испугался? Ты ж розги любишь! — расхохотался Илларион.

— Я розги люблю, а не плети. И потом, про баб послушать охота! Не блудить, так хоть повоображать немножко.

Лешек смотрел на них с ужасом, и озорная, нехорошая мысль не давала ему покоя: что если спеть им сейчас песню из тех, что он пел поселянам на Ярилин день? Что с ними со всеми после этого будет? Да у них при слове «женщина» начинают течь слюни!

— Я ничего вам рассказывать не стану, — покачал он головой.

— Тебе жалко, что ли? Сам, небось, баб жарил, когда хотел! — презрительно изогнул рот Илларион.

У Лешек передернулись плечи. Он творил любовь... Он был богом, ярым богом весны и плодородия. Только они никогда не поймут, что любовь — это красиво, и чисто, и вовсе не зазорно. Они краснеют, в их глазах стыд, на мокрых губах — сладострастные улыбки, у них дрожат руки, и страх заставляет их коситься в угол, где лежит Миссаил, обещавший донести на них благочинному. Они омерзительны самим себе, и, наверно, их чувства иначе как похотью не назовешь.

Лешек лег на кровать и уткнулся лицом в подушку. Его тошнило.

— Расскажывай, а то я завтра благочинному донесу, что ты смеялся над Серапионом-столпником, — кто-то подтолкнул его в бок.

Лешек стиснул зубы — донесут, запросто донесут! А потом с теми же сладострастными, плотоядными

улыбками станут смотреть, как его секут. Может, и вправду спеть им песню о любви? Чтобы они поняли, что это такое? Так ведь не поймут же!

Он рывком поднялся и сел, исподлобья оглядывая послушников, разинувших рты.

— Ну слушайте, — прошипел он.

И спел песню про Лелю. Ту самую, что сочинил, когда впервые ее увидел. О прекрасном белом цветке. Он пел негромко, но в спальне все неожиданно смолкли и смотрели на него во все глаза и ловили каждое слово, даже Миссаил сел на кровати.

И когда он замолк, в другом углу вдруг раздались рыдания: плакал молоденький послушник, который из приюта бежал смотреть на женщин в Богородицкий храм.

— Ты чего? — спросил его Илларион. — Чего реवेशь-то?

— Червяк я, мерзкий червяк! — всхлипнул парень. — Все у меня не как у людей! Вон красота-то какая бывает! А я все о блуде думаю... Я даже когда на Богородицу смотрю, и то о блуде думаю!

— Да ладно врать-то, — хмыкнул кто-то. — Богородица — она ж непорочная дева, она бы с тобой никогда не легла...

— Откуда ты знаешь? — вскинулся парень. — Может, и пожалела б меня! Богородица — она добрая, я ей все время молюсь. Вот просил у нее, чтобы отец Варсонофий меня с собой взял в ее храм, и он меня взял! И еще просил, чтобы у меня живот болеть перестал... ну, в общем, она мне всегда помогает.

Лытка вернулся незаметно, услышав только последние несколько фраз, перекрестился и сел на свою кровать.

— Ты не слушай их, — сказал он Лешек, — это они от глупости своей говорят.

— Я заметил, что не от ума, — фыркнул Лешек.

— Ты не понимаешь... Усмирить плоть — это трудно, не всякий может.

Однажды после литургии Паисий ненадолго задержал Лешек в церкви, и тот вышел во двор позже остальных. Тонкий подрясник продувался насквозь, и шерстяной плащ не сильно спасал от холода, поэтому к дому послушников Лешек скорей бежал, чем шел. Дорога от зимней церкви была прямая, и он с удивлением

увидел, что с десятков послушников не заходят в трапезную, а толпятся неподалеку от входа, и из-за их спин далеко разносится тонкий, срывающийся голос, преисполненный ужаса:

— Господи, прости меня! Господи, прости и помоги! Грешен, Господи, грешен, помилуй меня!

Лешек не успел подойти ближе, чтобы понять, в чем дело, как вместо мольбы над двором раздались страшные крики, срывающиеся на визг, такие громкие, что он не сразу смог разобрать за ними низкий свист плетей.

Двое монахов хлестали лежавшего на снегу обнаженного юношу, того самого молодого послушника, который все время молился Богородице, а третий время от времени плескал на его тело ледяную воду из ведра. Лешек отшатнулся, и первым его желанием было закрыть глаза и зажать руками уши. Потом он подумал, что монахов надо остановить, что в своей жестокости они заходят слишком далеко, но страх схватил его за горло — он с легкостью представил себя на месте несчастного и застонал от бессилия, гнева и собственной трусости. Лешек отступил на шаг, но наткнулся спиной на чьи-то твердые руки: Лытка.

— Стой, — кивнул тот ему.

Юноша извивался и катался по снегу, стараясь увернуться от хлестких ударов плетью, и снег под ним окрасился кровью; лицо, искаженное болью и криком, было залито слезами, и визгливые вопли мешались с храпящими всхлипами, и хрипом, и попытками выговорить слова о пощаде. Его выпученные глаза с покрасневшими белками металась по сторонам, как у испуганной лошади.

Лешек почувствовал, что сам сейчас закричит и упадет на снег, он попытался оттолкнуть Лытку, но тот крепче сжал его плечи руками.

— За что, Лытка, за что? — прошептал Лешек. — Что он такого совершил? Это же... Это...

— Это за грех рукоблудия, — спокойно и буднично ответил Лытка: ни жалости, ни осуждения не прозвучало в его голосе.

Лешек рванулся из его рук: отвращение, страх, жалость, бешенство — он был не в силах справиться с собой, его душила безысходность. И, когда Лытка

попытался его удержать, он толкнул его руками в грудь и спотыкаясь побежал к крыльцу.

Здесь негде побыть одному, здесь негде спрятаться, и спальня послушников предназначена для сна и молитвы, а не для размышлений и уединения. Лешеку все равно некуда было бежать, единственное место — его собственная кровать, жесткая, холодная, с соломенным тюфяком и тонким колючим одеялом, одна из двадцати таких же точно, под большим деревянным распятием. Он зарылся лицом в жидкую подушку и зарычал, зажимая себе рот и уши: из подушки полезли острые перья и кололи губы и щеки. Крики за окнами прекратились и перешли в стоны и причитания, смолк свист плетей, но Лешеку казалось, что он слышит их до сих пор, и они надрывали ему сердце.

Послушники направились в трапезную — по коридору протопало множество ног. Лешек подумал, что не сможет есть, и не пошевелился, когда Лытка зашел в спальню и присел на соседнюю кровать.

— Ты обедать-то пойдешь? — спросил он мирно.

— Нет, — ответил Лешек.

— Послушай, ты относишься к этому слишком... слишком серьезно.

— Да.

— Лешек, послушай... он совершил большой грех, с таким грехом он не сможет войти в Царствие Небесное. Так пусть лучше он искупит его здесь, на земле, и предстанет перед Господом, очистившись от скверны!

Лешек вскочил и посмотрел Лытке в глаза:

— Так это ты называешь очищением? Эту мерзость, это отвратительное действие — ты называешь очищением? Превратить человека в скота, в жалкого червя, заставить его ползать в корчах и визжать от боли — это очищение?

— Ты не понимаешь. Телесные муки возвышают, приближают к Богу!

— Да? Я это уже слышал, и не один раз. Но каким же чудовищем должен быть твой бог, если это — самый верный способ к нему приблизиться!

— Лешек, Бог один. Он и твой, и мой, и наш общий... И потом, разве не прелюбодеяние превращает человека в скота? Разве не уподобляется он скоту, когда беззастенчиво ублажает свою плоть, забывая, что губит этим

душу? И только раскаянье, искреннее раскаянье может ему после этого помочь.

— Ты хочешь сказать, что он раскаялся в содеянном сам и сам рассказал об этом духовнику?

— Нет, конечно, — вздохнул Лытка.

— Донесли, правда? Подсмотрели в щелку и донесли! Какая мерзость, Лытка, какая это грязь! Неужели ты не видишь? Я любил женщин, Лытка. И они любили меня. Я не могу смотреть на это так же, как ты.

Лицо Лытки стало растерянным, несчастным и немного испуганным:

— Лешек, ты что... ты хочешь сказать, что ты занимался блудом?

— Блудом? — рявкнул Лешек и придвинул к нему лицо. — Нет, я творил любовь! И в этом нет ничего скотского, это прекрасно! И душа от этого становится чище и свободней.

— Лешек, ты должен покаяться.

— Да ну? А если я этого не сделаю, ты на меня донесешь? Чтобы завтра я катался по снегу и визжал, да? Чтобы этим я приблизился к богу и вошел в царствие небесное очищенным от скверны?

— Нет, доносить на тебя я не стану, — Лытка сжал губы, — ты должен сам, понимаешь? Лешек, я хочу тебя спасти, я хочу, чтобы для тебя открылись врата рая. И путь туда лежит через покаяние. Царствие Небесное — оно для всех, мы сами своими грехами отвергаем его!

— Мне не нужно царствие небесное, в которое надо ползти на карачках! Мне не в чем каяться, я не делал ничего дурного. Я, возможно, виноват перед кем-то, перед тобой, например, но перед твоим богом мне каяться не в чем.

— Лешек, я понимаю, это тяжело. Но через это надо пройти, пойми. Хочешь, я вместе с тобой пойду к духовнику...

— Не надо.

— Лешек, ты просто боишься, ты слаб телесно, я понимаю. Ты всегда был... таким. Но ты поймешь, рано или поздно поймешь, что другого пути нет.

— Лытка, я не боюсь. Я боюсь не того, о чем ты думаешь. Я уже не тот маленький Лешек, который плакал при виде розги. Пойми, я не хочу превращаться в червя! Не боли боюсь, я боюсь потерять самоуважение.

— Да нет, ты боишься именно боли. Прости, но я хорошо тебя знаю. А духовник всегда назначает епитимию сообразно возможностям. И потом, мы скажем, что к блюду тебя принуждал колдун...

— Не смей, — оборвал его Лешек. — Меня никто не принуждал. И никогда не смей говорить плохо о колдуне, слышишь? Никогда! Колдун любил меня.

— Что, и грех мужеложства на тебе? — в отчаянье прошептал Лытка.

— Да ты с ума сошел? — фыркнул Лешек. — Вы тут все безумны! Рукоблудие, мужеложство! Да я о мужеложстве впервые узнал только в монастыре, мне и в голову не могло прийти, что такое возможно! Вы сидите здесь, и гниете в своих несбыточных желаниях, и предаетесь каким-то нездоровым порокам, и ищете лазейки в писании, и подглядываете друг за другом в щелки, и пускаете слюни, когда видите чужую боль, и сами рады ложиться под плеть, будто она доставляет вам наслаждение.

Лытка смутился и потупился:

— Извини, я не хотел тебя обидеть. Просто...

— Просто под словом «любовь», если это не любовь к богу, вам мерещится порок, потому что вы больше ни о чем не думаете, только о пороке!

— Да, потому что мы боремся с пороком! Мы побеждаем свою плоть и хотим отринуть ее совсем, освободить от нее душу!

— И как? К старости вам это удастся? Нет, это плоть побеждает вас. Потому что я свободен, а вы — нет. Колдун как-то сказал мне, что во время поста, когда монахам положено думать о Боге, они преимущественно думают о мясе. А мне зачем думать о мясе, если я его просто ем?

— Лешек, услаждение плоти — прямая дорога в ад. Как ты не понимаешь, я хочу спасти тебя от геенны огненной! Колдун уже горит в аду, ты хочешь встретиться с ним там?

— Колдун ждет меня за молочной рекой Смородиной, на Калиновом мосту, на самом краю зеленого светлого Вырия. Твой бог убил не всех богов на небе, и там есть кому за меня заступиться.

Лешек прикусил язык, потому что дверь в спальню распахнулась, и двое монахов втащили внутрь избитого

мальчика-послушника, все еще голого, мокрого, окровавленного и плачущего.

— Которая его кровать? — спросил один из монахов у Лытки, и Лытка показал в угол спальни. Монахи сгрузили тело, кинули в изголовье скомканную одежду и ушли, отряхивая мантии и топая ногами.

Лешек закрыл лицо руками — ему невыносимо было слышать всхлипы юноши, его начинала бить дрожь от одного воспоминания о страшном наказании, но он вдруг понял, что снова непроизвольно составляет в голове рецепт настоя, который помог бы мальчику.

Он поднялся, поймав удивленный взгляд Лытки, и направился в угол спальни, где на своей кровати, поверх одеяла, сжавшись в комок, плакал послушник. Лешек провел рукой по его волосам и сказал:

— Не плачь, малыш. Сейчас, я уложу тебя как следует.

Он осторожно вытащил одеяло из-под дрожавшего тела, но даже этим причинил мальчику боль, и тот заплакал еще сильнее.

— Ничего, все пройдет... Сейчас.

Лешек принес ему и свое одеяло тоже, завернул его в плащ, чтобы колючая ткань не тревожила его раны, и укрыл, надеясь, что под двумя одеялами послушник все же сможет согреться.

— Лешек... — позвал Лытка. — Зачем ты это делаешь?

— Вы что-то говорили о любви к ближнему... — проворчал тот. — Лучше сходи к больничному, попроси у него полотенец, мятной настойки и календулы или подорожника. Такие простые травы у него должны быть, правда? Тебе дадут.

— Лешек... Ты... — Лешек разглядел в глазах Лытки блеснувшие слезы. — Ты... Господь возьмет тебя в рай только за это, я уверен.

— Я не хочу в рай, — буркнул Лешек. — Пожалуйста, сходи к больничному.

Лытка кивнул и вышел — Лешеку показалось, что лицо у него счастливое и... какое-то светлое.

— Ну что ты ревешь, а? — спросил он мальчика.

— Я грязный... я мерзкий... — всхлипнул тот, и слезы побежали у него из глаз двумя узкими ручейками.

— Это неправда. Это тебе сейчас так кажется. Как тебя зовут?

— Вообще-то Ярыш, но крестили меня Иаковом.

— У тебя хорошее имя. Так чего же ты плачешь, ведь не из-за того же, что ты грязный и мерзкий, правда?

— Это Илларион, гадюка, донес... — сквозь слезы прошептал юноша. — Он любит смотреть, поэтому и доносит. Гадюка, сам ведь... сам ведь по ночам... по пятницам... Больно-то как было, ужас...

Лешек погладил его лоб и скрипнул зубами. Как-то колдун сказал, что забрал бы из монастыря всех мальчиков, но кто же ему даст. Лешек тоже забрал бы отсюда всех. Ему нечем было обнадежить Ярыша, поэтому он гладил его по голове и повторял:

— Ничего, все пройдет.

Когда послушники потянулись в спальню после обеда, Лешек успел промыть раны настойками, принесенными Лыткой. Пора было собираться к вечерне, зимой ее служили рано. Мальчик немного успокоился, только всхлипывал время от времени и все еще дрожал. Одним из последних в спальню вошел Илларион и тут же пальцем показал на Ярыша.

— Видали, как его вздули сегодня? — он глупо захихикал. — Эт я его сдал! Вот потеха-то была! Если кто не видел, могу рассказать!

Потеха? Лешек задохнулся от злости, кровь ударила ему в голову, он забыл и про осторожность, и про свои страхи и, шагнув в сторону Иллариона, сгреб левой рукой узкий ворот его подрясника.

— Потеха? — прошипел он в прыщавое, дурно пахнущее лицо, в бегающие, юркие глазки, не удержался и, широко размахнувшись, ударил Иллариона кулаком в нос, выпуская из рук его воротник. Илларион навзничь повалился на ближайшую кровать, схватившись за лицо, из глаз его брызнули слезы, и почти сразу из-под ладоней закапала кровь.

— Ты! Ты! — завыл он. — И тебя сдам, понял? Расскажу, что ты в миру баб жарил, а каяться не хочешь! Понял?

Лешек отступил на шаг и закусил губу, испугавшись того, что сделал. Ведь и вправду донесет, что ему стоит? Но неожиданно рядом с ним встал Лытка и стиснул его руку в своей.

— Только попробуй, — с усмешкой сказал он Иллариону. — Ты даже не представляешь, что с тобой будет, если

ты это сделаешь. Всю жизнь выгребные ямы будешь чистить.

У Иллариона от удивления высохли слезы на глазах, и дрожавший подбородок замер. Лешек посмотрел на Лытку: он был совсем таким, как восемь лет назад, — сильным и честным, восстанавливающим справедливость крепкими кулаками.

Лешек проснулся среди ночи, как всегда от холода, и не увидел Лытки ни перед распятием, ни в постели. Он сначала удивился, а потом услышал в углу тихий разговор: Лытка сидел на кровати Ярыша и рассказывал ему об Иисусе. Лешек не хотел прислушиваться, но голос Лытки заворожил и его. Он рассказывал о том, как Иисус ходил по земле и являл людям чудеса и как одним прикосновением излечивал страждущих. Лешек начал потихоньку дремать под его спокойный рассказ, как вдруг насторожился.

— А откуда ты знаешь, какой он был? — недоверчиво спросил Ярыш.

— Я видел Иисуса, — сказал Лытка и вздохнул.

— Правда? Где? Неужели он и сейчас спускается на землю?

— Нет. Это было во время мора. Я умирал, у меня не хватило сил даже выйти из церкви, и тогда я решил, что умру в объятиях Христа. Я добрался до распятия и потерял сознание у его подножья. Я не знаю, сколько прошло времени, но я пришел в себя от того, что кто-то гладил меня по щеке. Ты не думай, это произошло на самом деле, оно мне не привиделось. Я открыл глаза и увидел Иисуса. Я приветствовал его и думал, что уже умер, но он назвал меня по имени и сказал, что я буду жить.

Лешек чуть не вскочил с постели и хотел крикнуть: «Лытка, так это же я! Я, а не Иисус!» Но, секунду подумав, решил не разочаровывать друга: в его голосе было столько восторга, и радости, и благоговения. Пусть верит в эту красивую сказку, пусть думает, что на самом деле видел Христа, что же в этом плохого? Лешек усмехнулся про себя и покачал головой.

— А какой он был? — спросил Ярыш, и в его голосе Лешек тоже услышал благоговение.

— Знаешь, сегодня, когда Лешек подошел к тебе и провел рукой по твоей голове, он был похож на него. Я знал, что это Лешек, но на секунду мне показалось, будто сам Иисус спустился к тебе, чтобы сказать, что прощает тебя и принимает твои страдания во искупление греха.

Лешек хотел сказать, что Иисусу наплевать на юного Ярыша и он бы ни за что не стал к нему спускаться, но снова промолчал — пусть думают, как хотят.

— А Лешек будет гореть в аду, потому что он язычник? — голос Ярыша был испуганным.

— Нет, Лешек же крещен, значит, уже принадлежит Господу, он просто заблуждается немного, но это пройдет. И сегодня... он ведь поступил так, как поступал Иисус, недаром мне показалось, что я вижу Иисуса... И, я думаю, Господь простит его. За его любовь к падшим, за его милосердие — Господь простит его. Знаешь, я ведь не сумел пожалеть тебя, пока он не вразумил меня своим поступком. Видишь, как трудно распознать грех в самом себе, — моя гордыня, как бы ни боролся я с ней, все равно владеет мной, а я и не подозревал об этом.

Рассвет был мутным, пасмурным, черный лес сбросил с себя снежные одежды — ветер обнажил гибкие ветви берез и темную хвою тонких елей, похожих на направленные в небо копыя. И их чернота на снегу походила на пятна сажи, испачкавшей беленую печь, — неопрятная, неудобная, броская.

Два года назад они с колдуном ехали этой дорогой ночью и говорили и колдун смеялся, а Лешек даже не представлял себе, какое это было счастье. Верней, не так: он знал, что счастлив, но не думал об этом — счастье к тому времени стало воздухом, которым он дышал, счастье стало естественным, как солнечный свет, как чистая вода. И Лешек не замечал его. Если бы это время можно было вернуть! Он бы пил это счастье мелкими глотками, он бы дорожил каждой минутой, он бы не позволил ему так просто утекать сквозь пальцы!

Узкая Песчинка вилась меж берегов, будто ленточка в женских кудрях, и Лешек вспомнил Лелю, летние ночи, и сплетенные руки, и нежные прикосновения друг к другу, сладость тесных объятий. Вспомнил, как обрывается дыхание и душа, словно птица с широкими крыльями, парит над зеленью леса и блестящей гладью реки, а внизу тысячью самоцветных осколков на траве блестит роса, тронутая первыми лучами солнца.

И впервые Лешек подумал, что если Дамиан его убьет, на земле, кроме его песен, останутся два мальчика, дети Гореслава и всё же — правнуки Велемира.

Дом Невзора прятался за деревьями — с реки его нельзя было рассмотреть, и Лешек пытался вспомнить, где же нужно свернуть, чтобы не проехать мимо. Два года назад он не запоминал дороги, полагаясь на колдуна, да в темноте не очень-то и разглядел, куда они едут. Летом, наверное, волхва вообще нельзя отыскать, но на этот раз Лешек издали увидел тропу, ведущую наверх, а вскоре заметил и прорубь, затянутую тонким ледком.

Спешившись, он поднялся на крутой берег и сразу увидел редкую изгородь за деревьями — вокруг стояла тишина, словно в доме никто не жил. Но, подойдя поближе, Лешек расслышал, как в конюшне всхрапнула лошадь, и почувствовал запах дыма: наверняка

Невзор был дома. Добрался? Лешек неожиданно подумал: а что будет, если волхв не захочет взять хрусталь? Вдруг он побоится обладать вещью, за которую убили колдуна? Колдун говорил, что Невзор очень осторожен; вдруг из-за этой осторожности он не станет связываться с Лешekom и с хрусталем, что тогда? Может быть, не стоило уповать на него, а сразу пробираться на Онгу, к родственникам колдуна, к матушке и Милуше? Но кто бы тогда помог ему отомстить за смерть колдуна? Кто, кроме Невзора, ненавидит Пустынь с той же силой, что и сам Лешек?

Подходя к крыльцу, он с каждой секундой все сильнее убеждался, что его путь был напрасным. Это глупость, ребячество — надеяться на Невзора. Он просто привык во всем полагаться на кого-то, искать защиты у тех, кто его сильнее и умней, он не умел быть один и рассчитывать только на собственные силы. Невзор — друг колдуна, но колдуна он не заменит. Да, он тоже облагодетель, он тоже владеет Знанием, но кто сказал, что он станет помогать Лешeku в его стремлении отомстить? И потом, чего Лешек хочет добиться? Убить авву? На его место тут же встанет кто-то другой. Уничтожить монастырь, раскатать его по бревнышку, как когда-то мечтал колдун? Так ведь его отстроят заново, в камне, как это делается в Удоге. И даже если вместе с монастырем убить всех монахов, на их место придут другие, не сразу, но придут. Эта земля принадлежит церкви, и та никому ее так просто не отдаст. Дойти до Новограда? Разрушить собор святой Евдокии? Или сразу метить в Царьград, чего там — разрушать так разрушать! Лешек усмехнулся: он ничего не добьется. С Невзором или без — он ничего не добьется!

Он хотел уже повернуть назад, но теплые стены дома манили его — ничего не изменится, если он все же поговорит с волхвом. Во всяком случае, Невзор подскажет ему, что теперь делать, если сам не захочет взять хрусталь.

Волхв открыл дверь, когда Лешек поднялся на крыльцо, и брови его удивленно поползли вверх:

— Лешек? Ты? Как ты тут оказался? А где Охто?

— Охто... — начал Лешек и осекся: он не мог произвести этого вслух. Будто вместе с его словами что-то исчезнет безвозвратно, словно он перережет какую-то

невидимую нить, связывающую явь со сказкой, и эта сказка перестанет существовать.

— Проходи, проходи, раздевайся, ты, небось, замерз.

Лешек кивнул и шагнул внутрь: в доме волхва ничего не изменилось. Вот за этим столом когда-то сидел колдун, что-то доказывая Невзору, вот у этой печки Лешек грелся, слушая их разговоры, — все осталось прежним. И боль снова накатила на него, безысходная, нестерпимая. Он опустился на скамью у печки, стащив с головы малахай.

— Так что, расскажешь ты мне или нет, что случилось? Почему ты приехал один? — Невзор помог ему снять полушубок и поставил самовар.

— Охто... он больше не приедет, — смог выговорить Лешек, — Охто... он... его нет в живых.

Невзор медленно сел на стул и закрыл лицо руками, низко опустив голову. Он долго сидел молча, а потом поднял глаза — в них Лешек увидел странную, отрешенную твердость, уверенность. словно волхв думал о чем-то, а потом сделал выбор и перестал сомневаться.

— Расскажи мне, как это случилось, — тихо сказал он.

Лешек отчаянно покачал головой. Нет. Никогда он не сможет выговорить этого, облечь в слова страшные воспоминания, которые, словно острые лезвия, резали сердце на кусочки.

— Я не смогу... Я... я не смогу, — выдохнул он.

— Сожгли? — коротко и зло спросил Невзор.

Лешек кивнул и почувствовал спазм в горле — такой тяжелый, что пришлось взяться за шею руками, словно стараясь освободиться от душившей веревки. Как это... просто. Одним словом, которое ставит точку, подводит итог. Необратимый итог. Будто никогда не было книги, которую колдун писал день и ночь, чувствуя приближение конца, будто ревущее пламя не сминало ее страниц. Будто не было тайны хрустала, которую в глазах колдуна перевесила жизнь Лешека. Будто не было песни силы, спетой навстречу страшной смерти. Это слово перечеркивает не только жизнь — оно перечеркивает ее смысл. И смерть тоже становится бессмысленной. Уничтожили, стерли! Наказали... Будто имели на это право. И жизнь, и смерть колдуна теперь можно обозначить одним коротким и страшным словом.

Лешек посмотрел на Невзора и тихо, сухо кашлянул, словно и вправду чуть не задохнулся. А потом заговорил, борясь с хрипотой: слова застревали в глотке и не желали выходить наружу. Он говорил долго и отстраненно и смотрел в одну точку... И когда боль перестанет быть нестерпимой, Лешек сочинит песню о его смерти.

Лицо Невзора менялось каждую секунду: ужас, страдание и ненависть неизменно сменялись странной его решимостью, и скулы его каменели, и глаза тускнели и замирали, чтобы вновь вспыхнуть нехорошим огнем. Но когда Лешек замолчал, лицо волхва опять приобрело отрешенность и неподвижность — Лешек подумал, что Невзор хочет прикрыть лицо руками, чтобы не чувствовать нестерпимого жара огромного костра, чтобы не мерить на себя чужую участь и... чтобы любой ценой избежать этой участи.

— Ты пришел ко мне, потому что тебе больше некуда идти? — спросил волхв после затянувшейся паузы.

Лешек покачал головой. И нехорошее предчувствие вновь зашевелилось в груди: он вдруг испугался Невзора. Испугался его решимости, его отстраненности.

— Я принес хрусталь, — сказал он тихо и тут же пожалел о своих словах.

Глаза Невзора на секунду загорелись, и Лешек отшатнулся назад, ударившись затылком о печь: во взгляде волхва он увидел надежду, и пришла эта надежда на смену твердой решимости, словно хрусталь способен был изменить сделанный волхвом выбор. Всего на одну секунду, но этого оказалось достаточно. Мысли Лешака заметались, как лошади в горящей конюшне, и одна из них, самая чудовищная и самая очевидная, ударила ниже пояса и заставила задохнуться. Лешек забыл, забыл о самом главном: кто же рассказал Дамиану о хрустале? Откуда он узнал о его оборотной стороне?

Жестокость, подлость, обман — эти пороки были Лешеку понятны, он сталкивался с ними на каждом шагу. Но предательство... Это не укладывалось у него в голове.

Колдун никому не говорил об оборотной стороне хрустала. Почему-то сейчас это стало очевидным: он просто не мог никому больше об этом рассказать, он осознавал силу, которой хрусталь обладает. Колдун не был легкомысленным мальчишкой, который стал бы хвастаться

своей волшебной вещью на каждом углу. Он и Невзору-то рассказал об этом только потому, что доверял ему и не хотел, чтобы тайна хрусталья ушла вместе с ним в могилу.

Почему Лешек раньше не подумал об этом? Почему?

Он вспомнил последний взгляд колдуна, обращенный в его сторону, и обмер: колдун не верил в предательство Невзора. И под пытками, и умирая, но спасая Лешекую жизнь, колдун думал, что это Лешек, Лешек, а не Невзор, раскрыл тайну Дамиану!

Ему не хватило сил даже на ненависть. Он хватал воздух ртом и вспоминал: наезженная дорога по Песчинке — волхв редко покидал дом, он просто не мог наездить санного пути, за последние несколько дней намело столько снега! И кони ржали в конюшне... И широкая тропа вела на высокий берег, и... Сегодня небо затянуто тучами, и хрусталь бесполезен. Вот почему нет никакой надежды, вот почему всего на секунду поколебалась решимость волхва — решимость предать еще раз.

— Охто думал, что это я... — с горечью шепнул Лешек, глядя Невзору в глаза, — он думал, что я могу... что я могу его предать.

— Я стар, мальчик. Когда тебе будет столько же лет, сколько мне, ты поймешь... — глаза волхва оставались жесткими и холодными.

— Охто думал, что это я... — снова шепнул он.

— Ты поймешь ценность жизни, ценность каждой ее минуты, — продолжил Невзор. — Я тоже несу Знание, и моя смерть ничем не лучше и не хуже смерти Охто. Когда-нибудь ты поймешь, когда-нибудь ты захочешь жить настолько, что не станешь считаться ни с чем.

— Я уже не хочу жить! — закричал Лешек. — Я не хочу этой жизни, я не хочу ее такой ценой! Лучше бы я умер вместе с Охто! Я не смогу жить, я не смогу! Он думал, что это я! Он умирал и думал, что это я! Он любил меня, он простил мне даже предательство, а я его не предавал! Я любил его, я никогда бы не предал его! Я поднимусь к нему, я скажу ему, что это неправда!

Неожиданно дверь распахнулась, но Лешка это не удивило: он ждал, когда же наконец монахи выйдут из своего убежища. Бежать не имело смысла. Дамиан, пригнувшись под низкую притолоку, шагнул в дом со словами:

— Не поднимешься, а спустишься, мой мальчик. В ад. И очень скоро. И не надейся, что умрешь легко. Смерть колдуна покажется детской забавой по сравнению с твоей собственной.

И тут Лешек понял, что чувствовал Дамиан во время помутнений. Вместо страха ярость охватила Лешека, он перестал отдавать себе отчет в своих поступках, он не думал — он превратился в кровожадного зверя, которого долго дразнили сквозь прутья клетки, и теперь единственным его желанием стала жажда крови, жажда рвать глотки зубами. Безумие придало ему силы и ловкости, он издал звериный вой, прыгнул на Дамиана, словно огромный кот, и с рычанием вцепился ему в горло пальцами, стараясь зубами дотянуться до плоти. Убить! Вот единственное, чего он хотел. Убить! За Охто! Не за страх, который преследовал его всю жизнь, не за унижения, не за угрозы — за смерть колдуна, за ту легкость, с которой Дамиан перечеркнул чужую жизнь, за книгу, страницы которой пожрало пламя!

Дамиан не ожидал нападения, опрокинулся на пол и захрипел, а Лешек впился зубами в его глотку и почувствовал во рту кровь. Она опьянила его еще сильнее и окончательно снесла преграды, которые отделяют человека от зверя. Трое монахов, вошедших в дом вслед за архидиаконом, кинулись тому на выручку, и выломали Лешеку руки, и разжали зубы, запрокинув ему голову назад, но он все равно продолжал бешено сопротивляться, и выдерживал руки из захватов, и рвал зубами все, до чего мог дотянуться.

— Не вздумайте его убить! — прохрипел Дамиан, поднимаясь на колени и зажимая рукой кровоточащую рану на кадыке. — Он только этого и добивается!

Лешека прижали к полу лицом, и двое монахов всем весом пытались удержать его в таком положении, и выкручивали руки, и били носом об пол, но он не чувствовал боли, и рвался, и рычал, пока наконец его не обмотали веревками с головы до ног, вытянув руки вдоль тела, и не поставили на колени, запрокинув голову назад. Дамиан, к тому времени вставший на ноги, велел отпустить его, а потом, размахнувшись, ударил Лешека ногой в живот: тот отлетел назад, в угол между печью и стеной, и, скрученный в узел, мог только корчиться на полу, силясь вздохнуть и подняться.

— Вот все, что ты можешь, — лицо Дамиана презрительно скривилось. — Укусить меня, как мелкая шавка. Ты — ничтожество, жалкая трусливая тварь, и умрешь ты жалкой трусливой тварью, извиваясь, визжа и умоляя меня о пощаде.

Он подошел к Лешеку и еще раз пнул его носком сапога, теперь в пах, и от боли у Лешека из глаз брызнули слезы. Он снова скорчился, подтягивая колени к животу и пригибая к ним голову, но Дамиан заставил его разогнуться, вытянув по поясице плетью. Он ударил несильно, скорей играя, но и этого было достаточно, чтобы Лешек тонко вскрикнул и перевернулся на спину, тщетно стараясь защититься связанными руками.

— Жалкая, трусливая тварь, — прохрипел Дамиан еще раз, убирая плетль за пояс, — тебе никогда не стать таким, как колдун. Поехали, ребята. Стоило бы привязать его к хвосту лошади, но ведь он сдохнет, не добравшись до Выги.

Невзор сидел за столом и смотрел на происходящее с каменным лицом, словно изваяние, — он купил себе жизнь слишком дорогой ценой, чтобы теперь рисковать ею, жалея Лешека. Но до помощи монахам он не опустился, и Дамиану пришлось заставить его перевязать укушенную шею, перед тем как покинуть его дом.

У Лешека забрали крусталь, зашитый в пояс штанов, а его самого, перекинув через седло, привязали к коню, которого дал ему князь. Его полушубок и шапка остались у волхва, но горячие бока лошади согревали, да и мороз был не слишком силен. Дамиан залез в сани, которые прятались в подклети, и завернулся в медвежьих шубы.

Ехали довольно скоро, не давая коням передышки, словно архидиакон стремился как можно быстрее добраться до обиталища и привести в исполнение свои угрозы, — нетерпение угадывалось в каждом его движении и слышалось в каждом слове.

Лешек смотрел на мелькавшие копыта коня и изредка ронял слезы, стекавшие на лоб. Он на самом деле жалкая трусливая тварь, но почему-то будущее не вселяло в него страха, только горечь и осознание собственного бессилия: не столько перед Дамианом, сколько перед самим собой. Он никогда не станет таким, как колдун,

и умереть с песней силы на устах ему не дано. Наверное, его судьба, как и предрекал Дамиан, — умереть визжа, извиваясь и умоляя о пощаде. Пусть. Это ничего не меняет. Он умрет, так или иначе, и тогда скажет колдуну, что тот напрасно считал его предателем. Может быть, колдуну станет легче. Лешек не думал больше ни о чем — только о том, как больно колдуну было признавать его предательство и все равно простить его, и не осудить, и спасти его от мучений, и пожертвовать ради него жизнью и тайной. Лучше бы его убили тогда, вместе с колдуном. Эта отсрочка не принесла Лешеку ничего, кроме страдания. И его жалкая попытка унести из обители хрусталь тоже ничем не кончилась — его изловили, как зайца, благодаря его же собственной дури. Надо было идти на север. Надо было взвесить все, надо было вспомнить о том, кто владел тайной хрусталя, а не надеяться на то, что колдун рассказывал о ней всем и каждому.

Через несколько часов изнурительная тошнота подступила к горлу — голова Лешека болталась вниз, и каждый шаг коня переворачивал внутренности. Он давно ничего не ел и не дождался, пока вскипит самовар Невзора, только поэтому его не вырвало. Ему казалось, что тошнит его от самого себя, от своей глупости и бессилия. На середине пути Дамиан велел остановиться и посадить Лешека на снег — видно, подозревал, что тот может умереть. Монахи растерли снегом его лицо, сдирая с него кожу: тошнить от этого не перестало, но в голове немного прояснилось. И хотя они стояли возле Дальнего Замошья, архидиакон не стал заезжать в деревню, и монахи, наскоро помолившись, перекусили прямо посреди дороги.

— Дайте ему вина, я не хочу, чтобы он сдох от жажды, — велел Дамиан и кивнул на Лешека.

Но когда один из дружников поднес флягу к его рту, Лешек лишь покачал головой и поплотнее сжал губы. Он хотел пить, но мысль о приторно-сладком вине вызвала только спазмы в желудке. Дамиан, увидев это, не поленился вылезти из саней и нагнулся к Лешеку, цепко взяв его за подбородок.

— Ты будешь есть и пить, когда этого хочу я, понятно? Тебе не удастся умереть от голода, не надейся.

Он двумя пальцами сдавил щеки Лешека, приоткрывая рот, и кивнул дружнику, стоявшему с баклагой наготове. Лешек попытался вырваться, но Дамиан сгреб его волосы пятерней и запрокинул голову назад. Кагор хлынул из баклаги в глотку, и Лешеку пришлось его глотать, чтобы не захлебнуться. Он хрипел и кашлял, вино, булькая, выливалось через нос и, падая в желудок, скручивало его судорогой.

— Ну как, причастился? — со смехом спросил Дамиан, выпуская его из рук.

Лешек согнулся — рвало его мучительно и долго, но как только спазмы прекратились, Дамиан снова открыл ему рот и велел дружнику влить в него новую порцию кагора. Лишь на третий раз архидиакон успокоился, убедившись в том, что глаза Лешека помутнели от хмеля.

Дорогу до Лусского торго он помнил плохо — сначала тошнота, а потом озноб и мелькавшие перед глазами копыта; Лешек впадал в забытьё и выныривал из него, и мыслей в его голове не осталось вообще: когда они въехали на постоялый двор, он думал только о том, что умрет, не добравшись до Пустыни.

Оказалось, что в Лусском торге их ждет сам авва. Ночевать на соломе постоялого двора отцам Пустыни не пристало, и Лешека оттащили в избу, в которой авва и Дамиан расположились на ночлег, — архидиакон никому не доверил его охранять, не надеясь ни на запоры, ни на веревки. Лешека, еще не вполне протрезвевшего, привязали к одному из столбов, поддерживавших потолок и деливших пространство дома на две части: хозяйственную и спальную. У дверей Дамиан поставил двоих монахов и задвинул засов изнутри.

Хозяин постоялого двора принес им горячий ужин и косился на Лешека с жалостью, но не посмел ни спросить о нем у монахов, ни попытаться ему помочь. Впрочем, Лешек не ждал от него даже жалости, а уж о помощи не думал вообще. Ноги не держали его, он безвольно обвис на стянувших тело веревках, и его охватило равнодушное оцепенение, похожее на забытьё. Он слышал, о чем говорит с Дамианом авва, но смысл их разговора его не занимал.

Дамиан, потирая руки, доказывал, что вид кающегося грешника должен пойти братии на пользу, а уж

он постарается изобразить адовы муки в лучшем виде. Жаль, этого не увидят сомневающиеся в Божьем величии крестьяне. Авва не разделял его воодушевления, морщил лицо и просил избавить его от подробностей.

Постепенно разговор их перешел на более сложные материи. Авва разглядывал хрусталь, крутил его в руках, смотрел сквозь него на свет масляной лампы.

— Надо же... Благодаря твоей доверчивости и неосмотрительности мы едва не потеряли его... Ты сам-то понимал, что лежит у тебя в сундучке?

Дамиан скрипнул зубами:

— Я исправил эту ошибку.

— Благодаря моему предположению, если ты помнишь. Ты бы никогда не изловил мальчишку, если бы не знал, что он пойдет к волхву, — авва тихо засмеялся.

— Я достал бы его из-под земли, — прошипел архидиакон.

— Ладно. Неважно, каким путем, но мы вернули его. Тебе не кажется, что нам кое-чего недостает, чтобы использовать его с безопасностью для себя? Во всяком случае, на первых порах?

— Да? По-моему, это такое сильное оружие, что к нему нечего больше приложить.

— Если бы сегодня светило солнце, это оружие повернулось бы против тебя, Дамиан. Не мальчишка, так волхв догадался бы остановить тебя с его помощью. Как видишь, обладание хрусталем не сделало их неуязвимыми.

— Ты хочешь сказать...

— Да. Я хочу сказать, что в пасмурную погоду хрусталь не более чем ценность, обладать которой захочет каждый. И что ты сделаешь без солнца против войска Новоградского, например? Ничего!

— Я уже говорил: нам нужен облакогонитель. Невзор, с его умением предсказывать погоду, с его заклинаниями дождей, вполне нам подойдет.

— Ты обольщаешься, — фыркнул авва. — Боги помогают Невзору, когда он просит дождей на поля, но кто тебе сказал, что они разгонят облака для осуществления твоих честолюбивых замыслов?

— Авва, что я слышу? — Дамиан изменился в лице, и голос его прозвучал тихо и испуганно. — Ты говоришь о поганных идолах? Деревянных истуканах?

— Оставь, Дамиан! Перед тобой лежит подарок одного из этих истуканов, а ты продолжаешь сомневаться в их существовании? Я думал, что отсутствие божьего страха в тебе — знак того, что ты понимаешь, с кем имеешь дело, а оказывается — ты просто недалевидный болван!

Архидиакон проглотил оскорбление, не поморщившись.

— Но... но ведь это означает...

— Да, именно это оно и означает.

— Авва, но почему? Почему ты выбрал служение именно этому богу, если мог выбрать любого другого?

— Потому что с ним можно договориться, — не моргнув глазом ответил отец-настоятель. — Во все времена люди делились на две части — жрецов и их паству. Не всякий служитель бога — жрец. Колдун был жрецом, в нем не было страха перед жизнью, он носил всего один оберег, да и тот не для защиты от темных сил, а из любви к миру, от желания быть причастным к нему. И вспомни, сколько этих звонких железяк ты снял с его наперсника. Десять? Больше?

— Но мы-то носим только крест.

— Да, но посмотри на Паисия, посмотри на схимников, гниющих в своих выгребных ямах, — это жрецы? Нет, они просто преуспевают в желании быть паствой. Овцами. Самыми покорными и самыми преданными овцами. Мне казалось, что ты не стремишься стать бараном в их стаде. И уж тем более смешны попытки этих агнцев увлечь за собой других овец. Нет, для того, чтобы вести стадо на бойню, бараны не подходят.

— Авва... ты пугаешь меня...

— Что, не хочешь? Иди, поклонись Невзору — колдуну кланяться поздно. Их богам не нужны стада покорных овец, но и служить им нелегко. Для того, чтобы подняться над стадом овец, не нужно быть их пастухом, достаточно стать козлищем, вот почему я выбрал этого бога. Подумай, как легко управляться с теми, кто основной добродетелью считает покорность! Вот почему твои честолюбивые планы — дурь и химера. Не за землями, не за деньгами и властью надо охотиться. Овладевай душами, и власть придет к тебе сама, Дамиан. И Бог

не забудет тебя, когда тебе придется предстать перед его ликом.

На лице аввы застыла брезгливая маска — по всему было видно, что он разочарован в архидиаконе.

* * *

В декабре монахи начали готовиться к Рождеству, и рождественский пост ввел Лешек в грех уныния. Горьковатая похлебка из сушеных грибов с мокрым хлебом, каша без масла и тушеная репа через три дня встали ему поперек горла. Он всегда был равнодушен к еде, а тут начал испытывать постоянный голод и ел гораздо больше обычного. И даже поправился — матушка и не подозревала, что ее несбыточная мечта сделать его толстеньким так легко осуществима: всего-то и надо было держать его на хлебе и воде.

Погода тоже не радовала — морозы сменились пасмурной сыростью, печи теперь топили раз в три дня, и насельники начали простужаться. На службах постоянно слышался кашель и хлюпанье носов, и Лешек недоумевал: неужели и от этого они не умеют лечиться? Ведь это же так просто! Иногда хватало жаркой бани, чтобы избавиться от хвори, но и без нее он знал немало средств, избавляющих от насморка и кашля.

Как-то раз Лытка между делом обмолвился, что отец Варсонофий занедужил так тяжело, что его положили в больницу и больничный опасается за его жизнь. Лешек немедленно вспомнил, как колдун спас иеромонаха во время мора, и, как ни странно, почувствовал обиду: он не любил Варсонофия, и колдун тогда отнесся к иеромонаху с презрением, но вылечил же! А теперь Варсонофий умрет от какой-то простуды? Только потому, что больничный за всю свою жизнь так и не научился пользоваться простейшими отварами? Нет, больничный, конечно, был милым и добрым человеком, ухаживал за своими подопечными с усердием и сочувствием, но ведь столько лет колдун давал ему подробные наставления, кого и как следует лечить, а тот так ни разу и не смог применить их самостоятельно.

— Пойдем в больницу сходим, навестим отца Варсонофия, — предложил Лешек, презрительно сложив губы.

Лытка удивился и, наверное, ждал от Лешека подвоха; он и сам недолюбливал Варсонофия, хотя и изображал на лице благочестивое всепрощение, когда о нем заходила речь, но пожал плечами и согласился.

В больнице было жарко натоплено, и Лешек в первый раз согрелся, оказавшись рядом с больными. У постели Варсонофия он увидел уже знакомого ему высокого немого монаха. Больничный радостно приветствовал Лытку и долго рассматривал Лешека, но расспросить его так и не решился: наверняка он узнал его и наверняка слышал, что тот жил у колдуна, поэтому, когда Лешек попросил осмотреть иеромонаха, больничный ему не отказал и не удивился.

Отец Варсонофий лежал в горячке и, похоже, действительность не воспринимал. Губы его посинели, и крылья носа трепетали, с усилием втягивая воздух. Лешек раздел его и долго прислушивался к хриплому, свистящему дыханию, прижимая ухо к узкой желтой груди. Ребра поднимались неровно — правая половина отставала от левой, что никак не могло быть добрым знаком.

— Топи печку, — велел он больничному, пощупав пульс и заглянув больному в рот.

— Так ведь топили недавно! Еще не ушел жар-то.

— И топка горячая?

— Горячая, горячая! Хлеб можно печь!

Лешек усмехнулся и велел раздобыть штук восемь глиняных горшочков, чем мельче, тем лучше, и пока больничный собирал их и мыл, успел послать Лытку на кухню за тестом. По-честному, такое действие он производил только вместе с колдуном и был не вполне в себе уверен, но, судя по состоянию, жить отцу Варсонофию оставалось недолго и терять было нечего.

Лешек сам заточил нож, когда поставил горшочки в печь, обернув толстыми полосками теста их ободки, и нагрел его острый кончик в пламени свечи. Лытка смотрел на его приготовления с недоверием и страхом, подозревая в его действиях богопротивный обряд, несовместимый с лечением иеромонаха.

— Лытка, не смотри на меня так, — Лешек и сам переживал. — В этом нет никакого колдовства, я колдовать не умею.

Немой монах помог Лешеку перевернуть отца Варсонофия на живот, но стоило Лешеку нагнуться над его

спиной с ножом, как тот перехватил его руку и посмотрел на Лешека угрожающе. Лытка, похоже, испугался не меньше немого монаха.

— Я не собираюсь его убивать, — Лешек тяжело вздохнул и побоялся высвободить руку из крепкого захвата. — Я не причиню ему вреда, честное слово.

Но неожиданно на помощь ему пришел больничный:

— Не трогай его, Аполлос. Я видел, колдун однажды лечил так старого послушника, и тот остался жить.

Немой монах снова посмотрел Лешеку в глаза и неохотно разжал кулак. А у Лешека дрожали руки, когда он прикоснулся к пергаментной старческой коже острием — как колдун ни старался приучить его к твердости, Лешеку ее все равно не доставало. Что и говорить, к лекарскому делу способностей у него было не много. Колдун с легкостью вправлял вывихи и сломанные кости, рвал зубы, накладывал швы — Лешек же так и не научился действовать хладнокровно: он боялся причинять боль тем, кого лечил.

Варсонофий застонал, повел плечом и забормотал что-то неразборчиво: Лешек в испуге отдернул руку.

— Помоги мне, — попросил он немого монаха. — Я боюсь поранить его сильнее, чем нужно.

Монах кивнул и прижал плечи старика к кровати. Лешек стиснул зубы и сделал несколько тонких неглубоких надразов, так чтобы из них не начала сочиться кровь. Лытка принес нагретые горшочки из печи, не удержался и спросил:

— А зачем на них тесто?

Лешек усмехнулся, взял тряпкой первый горшок и снял с него толстую горячую ленточку, обжигая пальцы и хватаясь за мочку уха.

— Это чтобы ободок не нагревался и не обжег спину, только и всего, — он тронул край горшочка тыльной стороной ладони, убеждаясь, что тот не жжется, и прижал его к спине Варсонофия: горшочек постепенно втянул в себя кожу, — а ты думал?

Лытка улыбнулся ему в ответ — не иначе, думал он о поганных обрядах.

После того, как горшочки сняли со спины и вытерли густую темную кровь, скопившуюся под ними, Лешек велел завернуть иеромонаха в теплые одеяла и, не имея

возможности долго готовить отвары, потребовал стакан горячего молока с медом.

— Так ведь пост... — прошептал Лытка в испуге.

— Ничего, он покается, когда выздоровеет, — мрачно ответил Лешек.

— Болящим можно, — подтвердил больничный.

Лешек рассказал больничному, какие растирания и отвары надо приготовить, и начал осматривать остальных лежавших в палате монахов, когда немой Аполлос, услышав звон била, поднялся с места и вышел вон.

— Лешек, пора идти на ужин, — сказал Лытка. — Мы опоздаем.

— А здесь я не могу съесть положенный кусок хлеба с водой? — поинтересовался Лешек.

— Конечно нет! А как же молитва? Лешек, хлеб насущный нам дает Господь, и вкушать его надо как положено, за столом, поблагодарив перед этим Бога.

— Знаешь, я, пожалуй, не пойду, — он склонился над послушником средних лет, которого бил сухой кашель. — А багульник тут есть? Если есть — надо заварить. Но лучше, конечно, семена просвирника. Нету?

Больничный покачал головой, нетерпеливо оглядываясь на дверь, — наверное, тоже собирался ужинать.

— Лытка, ты иди, — сказал Лешек другу. — Зачем ты-то будешь голодать?

— Нет уж, я останусь с тобой, может быть, смогу чем-то помочь.

Лешек провозился с Варсонофием до самой ночи, пока не почувствовал, что перелом болезни наступил: старик потел, горячка оставляла его, лицо порозовело, он начал понимать, что происходит, и называл Лешека учеником колдуна.

— Лешек, ты удивительный человек, — сказал Лытка, когда они направлялись в спальню послушников. — Ты похож на Иисуса, ведь он лечил больных.

— Колдун тоже лечил больных, и я надеюсь, что когда-нибудь буду похож на него, а не на Иисуса, — проворчал Лешек.

— Лешек, Иисус принял мученическую смерть, спасая людей. Как ты можешь сравнивать его с колдуном!

Лешек остановился и взял Лытку за плечо:

— Колдун тоже принял мученическую смерть, — выдохнул он, — но спас он только одного человека — меня.

И ночью тихим шепотом рассказал Лытке о хрустале и о том, что Дамиан собирается с его помощью отобрать земли князя Златояра — и не только их, и это будет война бога против людей. На этот раз Лытка не стал говорить, что Бог един, — он почему-то легко поверил в честолюбивые замыслы Дамиана и испугался.

— Ну вот, а я думал, что Дамиану конец! — с горечью сказал он.

— Почему? — удивился Лешек.

— Ты только никому не рассказывай. Мне отец Паисий передает все, о чем узнает. Ему же не с кем поделиться с тех пор, как погиб отец Нифонт. Авва рукоположил брата Авду, и сразу в сан иерея. Только об этом никто не знает, кроме некоторых иеромонахов и самого Авды. Паисия это возмутило — как это можно быть иереем тайно? Но они молчат, потому что ненавидят Дамиана. Дамиан еще не разобрался с Пельским торгом, а уже собирается идти дальше на север, но авва считает, что им не удержать тех земель, которыми они владеют. Сотня дружников — это очень мало. Дамиан хотел увеличить дружину втрое, но авве это не нравится — кто-то же должен дружину кормить, а Пельский торг доходов пока не приносит. И потом, дружники — они только считаются монахами, а на самом деле — обычные головорезы, особенно те, что пришли со стороны. Им ведь разрешили постриг на пять лет раньше, чем остальным, так некоторые постригаются после двух дней послушничества, и крестного знамения творить не умеют, и ни одной молитвы не знают.

— Знаешь, если Дамиан увеличит дружину втрое, он с аввой будет говорить совсем по-другому, — хмыкнул Лешек.

— Я понимаю. Но в последнее время авва вдруг сменил гнев на милость, и мы никак не могли понять почему. Оказывается, это из-за хрусталя! Представь себе: не надо никакой дружины! Не надо идти на север! Земли Златояра богаче, крестьяне привыкли отдавать половину снопа, и железо там добывают! Да и с Пельским торгом можно разобраться за несколько дней!

Лытка скрипнул зубами и замолчал. Лешек ничего не сказал о том, что хрусталь ловит души, он и сам толком не понимал, что это означает, но подумал: авва наверняка заинтересовался именно этим свойством хрусталя.

— Лешек, это ужасно — то, что ты мне рассказал... — шепнул Лытка, — это так страшно... Неужели, чтобы служить Богу, нам нужно столько земель? Ведь монах должен обходиться малым...

— Лытка, прости, конечно, но ты не понимаешь главного: во-первых, служить богу не очень-то дешево. Посмотри на убранство церквей, посмотри на иконы в золотых и серебряных окладах, посчитай, сколько свечей сжигается ежедневно лишь в монастыре! Да этого бы хватило целой деревне на всю зиму! А книги? Ты знаешь, сколько стоит одна книга? И в книгах ваших нет знаний, в них только божественный свет, которым не накормишь голодных и не вылечишь больных. А сколько стоят праздничные ризы и мантии, ты считал? Ну, а во-вторых... Ты не поймешь меня... Новые земли — это новые души, которыми владеет церковь. Ты не видишь в этом ничего дурного, я понимаю. А я вижу. Только не начинай со мной спорить — бесполезно. Это новые стада баранов, которых приучают к покорности!

— Лешек, я бы поспорил с тобой, но сейчас не хочу. Как бы там ни было, а пользоваться хрусталем — это все равно что предать Бога, даже во славу его.

Лешек хотел рассмеяться, но в темной спальне это прозвучало бы слишком непристойно. Их богу наплевать на предательство, ему все равно, какой ценой авва приведет стадо к его порогу! Но сказать об этом Лытке он не осмелился.

С этого дня Лешек каждый день приходил в больницу после ужина, если не служили повечерия, и помогал больничному. Из живицы с патокой и медом он наделал леденцов от кашля, которые охотно сосали все насельники, научил их бороться с насморком, нюхая лук, а в более сложных случаях сам готовил отвары, и пластыри, и растирания.

Лытка не оставлял его ни на минуту и, в отличие от больничного, на лету схватывал науку колдуна. Лешек учился восемь лет, и то не смог с колдуном сравняться.

— Знаешь, Лытка, я когда-то очень хотел, чтобы колдун и тебя тоже украл из монастыря. И сейчас думаю, что в этом был смысл! Ты бы стал ему лучшим учеником, чем я.

— Спасибо, конечно, но... — Лытка смутился и испугался этой мысли.

По ночам же Лешека начала мучить мысль: это он виноват в том, что авва получил хрусталь. Колдун бы умер, но не открыл Дамиану тайны. И если он виноват, то должен что-то делать! Лешек мысленно сжигал настоятельский дом, но как он ни напрягал воображение, Дамиан неизменно спасался и выносил хрусталь из огня. Лешек думал раздобыть у дружников меч или топор и убить Дамиана спящим, но понимал, что это ничего не изменит, а убить и авву, и Дамиана он бы просто не успел. Он придумывал еще множество способов, иногда они даже казались ему осуществимыми: в конце он неизменно погибал героем, достойным колдуна, и отправлялся к нему, за Калинов мост.

Но едва наступало утро и Лешек шел на службу, от его героизма не оставалось и следа: он озирался по сторонам, пригибал голову, а стоя на клиросе, старался занять место во втором ряду, спрятаться от взглядов Дамиана, иеромонахов и аввы. И уверял себя в том, что совершит подвиг, но потом, немного позже. «Давайте его сюда и разводите костер», — гремел в ушах голос Дамиана, и внутренности сжимались, и тошнота подступала к горлу, и дрожали колени.

Больница немного отвлекала его от серой обыденности монастыря, но если поначалу смрадный быт обители причинял ему боль, то теперь начал раздражать, и Лешек доходил до иступления, вытряхивая по вечерам тюфяк, или давясь куском кислого хлеба, или умываясь утром одним маленьким ковшиком чуть теплой воды. Бороды монахам стричь запрещалось, и это раздражало тоже, а вечером, когда они с Лыткой входили в спальню после свежего зимнего воздуха, духота и вонь были столь нестерпимы, что Лешеку хотелось развернуться и бежать обратно на мороз. Он не мог пожаловаться Лытке, который находил в этом пользу, не мог объяснить, что грязь, вши и дурная пища приводят к болезням, что изматывающий холод не позволяет ни обтираться снегом, ни умываться ледяной водой: после этого нельзя согреться, а потому вреда будет больше, чем толку.

Баня, в которой одновременно мылись двадцать человек, холодная и не очень чистая, вывела Лешека

из себя: размазывая грязь по телу, он думал, что можно не лениться — заготавливать больше дров и приносить больше воды, рядом лес и река! Они с колдуном за три летних дня справлялись с дровами на всю зиму. Как Лешек любил эти дни! Колдун неизменно кланялся дереву, которое собирался спилить, просил у него прощения и благодарил. Лешек сначала не понимал, зачем это нужно, но колдун однажды прижал его руку к коре и сказал:

— Все живое хочет жить. Лес дает нам дерево, чтобы мы могли жить, поля кормят хлебом нас и наш скот — чтобы мы могли жить. И не стоит забывать об этом. Эта береза умрет, чтобы зимой мы не замерзли. Так неужели мне трудно согнуть перед ней спину, принимая жертву леса?

И Лешек тоже кланялся деревьям, ему было жалко их пилить, потому что они живые, но колдун говорил, что брать у леса надо столько, сколько требуется, не больше, но и не меньше, иначе жизнь людей потеряет смысл.

Монахи не кланялись деревьям.

Подвиги подвигами, а Лешек ждал наступления лета, чтобы уйти. Он стал раздражительным, постоянно огрызался, и время как назло тянулось медленно — каждый серенький день казался ему бесконечным. И самыми томительными были службы — скучные, помпезные и бессмысленные. Лешек уставал от неподвижного выстаивания в духоте, на глазах у братии, когда нельзя шевельнуться, чтобы никто этого не заметил, нельзя изменить выражение лица, изо всех сил сохраняя на нем восторг и благоговение, иначе...

Лешек не тяготился пением, но внутри у него все переворачивалось, когда он думал, кому он поет хвалу. И слова, произносимые им, вызывали у него отвращение: к церкви, к Паисию и к самому себе. Когда же иеромонах затягивал бесконечное «Господи, помилуй», а хор подхватывал его слова, Лешек с трудом удерживал на лице благочестивое выражение, не зная, смеяться ему или плакать.

В детстве он не задумывался о сложных канонах церковного пения, просто повторял мелодии, которые выбирал для него Паисий, теперь же ученый Лытка просвещал его, и Лешек понял, что Паисий на самом

деле очень опытный и способный наставник хора. Он не только знал все, что положено знать экклесиарху, он действительно «слышал музыку», он умел разложить ее на разные голоса, чего не делали в Удоге, — Лешек обратил на это внимание, когда колдун возил его к доместику. Недаром в Пустынь издали приезжали знатные гости — то, к чему Лешек привык с детства и принимал как должное, для многих было откровением.

Ближе к Рождеству снова ударили морозы, и сырость сменилась заиндевевшими стенами спальни — холод пробирал до костей, а Лешек так и не успел к нему привыкнуть. Он не боялся мороза, но одно дело нырнуть из жаркой парной в темную прорубь, или искупаться в снегу, выбравшись из-под теплого одеяла, чтобы спустя несколько минут прижаться спиной к горячей печке, или в лютую стужу идти через лес, насвистывая что-нибудь веселое, и снимать шапку, чтоб не вспотеть. И совсем другое — стучать зубами под одеялом, а потом, дрожа и ежась, умыться холодной водой, и бегом бежать до церкви, и там стоять, ощущая, как от неподвижности стынут ноги и леденеют руки.

Лытка, принимавший холод как способ умертвить плоть, жалел Лешека, отчего становилось еще противней: ему казалось, что холод стал его существом, что руки и ноги навсегда останутся синими и холодными и сердце до конца жизни будет биться медленно, как у сонного гада промозглой осенью.

За неделю до Рождества, направляясь из церкви в трапезную, Лешек случайно увидел двух расшалившихся приютских мальчишек, посланных за водой к колодцу. Он и сам не понял, почему остановился, — нехорошее ли предчувствие было тому причиной или воспоминания приютского детства заставили его задуматься и загрустить. Поначалу мальчишки шалили безобидно, толкая друг друга в спины и размахивая пустыми ведрами, надеясь попасть друг другу по плечу, но постепенно их озорство перешло в противостояние: к тому времени, как они добрались до колодца, пинки стали злыми и ощутимыми, а выкрики — обидными и сердитыми. Ребята были маленькими — не больше восьми лет, и один из них, младший, вдруг напомнил Лешеку сына Лели, ясными зелеными глазами и лукавой улыбкой.

Мимо прошел молодой иеромонах и строго посмотрел на шалунов, но не остановился, чтобы их пожурить. Лешек уже хотел пойти дальше, тем более что Лытка ждал его и проявлял нетерпение, да и холодно было. Младший из мальчиков ловил ведро, а старший поднимал его за перекладину журавля, отрывая ноги от земли и поджимая их под себя. Впрочем, несмотря на малый рост, ловкости ему было не занимать: он нарочно старался отодвинуть ведро от младшего, дразня того недомерком. Младший тянулся за ведром, поднимаясь на носочки, и в конце концов ухватил его обеими руками, но старший дернул перекладину в сторону, надеясь вырвать веревку у него из рук. Ноги мальчишки оторвались от земли, он всей тяжестью повис на веревке, и Лешек, чуя беду, кинулся к нему на выручку. Но не успел: перекладина журавля подняла старшего в воздух, руки его разжались, и младший, ничем не удерживаемый, с криком ухнул в колодец вслед за ведром.

Впрочем, крик его через секунду смолк, и Лешек успел увидеть, как над ним сомкнулась темная ледяная вода. Молодой иеромонах, и Лытка, и еще несколько человек тут же окружили колодец со всех сторон.

— За ведро, может, схватился? — с надеждой шепнул кто-то, заглядывая вниз.

— Не, не видно.

Высокий сильный послушник нагнул перекладину «журавля», но ведро поднялось над водой свободно — мальчик наверняка выпустил веревку из рук от испуга. Лешек путался в завязках плаща: скорей всего, ребенку перехватило дыхание от холода и он камнем пошел на дно. Интересно, насколько колодец глубок? Он так и не смог развязать узла и рванул плащ с шеи; ткань треснула с шумом, и Лытка оглянулся:

— Лешек, Лешек, ты что?

— Ничего, — рыкнул тот и скинул на снег узкий неудобный подрясник, оставшись в одних штанах: мороз вгрызался в кожу, и без того покрытую мурашками, и от холода захватило дыхание.

— Не смей, Лешек! Не смей! — Лытка схватил его за руку. — Ты утонешь!

Лешек вырвался и хотел снять неудобные, огромные лапти, но подумал, что время слишком дорого.

— Дурак, пропадешь! — Лытке на выручку пришел молодой иеромонах, хватая Лешека за другую руку.

— Я не утону, — спокойно ответил Лешек. Вода теплее воздуха, ничего страшного не случится, вот вылезать будет по-настоящему холодно. Он вырвал руку и перемахнул через сруб колодца, оскользаясь на обледеневших бревнах.

— Лешек! — крикнул Лытка ему вслед, и черная масляная вода накрыла Лешека с головой.

Колодец оказался глубоким, ему пришлось дважды выныривать на поверхность. Легкие отказывались втягивать воздух, Лешек хватал его ртом и насильно проталкивал в себя. Только на третий раз шарившая по дну рука нащупала развевавшуюся одежду — Лешек ухватил дитя за пояс и потащил наверх.

Воздух в колодце был теплей, чем на дворе: чтоб вода не замерзала, его накрывали тяжелой широкой крышечкой. Света и так не хватало, а над срубом со всех сторон склонились темные фигуры людей, высматривавших, что происходит внизу. Лешек поднял голову мальчишки над водой, но тот не дышал — от холода и от испуга такое случается. Лешек взял его рукой за шею и почувствовал, как под пальцами робко бьется тонкая жилка. Он хлопнул мальчишку по щеке, но это не помогло, тогда Лешек раскрыл ему рот двум пальцами и с силой вдохнул в него воздух. Ребенок закашлялся и широко раскрыл блестящие в полутьме глаза.

— Ведро опускайте! — крикнул Лешек наверх и закашлялся сам. Долго он не протянет — почти голый, без движения, — холод убьет его. Странная вещь судьба. Ведь именно в этом колодце он когда-то хотел утопиться, но ему помешал Дамиан.

Главное, чтобы ребенка выдержала веревка. Лешек уперся ногами и плечами в скользкие бревна и, проявляя чудеса ловкости, обвязал ею пояс мальчика.

— Руками держись, малыш, держись крепче, — сказал он, но мальчишка не понял его, и пришлось насильно совать ему в руки веревку, за которую он ухватился судорожно и надежно.

— Поднимайте, — крикнул Лешек, надеясь, что веревка выдержит. И она выдержала — он увидел, как сразу несколько рук схватили дитя, отодвигая от опасного колодезного провала.

— В больницу несите! — добавил он, не вполне уверенный, что в приютской спальне малыш отогреется.

Лешек повезло меньше — многострадальная веревка оборвалась, едва приподняв его над водой, и он с шумом и брызгами рухнул обратно, еще и ударившись спиной о ведро. И за те пять минут, что монахи бегали за новой веревкой — толще и надежней, — он успел попрощаться с жизнью несколько раз. Холод он чувствовать перестал, движения замедлились, и дыхание подчинялось ему с трудом. Лешек посмотрел наверх (теперь только Лытка склонялся над колодцем) и вдруг увидел, что на ясном небе, показавшемся ему сумеречным, ярко и отчетливо проступают самоцветные камушки звезд. И если он сейчас перестанет дышать, то никто не узнает о том, что со дна колодца днем можно увидеть звезды!

— Лытка, — выдохнул он, — Лытка, я вижу звезды! Ты слышишь?

Штаны и волосы обледенели, пока Лытка вел Лешек до спальни, но мороза он не ощущал. Холод пришел потом, когда Лытка растер его грудь и спину шерстяной тряпкой и принес кружку с кипятком. Зубы отбивали дробь, и никакие одеяла не помогали согреться.

— Лешек... — шептал Лытка, — Лешек, ты... Ты не вытаскивай руки, я сам буду тебя поить... Никто бы не осмелился прыгнуть в колодец, никто. Даже я подумал, что это бесполезно. Только ты.

— Потому что никто плавать не умеет, — кашлянул Лешек. — Живете тут, как... ничего ведь не умеете, только Богу молиться.

— Да ладно тебе, — Лытка улыбнулся. — Между прочим, ты все время ругаешь Иисуса, а ведь поступаешь, как положено христианину.

— Знаешь, для того, чтобы поступать по-человечески, совсем необязательно быть христианином. И любить ближнего можно не по заповеди божьей, а от души, как колдун. И добро делать, и обиды прощать — для этого вера в твоего бога не нужна. Вот колдун монахов не любил, а все равно лечил, и во время мора спасал, вот например...

Лешек осекся — он чуть не сказал «тебя». Но вовремя одумался: пусть Лытка думает, что его спас Иисус. Его эта

мысль приводит в восторженный трепет, и разрушить волшебную сказку было бы несправедливо и жестоко.

— Что «например»? — переспросил Лытка.

— Отца Варсонофия, например, — угрюмо ответил Лешек, стуча зубами.

— Да ты что? Варсонофий пошел лечиться к колдуну?

— Нет, его Аполлос принес, сам он ходить не мог. Не надо его осуждать, это... нечестно. Все живое хочет жить, и Варсонофий — не исключение.

— Знаешь, я бы и умирая не пошел к колдуну. Это все равно что предать Бога, — вздохнул Лытка.

Лешек усмехнулся про себя и ничего не сказал. В конце концов, Лытку никто не спрашивал, хочет он, чтобы колдун его спасал, или нет. И, зная Лыткину честность, Лешек подумал, что тот чего доброго и вправду отказался бы от лечения хрусталем.

Рождество праздновали пышно и торжественно: служба длилась от заката до заката не прерываясь: сначала — всенощная, потом — ранняя литургия, после завтрака — поздняя литургия, потом, до обеда, — девятый час, после обеда — вечерня, и повечерие, и полуночица... Лешек думал, что сойдет с ума. Лытка радовался чему-то, не иначе рождению Иисуса, и лицо его было особенно благостным, и пел он вдохновенно и без усталости. Лешек же едва не охрип — после купания в колодце, когда на следующее утро он не мог выговорить ни слова, голос еще не вполне окреп и плохо ему подчинялся.

Когда наконец после полуночи Лешек дополз до кровати, сил у него не осталось ни на споры с Лыткой, ни на встряхивание тюфяка. А через неделю собирались праздновать Обрезание Господне, а через две — его же Крещение. Рождество пришлось на четверг, в пятницу снова постились, в субботу немного передохнули, чтобы в ночь на воскресенье опять служить всенощную, и литургию, и так до бесконечности.

— Лытка, ты помнишь, как сказал мне когда-то: это такой бог, которому надо служить, иначе он рассердится? — спросил Лешек после праздника Обрезания, далеко за полночь вернувшись в спальню.

— Я был маленький и глупый! — рассмеялся Лытка.

— Напротив, — скривился Лешек, — по-моему, ты был совершенно прав. Знаешь, мне кажется, я не доживу до

лета. Кстати, послушников не распинают на крестах в память о страстях Христовых?

— Ты все шутишь, а это вовсе не смешно, — Лытка надулся, — Христос страдал за нас, во искупление наших грехов...

— Да ладно, — Лешек был раздраженным и злым, — я, к сожалению, никак не могу оценить его жертву.

— Конечно, — проворчал Лытка, тоже раздражаясь, — подвиг колдуна для тебя куда важней, а он, между прочим, всего лишь спас тебя от смерти, а вечной жизни тебе не подарил.

Лешек вскинулся:

— Ты ничего об этом не знаешь. Он... Он... — Лешек задохнулся, — он был мне как отец! И ни один бог не будет меня любить так, как колдун! И никакой Иисус не сможет его заменить, подари он мне хоть три вечные жизни!

Умом Лешек понимал, что слова Лытки всего лишь ответ на его колкости, что его собственные шутки не менее злы и оскорбительны для друга, но боль снова окатила его ледяной волной, и он выбежал из спальни — на мороз, куда глаза глядят, только бы остаться одному.

Лешек пробежал мимо ворот (у мастерских прятаться от Лытки было бесполезно) и, глядя на тяжелые створки, вспомнил, как колдун держал его на руках, увозя из монастыря. Он забился в тень сторожевой башни, скорчился, уткнулся лицом в колени и расплакался, поднимая глаза к небу и шепча, словно маленький:

— Охто, забери меня отсюда! Пожалуйста, забери меня опять! Увези меня к себе, за Калинов мост!

Если долго сидеть в снегу, рано или поздно мороз сделает свое дело, и Лытка не найдет его в этом укромном уголке. Лешек знал, что стоит ему уснуть, как колдун спустится к нему, протянет руку и унесет с собой. Он бы долго еще предавался отчаянью и давился слезами, как вдруг услышал шаги внутри башни, скрип открывающейся двери и приглушенные голоса.

— Погоди, Дамиан, — услышал Лешек голос брата Авды, — я хотел спросить у тебя кое-что. Только не здесь, не под окнами...

— Поднимемся в часовню, здесь холодно, а в келье нас могут подслушать.

Слезы высохли. Этот голос... Этот голос сказал тогда: «Ты все равно не сможешь ходить». Сказал пренебрежительно, насмешливо, равнодушно. Почему же Лешек раньше не понял этого? Почему, захлебываясь болью, и страхом, и кошмаром, он не видел главного: перед ним же убийца колдуна! Вот же он! Почему раньше Лешек страдал от чувства вины и хотел что-то исправить — исправить непоправимое — и не понимал: вот он, виновник!

И вместо ужаса ненависть всколыхнула нутро. Лешек стиснул кулаки и скрипнул зубами: не для того он остался жить, чтобы рыдать над своей печальной участью, не для того колдун спас его, чтобы он малодушно просил судьбу о смерти. Нет, если уж колдун отдал им тайну в обмен на жизнь Лешека, значит, он верил, что Лешек сможет отомстить за него. Отомстить!

Этот черный демон ада истязал колдуна и наслаждался его страданием, с улыбкой смотрел на измученное болью лицо и убил, в конце концов убил, хотя в этом не было никакого смысла! «Ты все равно не сможешь ходить!» Лешек бесшумно поднялся на ноги — на охоте ему приходилось быть осторожным, он умел оставаться незамеченным для чутких, пугливых зверей. Нет, чтобы отомстить, надо соблюдать осмотрительность.

Монастырь спал, и даже в сторожевой башне не горели огни — после праздника братия устала. Лешек двинулся вслед за двумя темными фигурами, оставаясь в тени построек: они миновали ворота и скрылись за дверью, ведущей на узкую лестницу, заделанную в широкую стену возле ворот. Брат Авда столь громко стучал сапогами, что тихих шагов Лешека сзади никто не услышал. Где-то на дне сознания мелькнула страшная мысль: «Давайте его сюда и разводите костер». Если они его увидят, так и случится: Дамиан все поймет и не простит. Но ненависть пересилила страх: Лешек дрожал, его то бросало в пот, то обдавало ледяным холодом, руки тряслись и не слушались, но он крался за Дамианом по лестнице и уже представлял себе горящие головни, которые тот с наслаждением прижмет к его груди, и слышал свист тяжелой плети, раздирающей плоть.

Надвратную часовню построили специально для разговоров, не предназначенных для чужих ушей, — даже на лестнице не было слышно, о чем говорят внутри.

Может быть, это получилось случайно, а может, неизвестный мастер знал, что делает. Деревянные стены скрадывали звуки, а проход с двумя поворотами гасил их окончательно и надежно. Лешек затаив дыхание остановился за первым углом, замер и только тогда подумал: да что же он делает? Зачем ему понадобилось подслушивать разговоры Дамиана? Что нового для себя он может услышать?

— Я хотел спросить тебя, Дамиан, — повторил брат Авда.

— Спроси, — ответил архидиакон, и в голосе его Лешек почувствовал насмешку.

— Тебе не кажется, что авва хочет избавиться от тебя?

— Нет. Теперь — нет, — спокойно ответил Дамиан. — Мы оба хотели избавиться друг от друга, еще осенью. И не думай, что я не знаю, кого он готовил мне в приемники.

— Дамиан... — смешался Авда.

— Да, я верю. Ты бы ничего не сделал против меня, но мое место занял бы с удовольствием. Или как?

— Я... — еще более стусевался брат Авда, но архидиакон снова его перебил:

— Не оправдывайся. Тем более что всё уже позади. Авве не нравилось мое стремление увеличить дружину, он боялся меня, и правильно делал: стоило набрать немного больше людей, и я бы стал ставить ему условия, а не он мне. Теперь в этом нет необходимости. Авве нужны души, а мне — тела. Он нуждается во мне не меньше, чем я в его власти. И потом, хрусталь храню я, я, а не авва! И пока он лежит в моей келье, авва будет приходить ко мне за хрусталем, а не я к нему. Ты знаешь, после Крещения, если будет стоять хорошая погода, мы собираемся в Пельский торг, опробовать хрусталь. Там авва убедится в моей незаменимости.

— А ты не боишься, что авва заберет и твою душу, вместе с душами поселян?

— Нет, и этого я не боюсь тоже. Тем более что ничего полезного в этом нет. Я допускаю, что колдун соврал мне в чем-то, но, мне кажется, в этом не было смысла. Человек, у которого забрали душу, даже не подозревает об этом. Это что-то вроде крещения, и нам, верующим в истинного Бога, бояться этого не приходится.

Человек не может владеть душами, это божественное право. Авва, собирая души поселян-язычников, отдает их Богу, но узнают они об этом только после смерти, когда предстанут перед страшным судом.

Лешек зажал рот рукой: Невзор был прав. Змей дал людям хрусталь, чтобы спасти их от страшного суда: забирая души, отдавать их другим богам, вырывая из рук Юги. Как легко его замысел повернулся против него самого!

— Подумай, — продолжил Дамиан, — не надо насильственных крещений, не надо исповедей и причастий — лунный свет сделает свое дело сам по себе.

— И зачем тогда авве дружина? — усмехнулся Авда.

— А зачем она была нужна до этого? Власть, богатство, сытная и спокойная жизнь. Только во много раз сытней и спокойней. Новые земли, на которые можно ступить без страха, и новые души на этих землях. Авва — не подвижник, он не пойдет по земле непритязательным Посланцем, он поедет в палантине по ковровой дорожке, которую расстелю перед ним я. Я, Авда, а не ты — тебе не хватит на это ни честолюбия, ни решимости.

— Я не стремлюсь к этому, Дамиан, — смиренно ответил дружник.

Лешек, привязанный к столбу, старался не висеть на веревках, а хотя бы изредка переносить тяжесть на затекшие ноги. Вережки глубоко впились в тело, и малейшее движение причиняло ему страдание.

Авва и Дамиан давно улеглись спать и погасили свет, оставив над головой Лешека тусклую лампадку, и в ее свете ему мерещились колышущиеся, пугающие тени. Он закрывал глаза, но тени все равно колыхались вокруг, окружали со всех сторон, и он чувствовал на лице движение воздуха. Они оплетали его, словно махровые водоросли на дне реки, шуршали зыбкими, широкими одеждами, а Лешек не мог дернуть головой, чтобы прогнать их прочь. Он тонул в этих тенях и чувствовал, как воздуха вокруг становится все меньше: они душили его, стискивая круг тесней и тесней. Что ж, пусть они задуют его совсем — ему станет только лучше.

Но внезапно тени расступились в стороны, и на Лешека дохнуло прохладным свежим воздухом. Он открыл глаза и увидел темную фигуру, приближавшуюся к нему со стороны окна. И это был не Дамиан и не авва. Сердце его забилось, и он недоверчиво шепнул:

— Охто?

— Да, малыш. Я на минуту.

— Охто! — на глаза набежали слезы. — Охто, не уходи! Не уходи никогда!

— Тише, малыш. Я пришел сказать тебе: я знаю, что ты меня не предавал. И тебе вовсе необязательно умирать, чтобы сообщить мне об этом.

— Охто, я не сумел унести хрусталь, я... я ничего не могу без тебя!

— Можешь. Ты все сделаешь как надо, я знаю. Прощай, малыш, ты теперь один, но это не так плохо, поверь мне.

— Охто, не уходи! Слышишь? Не уходи!

— Я буду ждать тебя на Калиновом мосту. И надеюсь, что встретимся мы нескоро. Не торопись умирать, малыш.

Зыбкая тень повернулась к Лешеку спиной и направилась к постели Дамиана, постепенно растворяясь в темноте, а через некоторое время Лешек услышал, что

архидиакон тонко стонет во сне и стоны его понемногу превращаются в хрип.

А потом все стихло, дыхание Дамиана выровнялось, и Лешек понял, что колдуна в доме нет. И зыбкие тени снова сгрудились вокруг него, как махровые водоросли на дне реки. Он почувствовал тяжесть воды, давившую на грудь, хотел вдохнуть глубже, но не мог.

Тихий скрежет у двери заставил его проснуться. Сон? Это был всего лишь сон? Или видение? Или Охто на самом деле приходил к нему? Явь впиалась в тело веревками, затхлый неподвижный воздух избы нисколько не походил на дно реки, а в дверь кто-то тихо скребся, словно пес, который робко просит его впустить. Лешек прислушался — звук был таким тихим, что не разбудил ни Дамиана, ни авву, но вскоре стало понятно: это медленно, но верно в сторону ползет засов, запирающий дверь изнутри.

Прошло несколько минут, прежде чем дверь приоткрылась на миг, — дуновение холодного ветра быстрой птицей впорхнуло в избу и притаилось в ее противоположном углу. Шаги человека, вошедшего внутрь, были неслышными, как и его дыхание. Лешек стоял к двери спиной, не видел движущейся тени и, как ни прислушивался, так и не смог понять, откуда знает о чужом присутствии.

Между тем он нисколько не удивился, когда острое лезвие беззвучно перерезало веревку на его шее, даже не зацепив кожи. Человек не позволил веревкам со стуком падать на пол, осторожно подхватывая их руками и опуская вниз, и вскоре Лешек почувствовал, что заваливается вперед, потому что пути больше не держат его у столба, а ноги гнутся и не слушаются. Но его спаситель — и спаситель ли? — нагнулся и подставил спину, обрезая последние веревки на ногах, и Лешек опустился к нему на плечо, словно мешок с репой, который тот легко поднял над землей, распрямившись, и понес к выходу.

Дверь снова распахнулась лишь на миг, чтобы тут же беззвучно захлопнуться, и морозный воздух хлынул в легкие: Лешек едва не закашлялся и задержал дыхание. У крыльца в снегу неподвижно лежали два дружника Дамиана, но Лешеку не показалось, что они

мертвы, — он умел отличать живых от мертвых. Человек молча вынес его со двора на темную улицу, прошел мимо десятка домов, прежде чем стал слышен храп коней и нетерпеливые приглушенные голоса.

— Поехали, пока нас никто не видел, — сказал его спаситель и поставил Лешека на землю.

Но стоять Лешек не мог — тело затекло, и теперь внутри бегали колющие мурашки, руки ныли и кружилась голова. Тогда кто-то из конных сгреб его под мышки сильными руками, поднял вверх и боком усадил перед собой на переднюю луку седла.

— Ногу-то перекинуть можешь или помочь? — ворчливо спросил всадник, но спаситель, не дожидаясь ответа Лешека, закинул его ногу на спину лошади и похлопал по ляжке.

— Ничего, оклемается, — усмехнулся всадник, накрыл Лешека плащом и двинулся вперед тряской рысью.

Лешек еще не вполне понял, что с ним произошло (хотя от свежего воздуха в голове немного прояснилось), когда увидел впереди, в темноте, знакомые ворота княжеского двора. Вместе с ним ехали пятеро всадников, включая его спасителя, — надежное сопровождение, даже если по дороге им встретятся несколько монахов. Ночь была пасмурной и темной, ступали кони негромко, и, скорей всего, никто не догадается, кто украл Лешека из-под носа самого Дамиана.

На этот раз князь принял его в тереме: от его надменности не осталось и следа. Одет он был просто, по-домашнему — в расшитую красными нитями рубаху, похожую на те, что вышивала Лешеку матушка. Просторную теплую комнату, куда привели шатающегося Лешека, освещали масляные лампы, и горел открытый очаг — редкость и роскошь для морозных зим северной земли. Его усадили на лавку и сунули в руки кружку горячего меда. После кагора, привкус которого до сих пор сохранился во рту и вызывал отвращение, меду Лешеку вовсе не хотелось, но он пригубил немного из уважения к гостеприимству князя.

— Никто не видел? — спросил князь у его спасителя.

При свете Лешек смог его разглядеть — это был тот самый дружник, который четыре дня назад привел женщину, чтобы перевязать его раны.

— Обижает, Златояр, — хмыкнул воин.

— Горыня у нас лучший лазутчик, на корабли к свейм пробирался, пленных брал и ни разу не попался, — объяснил князь Лешек, — любой запор откроет, в игольное ушко влезет. Это он моего коня, что я тебе отдал, у постоянного двора приметил и хозяина о тебе расспросил. Где они тебя изловили?

— У Невзора ждали... — пробормотал Лешек. Он не хотел ничем быть обязанным князю, но понимал, что тот спас его от неминуемой и лютой смерти. И никто, кроме князя и его людей, сделать бы этого не смог, даже если бы и захотел.

— Вот как? Нашли, значит, логово старого волка... Я этого не ожидал, — вздохнул князь.

— Почему... Зачем ты меня спас? — угрюмо спросил Лешек.

— Велемир приходил ко мне... Он обещал простить меня, если ты останешься в живых. И потом... Знаешь, я хочу услышать, как ты поешь. Просто поешь, а не обвиняешь и не изливаешь обиду и гнев.

Лешек вздохнул — в горле першило от кагора, и настроения петь не было совсем: пустота и безучастность овладевали им все сильнее.

— Нет-нет, — тут же оговорился князь, — не сейчас. Потом, когда-нибудь потом. Я понимаю, сейчас тебе не до песен. Ты хочешь есть?

Лешек покачал головой — желудок скрутило узлом, едва он подумал о еде. Чего бы ему хотелось, так это воды, простой воды — чистой и холодной, но просить князя он не стал.

— Ты, наверное, хочешь отдохнуть? Сейчас, — князь повернулся к двери и крикнул: — Ждана! Ждана, иди сюда.

На его зов немедленно явилась старушка, чем-то напоминавшая матушку, — тоже белая, аккуратная и мягкая.

— Уложи юношу спать, — он снова повернулся к Лешеку: — Мы поговорим завтра, хорошо?

Лешек кивнул и встал на ноги — качать из стороны в сторону его не перестало, но идти он теперь мог сам. Старушка, едва достававшая ему до плеча, взяла его под локоть, распахнула перед ним дверь и повела вверх — терем Златояра был высоким, и, как оказалось,

топили его сверху донизу. Комната, чистая и освещенная множеством свечей, показалась Лешеку очень уютной: несмотря на размеры, терем князя напоминал дом колдуна — чистотой, решетчатыми окнами, светом и теплом. Впервые за последние два месяца Лешек увидел мягкую постель, и ему стало неловко ложиться в нее, не сходя в баню.

— Что? Не нравится? — удивилась старушка.

— Нет, очень нравится. Просто я грязный. И вши у меня...

— Ничего, не бойся. Все выстираем, завтра в баню сходишь, Умила тебе настойки от вшей даст. Ложись, милоч.

Старушка помогла ему раздеться (совсем как матушка) и укрыла одеялом, погладив по плечу. Лешек смутился и растрогался от ее ласки.

— А можно мне кружку воды? — робко спросил он.

— Конечно. Сейчас я принесу. Тебе теплой?

— Нет, лучше холодной. Во рту горько.

Когда он наконец утолил жажду, а старушка, задув свечи, оставила его одного, Лешека охватила тоска: он стиснул руками мягкую подушку и уткнулся в нее лицом. Никогда. Никогда больше он не проснется в своей постели. Никогда не увидит в окно проблеск реки и старую иву. И какой бы мягкой ни была чужая кровать — она останется чужой.

Сколько времени он сможет гостить у князя? День? Два? Месяц? Получив хрусталь, Дамиан не станет искать его с тем же рвением и быстро забудет о его существовании. Вот тогда можно пробираться на север, на Онгу, к матушке и Милуше.

Лешек вжался в перину и почувствовал, что засыпает. Теплая и уютная постель, после стольких мытарств, баюкала его и увлекала в головокружительную, счастливую сказку, где спать его укладывала матушка, где колдун будил его по утрам, где светило солнце и в печке трещали дрова, где топилась баня, а рядом бежала Узица. В этой сказке под окном храпели кони, в подклете мычала корова, пахло хлебом и молоком.

Монастырь же виделся ему огромными жерновами, перемалывающими в муку все, что сумеют в себя затянуть, и Лешек чудом выскользнул из этих жерновов.

И внезапно Лешек понял, что остался жив. Что ему больше не грозит смерть от мучительных пыток, он не будет визжать и умолять Дамиана о пощаде, он найдет матушку, он станет волхвом, как его дед, он научится играть на гусях. Жизнь распахнула перед ним широкие ворота, и будущее заиграло впереди ярким солнцем. Охто сказал ему: не торопись умирать. Жизнь! Все живое стремится жить! Невзор-то, оказывается, был прав: кристаль, Дамиан, месть за колдуна — все растворилось в этом солнечном свете впереди: жизнь! Большая, светлая, наполненная песнями. Пусть он проиграл, пусть он не смог отомстить, но он свободен, монастырь остался позади — страшным сном, унылым воспоминанием.

Радость залила его до краев, Лешек сел на постели, но не смог удержаться на месте и подошел к заиндевевшему окну. В ромбической мозаике стекол мороз нарисовал вычурные фигуры: остроугольные листья, вихрящиеся струи ветра, огромные снежинки. Жизнь! Такая же прекрасная, как этот самоцветный морозный узор. В ней будет все: любовь, смех детей, прохлада летних ночей и предрассветный птичий гомон, прозрачность воды и полуденный жар, и ручьи по весне, и осенние краски. В ней будет все! Как же он на самом деле хотел жить, только не подозревал об этом! Это монастырь, с его назойливым устремлением к смерти, погасил в нем жажду жизни, он успел забыть, как это хорошо!

Лешек дохнул на одно из стекол и потер иней рукой — в окно светила луна. Небо снова стало ясным, и завтра будет солнечно, и снег заблестит кругом, и ударит мороз. Как хорошо жить...

Словно короста, слой за слоем, с Лешека слетало монастырское уныние, и кошмары растворялись в лунном свете, и непрерывное ожидание страшной смерти отпускало, разжимало сжатый кулак. Лешеку хотелось петь и смеяться. Он жив! Он свободен! Что еще нужно для счастья? Его дед из могилы протянул руку помощи, чтобы Лешек мог продолжать его дело.

Он пробудет у князя несколько дней, не больше, чтобы из гостя не превратиться в нахлебника. Он будет петь, заработает себе на коня и поедет на север. Он все начнет сначала.

И, может быть, на его век хватит земли, не занятой церковью?

Нет, не хватит. И когда-нибудь преемник аввы поймает его в рассеянный лунный луч, а он и не заметит, что душа ему уже не принадлежит. И колдун напрасно будет ждать его на берегу Смородины: Лешек не придет к нему, а прямой дорогой отправится на страшный суд.

Радость, только что трепетавшая в груди, опустила отяжелевшие крылья, сникла, завяла, как сорванный цветок на жарком солнце.

Завтра будет ясно, и авва с Дамианом поедут в Пельский торг. И Гореслав выполнит любое приказание Дамиана, и авва заберет души у Лели и двух светлоглазых мальчиков, правнуков Велемира.

Лешек вздохнул и опустил на пол — озноб охватил его внезапно, словно, затаившись в темном углу, ждал подходящей минуты. Лешек обнял руками плечи и пригнул колени к подбородку.

Неважно, остался он жив или нет. Это ничего не меняет. Ведь хрусталь теперь у аввы. Почему Лешек не сказал своему спасителю, что надо прихватить с собой и хрусталь тоже? Но тогда... Тогда хрусталь достался бы Златояру, а чем он лучше Дамиана? Он тоже захочет славы и власти, несмотря на то, что стар. Авва тоже стар, и Невзор стар, а живут они так, словно впереди у них вечность.

И завтра князь начнет расспрашивать Лешека о том, почему Дамиан преследует его с таким остервенением. Что тогда ему ответить? Рассказать о хрустале, чтобы они подрались между собой? Никакой разницы, кто из них победит. Ни Дамиан, ни Златояр не пострадают в этой схватке, за них будет умирать люд попроще. Так зачем устраивать бойню на ровном месте?

Даже если у аввы не будет хрусталя, вся жизнь Лешека станет бесконечным бегом, напрасным старанием выскользнуть из-под тени монастыря. За Онгой стоит Оленец — там каменных храмов не меньше, чем в Удоге. Клирики придут и туда. Но тогда — тогда! — Лешек сможет им противостоять. Как это делал его дед, как это делал колдун! Он понесет людям правду о злом боге, расскажет им о родных богах, он не станет бесполезным! А если у аввы будет хрусталь, жизнь теряет смысл.

Что толку наслаждаться ею, вдохновляя своим счастьем других? Словно Серапион-Столпник, бессмысленно растратить силу, дар, свой короткий век на самого себя, чтобы в конце не получить ничего, кроме страшного суда?

У аввы не будет хрусталя. Лешек поднялся и поискал глазами одежду. Хрусталь будет лечить людей, как этого хотел колдун. Он остановил мор, спас жизнь Лешеку, поднял на ноги дедушку Вакея. У аввы не будет хрусталя.

Лешека трясло так сильно, что он не мог попасть ногой в штанину. Он не станет рушить монастырь, не станет убивать Дамиана. Хрусталь будет лечить людей. Лешек теперь один, и — кто знает — может быть, это не так уж плохо, как сказал колдун?

— Охто, — шепнул Лешек в окно, за которым занимался рассвет, — Охто, я сделаю все так, как хотел ты. Я сделаю все правильно.

* * *

Подслушав разговор Дамиана и Авды в надвратной часовне, Лешек вернулся в спальню и встретил на входе Лытку, который отчаялся его разыскать и теперь просто всматривался в темноту двора, надеясь на чудо. Лешек вышел из-за угла, потому что крался к дому послушников вдоль стены обители, чтобы не выйти из тени и не дать Дамиану даже случайно себя обнаружить.

Лицо Лытки просияло, но Лешек приложил палец к губам и за руку втянул его в темный коридор.

— Лешек, Лешек, прости меня, — шепнул Лытка, — я не должен был так говорить. Я не должен был тебе напоминать...

— Да нет, Лытка. Я сам виноват, я первый начал, — ненависть все еще клокотала в нем, и руки дрожали от пережитого напряжения.

— Ты замерз?

— Нет. Я подслушал разговор Авды и Дамиана. После Крещения они поедут в Пельский торг, опробовать хрусталь.

Лешек не смог заснуть до утра, глядя на стоявшего на коленях Лытку: тот молился за неисполнение желаний

Дамиана и за заблудшие души язычников Пельского торго. Лешек задышался от бессилия и страха: он понимал, что должен что-то делать, но мужество вдруг покинуло его. Его мечты о подвигах, убийстве Дамиана и аввы, сожжении настоятельского дома — все это оказалось ерундой, детскими сказками, обманом самого себя. Он никогда не сможет осуществить ничего подобного, а если попробует, его остановят так быстро, что не найдется повода его убивать, достаточно будет просто высечь плетью на снегу, и он навсегда забудет о своих отважных замыслах.

Никаких подвигов, достойных колдуна, он не совершит. Дамиан отправится в Пельский торг вместе с хрусталем, и авва из палантина, стоящего на ковровой дорожке, заберет души всех, кто там живет. И если Лешек встанет у них на пути, они отмахнутся от него, как от назойливой мухи, не более.

Убийца! Убийца колдуна будет жить и здравствовать, будет усмехаться, расстилая перед аввой ковровую дорожку, будет отдавать приказы беспомощным поселянам. Лешек сдерживал стоны, чтобы Лытка не заметил, что он не спит, — ему не хотелось ни с кем говорить.

Утром, стоя на клиросе, он тщательно прятал опухшие от бессонницы глаза: если Дамиан хоть раз заглянет в них, он увидит его ненависть. Ненависть и страх. Что он сделает тогда? Сейчас иеродиакон словно забыл о существовании Лешека, и если смотрел в его сторону, то только с презрением. И, наверное, это презрение Лешек заслужил — от страха за свою шкуру он ни разу не подумал о мести, у него не нашлось сил даже ненавидеть убийцу колдуна. Он предал своих богов, он поет хвалу Юге и боится, боится показать, как ему это противно. Он принял послушание, чтобы никто не догадался о его намерениях сбежать, дождавшись лета. Вот все, что он может, — сбежать, дождавшись лета! Бежать, спасаться, прятаться — подвиг, достойный зайца. Заячья душонка, трусливая и мелкая.

Лешек подумал вдруг, что в словах Лытки есть своя правда — он и есть червь, который почему-то решил, что должен себя за что-то уважать. А уважать-то ему самого себя не за что! Он смешон и гадок в своих попытках хранить достоинство и гордость. Какое достоинство? Что

толку пыжиться, задирая подбородок, если им управляет страх за свою заячью шкуру? Он никогда, никогда не решится на месть, он будет спокойно смотреть, как Дамиан поедет в Пельский торг, он не сделает и жалкой попытки его остановить!

Отчаянье и бессильная злость мучили его до воскресенья. Крещение приближалось неумолимо, а Лешек все отчетливей понимал, что ничего так и не предпримет.

В ночь на понедельник ему приснилась мать. Он снова был маленьким приютским мальчиком, замученным сверстниками и воспитателями, презирающим себя за трусость и зовущим маму прийти к нему хоть на минутку. И она пришла, села к нему на кровать, обняла, прижала к своей груди и сказала:

— Мой бедный Лешек...

— Мамочка, я трус, я ничего, ничего не могу с собой поделать!

— Нет, сынок, — она ласково погладила его спину, — ты вовсе не трус. Вспомни: разве Охто кидался на монахов, когда они крестили село? Разве он лез на рожон? Нет, он действовал осторожно. Он тоже мучился, страдал от бессилия, но не от трусости вовсе. Ты просто осторожен, так же как Охто. Подумай, что ты можешь сделать? Умереть — это просто, ты попробуй остаться в живых.

Она долго утешала его и говорила о том, какой он на самом деле сильный, и бесстрашный, и добрый, о том, как он не побоялся прыгнуть в колодец за мальчиком, он не сдался, не стал поклоняться чужому богу, не превратился в червя. Просто он один, а за Дамианом стоит и дружина, и братия, и авва. Разве можно его победить?

И наутро, в крещенский сочельник, Лешек проснулся совсем другим. Надо-то было всего лишь подумать, что он может сделать. Убить Дамиана? Нет, у него нет даже ножа. Он, конечно, знает, где у человека находится сердце, но вовсе не для убийства он изучал строение человеческого тела. Чтобы убить одним коротким ударом, надо знать, как это делается. Да у Лешака трясутся руки, когда надо сделать неглубокий разрез на человеческой коже! Убийство — не его стезя: в самый решительный миг он испугается и погубит себя, так ничего и не добившись.

Сбежать — вот все, что он может.

Нет, не сбежать: уйти. Он не может забрать хрусталь силой, но почему бы не попробовать его украсть? Дамиан сказал, что хранит его у себя в келье. Лешек умеет быть тихим и осторожным, ему удалось подслушать разговор в надвратной часовне, и никто не заметил его присутствия.

Зима. Куда он уйдет в куцем подряснике, шерстяном плаще и огромных лаптях? Да он замерзнет через несколько часов!

— Послушай, Лытка. Ты не знаешь, что делают с мирской одеждой, в которой насельники приходят в монастырь?

Лытка посмотрел на Лешека подозрительно — они шли умываться, и подобного вопроса тот никак не ожидал.

— Вообще-то она хранится у келаря, — нехотя ответил Лытка.

— Правда? А зачем?

— Ну, вдруг пригодится... Иногда их поселянам отдают, которые к празднику в Богородицкую церковь приезжают.

Лешек кивнул довольно, но на расспросы Лытки отвечать не стал. Он и сам еще не вполне понимал, на что рассчитывает. Даже к вечеру, когда замысел начал потихоньку созревать в голове, Лешек и то не был уверен в серьезности своих намерений. Впереди у него были всеобщее бдение и непрекращающиеся службы весь следующий день — в ночь на седьмое января братия будет спать так же крепко, как и после празднования Рождества. Лучшего времени для ухода выбрать нельзя. И потом, кто знает, что означают слова Дамиана «после Крещения»? На следующее утро? Или через неделю?

По уставу кельи братии не имели запоров, но вдруг для отца ойконома сделано исключение? Вдруг дверь его кельи окажется запертой изнутри? Что тогда? Ни сломать ее, ни открыть у Лешека не получится. А главное, как он узнает, какая из келий настоятельского дома принадлежит Дамиану? Ведь он никогда у него не был! Он знал келью отца Паисия, знал келью аввы — на самом верху, — но в настоятельском доме живет и благочинный, и еще несколько важных иеромонахов.

И снова его выручил Лытка, указав на окно Дамиана — под кельей аввы.

Перед всенощной Лешек неожиданно подумал, что в дороге он может пробыть несколько дней и ему нужно взять с собой какой-нибудь еды. Вынести что-то из трапезной можно было попробовать, но после однодневного поста и завтрак, и обед обещали быть праздничными, не унесет же он в пригоршне сладкой каши с маслом или рыбной похлебки? Только хлеб. Лешек отдавал себе отчет в том, что после суток голодания и кислый монастырский хлеб покажется ему манной небесной, но сколько хлеба он сможет взять? Три куска — за завтрак, обед и ужин. Что в них толку!

Осмотревшись по сторонам, он прошел мимо входа в зимнюю церковь, обогнул летнюю и свернул к настоятельскому дому. В темноте никто его не увидит. Поварня примыкала к братским кельям, настоятельскому дому и трапезной — печи там топили несколько раз в день, и тепло по хитрым дымоходам расходилось по всем трем постройкам.

Ужин давно прошел, и в поварне было совсем темно. Лешек осторожно прикрыл за собой дверь и подождал, пока глаза привыкнут к мраку. В детстве он бывал в поварне и немного представлял себе ее устройство. Сначала его потряхивало от волнения, но потом он подумал, что даже если попадетсЯ, ничего страшного не произойдет и замыслов своих он не выдаст. Скажет, что хотел украсть немного еды, — за воровство, несомненно, накажут, но не убьют же!

Однако ему все равно хотелось покинуть поварню как можно скорей, поэтому Лешек схватил огниво, лежавшее перед печью, набрал в узелок крупы, на ощупь похожей на пшено, и, оглядываясь и пригибаясь, поспешил назад, в зимнюю церковь. Узелок, спрятанный в полах подрясника, сильно мешал, но вернуться в спальню Лешек бы не успел. А потом всю ночь думал, какой он дурак: с таким риском пойти на воровство, чтобы набрать в дорогу сухой крупы! Впрочем, огниво стоило куда дороже — с ним он сможет разжечь костер, если придется. Пока он не наткнулся на него в темноте, мысль об огне даже не пришла ему в голову.

Лешек понимал, что после всенощной надо выспаться — кто знает, когда он в следующий раз сможет хотя

бы подремать, — но сон не шел, и волнение, смешанное со страхом, все сильнее сотрясало его тело. Он пробовал отвлечься от мыслей о побеге, считал про себя удары сердца, но от этого оно бежало вскачь. Лытка несколько раз спрашивал, что с ним происходит, но Лешек махал рукой и отмалчивался: если Лытка узнает о том, что он задумал, то будет долго отговаривать его, и Лешек даже знал, какие доводы Лытка приведет. А Лешеку вовсе не хотелось слышать этих доводов. Он и так дрожал от ужаса, думая о том, как откроет двери в келью Дамиана, как будет искать в темноте хрусталь, как его поймут за этим занятием и... «Давайте его сюда и разводите костер».

Он задремал за несколько минут до того, как било позвало насельников к исповеди.

Две литургии вымотали Лешека не столько духотой и скукой, сколько ожиданием: руки и ноги его непрерывно дрожали, он старался успокоиться и не мог. После обеда он собирался идти к келарю, за мирской одеждой, и понимал, что врать надо правдоподобно, иначе всем его замыслам придет конец, и конец весьма печальный.

И все равно, добравшись до кладовой, Лешеку пришлось постоять на морозе несколько минут, успокаивая дыхание и дрожь в руках.

— С праздником, — учтиво поклонился он келарю, — меня прислал отец Паисий.

— И тебя с Крещением Господним, — келарь посмотрел на Лешека подозрительно, отчего тот снова начал дрожать и волноваться.

— Он велел мне забрать мои мирские вещи... — Лешек постарался улыбнуться.

— Что так? — хитро прищурился келарь. — Решил с поселянами поделиться?

Лешек выдохнул с облегчением: он все сделал правильно, он нашел те самые слова! Он скромно кивнул келарю, и тот повел его в кладовую.

— Выбирай, которые тут твои, — келарь показал рукой на сложенную одежду: отдельно — штаны и рубахи, отдельно шапки, отдельно шубы, только сапог не было видно.

Лешек без труда нашел свои вещи и робко спросил:

— А сапоги?

— А сапоги-то зачем? — удивился келарь.

— Ну как зачем? — Лешек смиренно опустил голову. — Сапоги людям очень нужны. Нехорошо все отдать, а сапоги себе оставить.

И тут Лешек не соврал — нехорошая примета оставить свою вещь там, куда не хочешь возвращаться. Оберегов, конечно, никто ему не вернет, но и в обители их хранить не станут — слишком уж богопротивная вещь.

— А... — согласился келарь и распахнул перед ним двери в маленькую каморку, — вообще-то сапоги мы для братии бережем, но если ты так решил, забирай.

Лешек осмотрелся в полутьме: его сапоги, которые сшил колдун, ни у кого таких не было! Да если бы кто-нибудь из братьев посмел их надеть! Он бережно взял их в руки и прижал к себе.

— Жалко отдавать-то? — сочувственно спросил келарь.

Лешек покачал головой — правдоподобно, — как и положено послушнику, отринувшему от себя мирскую жизнь навсегда.

— Хорошие сапоги, заметные: увидишь на ком — дом вспоминать станешь. Уж лучше с глаз долой, — келарь вздохнул.

Лешек не осмелился принести вещи в спальню, когда послушники собирались к вечерне, и долго ждал, спрятавшись в густых слях, отделявших кельи схимников от монастырского двора. От одежды пахло домом. У насельника обители была только одна собственность — нательный крест, кроме него ничего своего иметь не разрешалось. Лешек прижал к щеке жесткий сапожный мех — больше у него не осталось ничего, к чему прикасалась рука колдуна, ни одной вещи, которая бы напоминала о нем. И если замысел его провалится, он лишится и этой малости.

За опоздание к вечерне полагалось сорок поклонов Божьей матери, что Лешек и исполнил, едва войдя в церковь, не дожидаясь замечаний благочинного, и увидел его милостивый кивок. Лешек подумал, что неплохо изображает смиренного послушника!

Праздничные службы тянулись до полуночи, и чем ближе время подходило к решительной минуте, тем отчетливей Лешек понимал, как ему страшно. Настолько страшно, что язык присыхает к небу и мешает петь.

Паисий даже взглянул на него несколько раз укоризненно. Настолько страшно, что не осталось сил для дрожи и волнения. Настолько страшно, что он не замечал духоты и головной боли.

— Устал? — спросил Лытка, когда они вышли из церкви.

Лешек покачал головой.

— Ты такой бледный, Лешек. Может, ты заболел?

— Нет, Лытка, просто душно было. Сейчас, я немного прогуляюсь, и все пройдет.

А он-то думал, как сможет обмануть друга, когда придет время выйти из спальни? Это хорошая отговорка — подышать свежим воздухом, разогнать туман в голове! У него промелькнула мысль, что он может уснуть и проспять все на свете, если ляжет в постель, но он тут же откинул ее: какое там уснуть! Главное, чтобы никто ничего не заметил!

Лешек тщательно притворялся, что спит. Вскоре послушники угомонились, засопели, Лытка встал на колени перед распятием (и не надоело ему сегодня молиться?), а Лешек обмирал от ужаса. Его поймают, в этом нет сомнений. Поймают и убьют. И, наверное, убивать его станут долго. Тело словно сковало морозом, руки и ноги не желали подчиняться, когда он понял, что пора идти.

— Лытка, зачем ты молишься? — спросил он шепотом и сел на кровати. — Мы же больше суток непрерывно молились?

— Мы пели хвалу Богу все вместе, а сейчас я говорю с ним наедине, — шепотом же ответил Лытка. — А ты куда?

— Голова болит. Я пойду погуляю немного, тут душно.

— Только недолго, ладно? — улыбнулся Лытка. — А то я буду за тебя волноваться.

Лешек кивнул и натянул подрясник. Тщательно завязывая онучи, он подумал, что в сапогах было бы удобней и тише, но решил не рисковать.

Пока он ждал, когда монастырь заснет, поднялся ветер, но не принес с собой тепла, как обычно. Напротив — он был ледяным, обжигающим, морозным. Лешек посмотрел на небо — его потихоньку затягивали тучи, и бежали они по небу быстро, как волны по озерной

глади. Под монастырской стеной слышалось завывание, а посреди двора ветер гнал перед собой юркую поземку. Вот и хорошо. Его следы заметет, и никто их не увидит. Лешек ступил на крыльцо настоятельского дома и тут же шагнул обратно. Нет, в лаптях нечего и думать о том, чтобы пройти по деревянному полу бесшумно. Лешек снял их и оставил возле крыльца, слегка припорошив снегом.

Он не трус. Он не побоялся прыгнуть в колодец, а ведь мог умереть и знал об этом, когда нырял туда вслед за мальчиком. Почему же тогда ему не было страшно?

Потому что он не боится смерти, он боится Дамиана. Боится с детства, и страх этот не имеет ничего общего с трусостью. Лешек вдохнул: он не трус. Трус тот, кого страх останавливает, мешает действовать. А он ведь не остановится?

Глаза привыкли к темноте, когда он поднялся по лестнице и вошел в длинный коридор настоятельских келий. Он рассчитал точно: дверь Дамиана пятая от лестницы. Лешек прижал палец к стене и осторожно двинулся вперед. А если она заперта? Что тогда? Тогда он уйдет без хрустала? Или попробует ее открыть?

Пятая по счету дверь отворилась с тихим скрипом, и Лешек присел от испуга.

Архидиакон спал с оглушительным храпом. Лешек нарочно нагнулся над ним, чтобы убедиться в том, что не ошибся кельей. Нет, не ошибся, Дамиана трудно было с кем-то перепутать. И где находится хрусталь, Лешек тоже понял сразу: в маленьком сундучке, около кровати. У колдуна он тоже хранился в сундучке. Лешек не дыша попробовал открыть сундучок, но тот был заперт. Ничего, колдун тоже запирает хрусталь, и открыть махонький замочек труда не составляло. Лешек поковырял его ногтем и потянул крышку на себя — все очень просто. Дамиан не сомневался в своей безопасности — мимо его кельи иеромонахи боялись даже проходить, да ему и в голову не могло прийти, что кто-то посмеет его обокрасть!

Лешек взял хрусталь в руки — в первый раз. Колдун никогда не давал его никому, даже подержать. Он оказался тяжелей, но меньше, чем Лешек думал. Лешек не стал закрывать сундучка. Злость заставила его скрипнуть

зубами: пусть Дамиан и дальше презирует его, пусть считает подарком Паисию, словно он зверек, словно породистый щенок из хорошего помета. Пусть Дамиан проснется утром и сразу поймет, кто его обокрал.

Лешек стиснул курасть в кулаке и, не сильно таясь, вышел из кельи, прикрыв за собой дверь и едва удержавшись, чтобы ею не хлопнуть. Все. Теперь переодеться — и бежать. Бежать куда глаза глядят!

Он забыл про лапти, оставленные у крыльца, но и в онучах добрался до дома послушников без приключений. Все. Теперь нет смысла таиться от Лытки. Лешек вошел в спальню, громко протопал к своей кровати и откинул тюфяк, под которым прятал одежду.

— Лешек? Ты чего шумишь? — Лытка оглянулся на него удивленно.

— Все, — радость кипела в нем. — Все, Лытка. Я уйду.

— Куда? Лешек, ты сошел с ума?

Лешек рассмеялся, и довольно громко, так что из разных углов на него зашипели сонные голоса.

— Лытка, я уйду насовсем, — он сел на кровать и разматал онучи, оставив на ногах только теплые портянки.

— Лешек! — Лытка вскочил с колен. — Куда! Что ты такое говоришь!

— Посмотри, — Лешек раскрыл ладонь и показал другу курасть. — Они не поедут в Пельский торг после Крещенья.

Лытка опустил на кровать, от изумления раскрыв рот. Лешек спокойно натянул сапоги и потопал ногами по полу, проверяя, хорошо ли они сели.

— Лешек, — на глазах Лытки блеснули слезы, — и ты ничего мне не говорил? Ты... ты не доверял мне? Я же видел, что с тобой что-то происходит, но я и подумать не мог...

— Лытка, я боялся, что ты станешь меня отговаривать. А теперь все позади. Я уйду.

— погоди! Но куда же ты пойдешь? Зима, ты замерзнешь, тебя поймут, едва заметят исчезновение курасть!

Над кроватями поднялось несколько голов, прислушиваясь к их разговору.

— Пусть попробуют! Метель начинается. Они даже не поймут, в какую сторону я ушел!

И тут Лешек впервые подумал: а в какую сторону он пойдет? Но тут же отбросил эту мысль — за воротами будет видно.

— Лешек... Я пойду с тобой.

— Нет, Лытка. Не надо. Я много лет жил в лесу, я умею прятать следы, я умею ходить неслышно, а ты? Вдвоем нас поймают быстрее, а один я как-нибудь выскользну.

— Что, бежать собрался? — раздался голос с кровати Иллариона.

Лешек посмотрел в его сторону и криво усмехнулся: Илларион-то точно его не остановит.

— Я всегда знал, что ты нашего Бога не любишь, — прошипел Илларион в ответ на его усмешку. — Миска, эй, Миска! Проснись! Алексей бежать собрался, а ты дрыхнешь!

В ответ на его слова проснулись все послушники, кроме Миссаила, и некоторые повскакали с постели. Лытка поднялся и неспешным шагом подошел к двери.

— Отсюда никто не выйдет до рассвета, вы поняли? Никто, кроме Лешака.

— Да? А если я сейчас начну орать? — захохотал Илларион. — Весь монастырь сбежится.

— А тебе я уже говорил — выгребные ямы будешь чистить. До конца дней, — Лытка угрюмо приподнял верхнюю губу.

Илларион скривился и изрядно толкнул Миссаила в бок:

— Просыпайся, надзиратель хренов!

— Что тебе надо, ублюдок? — Миссаил открыл глаза, сел на кровати и осмотрелся вокруг.

— Он уходит! Он из монастыря убегает! А ты дрыхнешь!

— Да пусть идет куда хочет, все равно замерзнет, — Миссаил зевнул и хотел лечь обратно.

— Да ты что! Нас завтра всех под плети положат за то, что не донесли! — Илларион снова пнул его в бок.

— Тебе полезно, — многозначительно сказал со своей кровати высокий послушник, имени которого Лешек так и не узнал.

— Ребята, да вы что! Он нас всех подставить хочет, а вы тут сидите и молчите? Он Бога нашего не любит!

— Да, не люблю, — Лешек вдруг поднял голову. — Ненавижу вашего бога, слышите?

Он рванул в сторону застежку подрясника, и хлипкая ткань лопнула, обнажив его грудь.

— Илларион, да успокойся ты, наконец, — подал голос еще кто-то, — пусть он идет, что тебе, жалко, что ли? Плохо ему здесь, неужели не видно?

— Да видно, видно! — прошипел Илларион. — Нам, значит, здесь хорошо, а ему плохо! Чем он лучше нас, а?

— Так собирайся и с ним иди, кто тебе мешает? — зевая сказал Миссаил. — Оба и замерзнете.

Лешек до конца разорвал ворот подрясника и скинул его на кровать, брезгливо морщась.

— Лешек, — вдруг позвал его Ярыш. — Лешек, ты правда ненавидишь нашего Бога?

— Правда, — с улыбкой ответил тот.

— Но почему? За что?

— За то, что он ненавидит жизнь.

— И ты совсем его не боишься?

Лешек рассмеялся — радостно и спокойно.

— Совсем. Он ничего мне сделать не может. Вот, смотри, — он рванул с груди бечевку с крестом и швырнул на пол.

Послушники ахнули в один голос, крест звякнул об пол, и Лешек припечатал его сапогом — мягким, удобным сапогом, который сшил ему колдун.

— Он убил не всех богов на небе, и там есть кому за меня заступиться, — усмехнулся он и потянулся за рубашкой, вышитой изображениями зверей и птиц.

В гробовой тишине он оделся, подпоясался, натянул на голову треух и привязал к поясу узелок с крупой и огнивом, не выпуская крестала из руки.

— А смотри-ка... — разочарованно протянул Ярыш, — никакого грома...

— И вправду, — удивленно посмотрел на потолок Илларион. — Может, Иисус ждет, когда он на двор выйдет?

— Прощайте, ребята, — улыбнулся Лешек. — Никакого грома не будет.

Он подошел к двери, около которой замер Лытка.

— Лешек, — тот пожал плечами, — я буду молиться за тебя, слышишь?

— Не надо. Лытка, ты... Ты для меня как брат. Я всегда любил тебя и всегда буду любить. Прощай.

— Прощай, — тихо сказал тот, сморщившись словно от боли, — никто не выйдет отсюда до рассвета. Иди спокойно.

Они обнялись, коротко и крепко.

Метель закружила Лешека, как только он открыл дверь. Никто не найдет его следов. Куда теперь? Домой? Лешек на секунду представил себе, что за поворотом Узицы увидит не теплый дом с освещенными окнами, а пепелище, присыпанное снегом... Нет. В Пельском торге его начнут искать прежде всего. Он пойдет совсем не туда, где его ждут. Он пойдет к Невзору, на юг. Старый волхв знает, что делать.

Ветер с Выги распахнул тяжелую калитку ему навстречу, едва Лешек отодвинул засов, словно приглашая идти вперед. Обитель спала, и никто не видел, как он шагнул через ее высокий порог.

Авва уснул быстро, Дамиану же не спалось. Он нарочно лег так, чтобы не видеть пойманного певчего: взгляд его переворачивал архидиакону внутренности. Он уже получил отпущение грехов за его смерть! Еще восемь лет назад! И тогда он убил невинного ребенка, а сейчас перед ним — враг Пустыни, внук поганого волхва, проклятый язычник! Вор и негодяй!

Нет, его глаза не остановят Дамиана! Смерть его запомнит вся братия, запомнит надолго, как хороший урок оставшимся в живых, — вот как Бог накажет всякого, кто посмеет хулить его имя!

Бог? Дамиан сник и затосковал: слова аввы, от которых он хотел отмахнуться, не давали ему покоя. «Перед тобой лежит подарок одного из этих истуканов, а ты продолжаешь сомневаться в их существовании?» Недальновидный болван... Наверное, так и есть. И что тогда? Если бог не один, если ему нужны людские души и ему неважно, каким путем он их получит, что это означает? Что́ есть обещанный рай, а что — пугающий ад? И есть ли между ними разница?

Действительно, недалновидный, легкомысленный болван. Кому он поверил? Приютским воспитателям? Или маленькой лживой книжонке под названием Благовест? Он еще подростком сделал для себя вывод: можно грабить, убивать, творить любые беззакония, услаждать плоть. Главное — вовремя покаяться. Он слышал рассказы о блудницах и разбойниках, вовремя обратившихся к церкви, и эти рассказы согревали ему сердце. Раскаявшийся грешник Богу милей, чем праведник, всю жизнь служащий ему верой и правдой. Главное — вовремя покаяться. Дамиан собирался покаяться. Может быть, даже принять схиму, но потом, потом, когда старость возьмет свое, усмирит бушующие в сердце страсти, обуздает честолюбие.

И вот теперь оказывается, что покаяние — это обман. Богу все равно, грешник он или праведник. Рай ли, ад — для Бога не имеет значения. Что он делает с душами, которые отдает ему авва?

Наверное, Дамиан несильно боялся ада и вечность не пугала его. Небытие — вот что было страшно.

Небытие — смерть всего, не только тела. Небытие, конец, растворение, распыление в вечности. Вот он, Дамиан, умный, сильный, честолюбивый, добившийся небывалых высот, поднявшийся из самых низов благодаря самому себе, своим способностям, — как он может перестать существовать? Как мир станет существовать без него? И неважно — на земле, на небе или в преисподней — он должен остаться! Он должен БЫТЬ!

Во что теперь верить? К чему стремиться? И вправду пойти к Невзору, попросить помощи у других богов? Так они не примут его, другие боги! Им покаяние не требуется, им нужно нечто совсем другое, и нигде не написано, что им нужно! Как просто все было: согрешил, покаялся, не покаялся — пошел в ад, успел сделать одно-два добрых дела перед смертью — отверзлись врата рая. Как все было просто! Зачем, зачем авва завел с ним этот разговор?

Сон в конце концов сморил архидиакона, но не принес облегчения. В нем Дамиан шел по хрупкому мосту, сотканному из лозы, и под ним бушевало пламя. Он цеплялся за шаткие поручни и чувствовал, как вот-вот провалится в огонь. Он шел бесконечно долго, пот лился у него по лбу, и языки пламени вздымались все выше. Едкий дым застилал глаза, и Дамиан думал, что мост давно загорелся и идет он напрасно, и не видел впереди, за пеленой черного дыма, ни берега, ни просвета.

Смех, сатанинский смех раздавался со всех сторон: Дамиан приседал от страха и сильнее стискивал в руках жалкие тонкие жерди. Он задышался в дыму и хрипел, и слезы лились у него из глаз. Мост качался, выскальзывая из-под ног, а смех слышался все отчетливей, и жар огня все сильнее припекал ему ноги. Отчаянье впивалось в горло зубами: Дамиан хватался за шею, но не мог оторвать от кадыка острых ранящих клыков.

И тогда впереди он почувствовал чью-то тяжелую поступь. Мост качался в такт шагам, и смех теперь доносился только спереди, из-за клубов черного дыма. От ужаса ноги архидиакона подкосились и слезы хлынули из глаз. Это колдун! Он идет навстречу, и спрятаться от него некуда! Он идет, чтобы сбросить Дамиана в пылающую бездну! Он идет отомстить!

Жаркое пламя полыхнуло под ним, и тонкая лоза под ногами вспыхнула. Дамиан отдернул руку от горящих

поручней и понял, что падает, падает, и над головой его смыкается огонь, огонь гудит вокруг, огонь жжет его тело, вспыхивают волосы, горит лицо, руки, и нечеловеческая боль выталкивает из глотки страшный предсмертный крик...

Вместо крика жалкое сипение вырвалось из горла — Дамиан проснулся потным и дрожащим, распахнул глаза и никак не мог отдышаться. Сердце бухало в ребра: это всего лишь сон, кошмарный сон... Ничего страшного не случится. У него есть хрусталь, он поможет авве ловить души, и авва замолвит за него словечко. Никакого небытия не будет, никакой огненной бездны, он успеет, он успеет найти свое место Там, авва поможет ему. Дрожь не оставляла архидиакона.

Темноту душевной избы освещала маленькая лампадка, Дамиан старался успокоиться и рассмотреть все вокруг: все прошло, это был всего лишь сон. Вот похрапывает авва в своем углу, вот на столе стоят пустые миски, а рядом с ними — оставленный аввой хрусталь, в окно пробивается немного света — зимние ночи не бывают темными. Сзади, со стороны изголовья, еле дышит несчастный певчий — вот кто должен дрожать и изнывать от ужаса, вот кому сейчас не позавидуешь! Все хорошо, все спокойно.

Нет, кроме певчего, в изголовье стоит кто-то еще... Дамиан так отчетливо это понял, что пот снова выступил на лбу мелкими частыми каплями. Там кто-то есть, и этот кто-то не дышит, потому что ему не нужно дышать. Мертвым не нужно дышать. От изголовья тянуло еле заметным холодком. Дамиан хотел подняться и посмотреть себе за спину, но ему не хватило на это мужества. Между тем тень за его спиной шевельнулась — Дамиан почувствовал это всем телом, могильный холодок коснулся его волос, лица и пробежал по одеялу. Пот со лба покатился на подушку, и дрожь снова охватила его: над Дамианом склонилось лицо колдуна.

Колдун смотрел молча, наклонив голову набок, словно хотел что-то разглядеть и понять. Дамиан замер, всхлипнув, но не посмел зажмурить глаза. На губах колдуна проступила легкая, небрежная улыбка, он протянул руку и взял Дамиана за горло: пальцы его впились в кадык, словно клыки зверя. Дамиан хотел закричать,

но только тонко застонал. Холодные сильные пальцы. Мертвец. Сейчас его задушит мертвец и потащит за собой, в огонь, в гудящий, пожирающий тело огонь! И никто не спасет его, никто не услышит его крика! Дамиан попытался раскрыть рот, но только беспомощный хрип сорвался с губ. Колдун улыбнулся снова, разжал руку и сказал — тихо-тихо, одними губами:

— Ты скоро умрешь.

И от этих его слов судорога пробежала по всему телу Дамиана, и он провалился в черное небытие — наверное, это был сон.

Проснулся архидиакон задолго до рассвета — его мучила боль. Он не помнил приснившегося кошмара и не хотел думать о смерти. Несмотря на то, что солнце еще не встало, очевидно, уже наступило утро: за окном слышались голоса, в соседних домах мычали коровы, хлопали двери и крышки колодцев. Страхи исчезли, растворились в утренней суете села, осталось только смутное беспокойство, словно что-то было не так.

Рана на шее пульсировала и не давала покоя. Надо же, как этот мерзавец умудрился его укусить! Такие раны всегда заживают долго. Певчий, наверное, не доживет до того дня, когда Дамиану снимут повязку. Ничего, мерзавец расплатится и за это, с лихвой! Жаль, что он чересчур хлипкок и долго мучить его не удастся — наверняка будет терять сознание каждые пять минут, а потом сдохнет на самом интересном месте.

Авва заворочался на жесткой лавке и засопел, просыпаясь. Дамиану не хотелось подниматься — слишком рано, дружки еще спят, и авва собираться в обратный путь будет долго, в то время как ему самому нужно всего несколько минут. Он прикрыл глаза и сделал вид, что еще спит, когда авва сел и опустил ноги на пол.

— Дамиан, — позвал отец-настоятель, — Дамиан, проснись.

Голос аввы был недовольным и ленивым. Архидиакон хотел и дальше притворяться спящим, как вдруг непонятная тревога заставила его открыть глаза.

— Дамиан, оглянись, — устало сказал авва и показал рукой на столб, к которому был привязан певчий. И тут Дамиан понял, что его беспокоило с того мига, как он

проснулся: он не слышал дыхания послушника! Неужели умер? Это было бы подло с его стороны...

Архидиакон вскочил и увидел, что у столба никого нет. Колдун. Это колдун, он приходил ночью, он забрал с собой своего выкорымша! Ноги подогнулись, и Дамиан опустил обратно на постель.

Крусталь!

Но авва уже поднялся и подошел к столу, накрыв крусталь ладонью.

— Слава Богу, на этот раз он не забрал его с собой, — пробормотал игумен. — Нет, Дамиан, ты в последнее время перестал радовать меня своим умом и предусмотрительностью.

— Это колдун, — угрюмо ответил Дамиан.

Авва посмотрел на него сверху вниз, словно на неразумное дитя, подошел к столбу и поднял с пола разрезанные ножом веревки. А потом толкнул вперед незапертую дверь.

— Да ты совсем ум потерял, — покачал он головой, — это не колдун, мой милый. Это Златояр. Только у Златояра есть люди, которые могут бесшумно открыть дверь и потихоньку снять наружную охрану. Выйди, посмотри, может быть, твои дружки еще живы?

Отец-настоятель с силой захлопнул двери и сел за стол, снова накрыв крусталь ладонью:

— Я думаю, не стоит тратить силы на то, чтобы изловить щенка. Пусть его. Зачем нам ссориться с князем по пустякам?

— По пустякам? — взорвался вдруг Дамиан. — Авва, ты меня удивляешь! Да завтра половина послушников снимают кресты и разбегутся из обители в разные стороны!

— Нет, Дамиан. Не разбегутся. Чем они будут жить? Этот юноша никогда не останется голодным, а кому нужны никчемные, ничего не умеющие монахи? Нет, они не разбегутся.

— Я поеду к князю, — мрачно ответил на это Дамиан.

— Ну съезди. Постучись в запертые ворота — тебе их даже не откроют. Я пока буду собираться.

— Авва... Дай мне крусталь. Скоро взойдет солнце, и я буду говорить с князем совсем по-другому.

— Нет, Дамиан. Это глупо и недальновидно. Я давал согласие только на Пельский торг, и лишь потому, что

никто из поселян не понесет в Новоград весть о том, какая сила нам принадлежит.

Внутри у архидиакона и так кипело раздражение, а этот высокомерный отказ и вовсе вывел его из себя.

— Авва, дай мне хрусталь, — повторил он угрожающе. — Он принадлежит не только тебе. Или ты хочешь, чтобы я забрал его силой?

Игумен вскинул глаза, и нехороший огонек в них заставил архидиакона поморщиться.

— Ты угрожаешь мне, Дамиан? — с улыбкой спросил авва.

— Нас двое здесь, — вздохнул архидиакон, — давай не будем выносить сор из избы. Дай мне хрусталь, и...

Дверь с шумом распахнулась, и в избу зашел брат Авда. Дамиан оглянулся к двери: ему показалось, что Авда нарочно стоял под дверью, подслушивая их разговор. И его шумных шагов по лестнице на крыльцо тоже никто не слышал.

— Там наши на снегу лежат, — сказал он и внимательно посмотрел на лица отцов обители.

— Авда, выйди вон. Займись дружниками, — сухо бросил ему архидиакон.

Но неожиданно Авда не выполнил приказа, захлопнул дверь и выпрямил плечи, словно встал на страже у входа.

— Авда, ты слышал меня? Выйди вон! — Дамиан оскалился и приподнялся.

Дружник не шелохнулся. Его клобук, как всегда задвинутый на затылок, обнажал белый лоб и тенью падал на щеки, и Дамиан снова поразился, как его лицо похоже на выбеленный временем череп. Мертвец. Еще один мертвец! И щеки его никогда не румянит мороз, и руки его холодны и тверды, и, наверное, в груди его не бьется сердце. Мертвецы! Кругом одни мертвецы!

Ему вдруг захотелось вырваться из избы, к людям, к свежему зимнему воздуху! Или Лусской торг весь населен мертвецами? И хлопают дверьми, и набирают воду из колодцев мертвецы?

Это помутнение, непозволительное и неуместное. Дамиан взял себя в руки и посмотрел на свое положение трезво. В противостоянии его и аввы Авда всегда займет сторону игумена. Не стоит обольщаться и убеждать себя

в его преданности. Что ж, надо признать верх за отцом-настоятелем. А остальные дружки? Кого послушают они?

Они послушают Авду — сказал ему внутренний голос. Ворон ворону глаз не выклюет. Все они — вороны, только и ждущие минуты, когда можно начать клевать Дамиана.

Дамиан поднялся и начал одеваться.

— Поедешь со мной к князю, — бросил он дружку. — Постучимся в ворота, которых нам никто не откроет.

Лешек долго бродил по терему в поисках выхода — в отличие от братии, дружина князя ложилась и просыпалась поздно, терем спал, и во дворе никого не было видно, кроме одной девчушки у колодца. Он прихватил у входа чей-то полушубок — день обещал быть морозным. Хорошо, что он не снял сапоги в доме у Невзора, — сейчас бы ему пришлось немало потрудиться.

Калитка закрывалась изнутри на засов, так же как в монастыре. Ее сторожили — в башенке над воротами горели свечи. Но, судя по всему, сторожа спали на посту, иначе бы свечи давно погасили: солнце заглядывало во двор князя и играло на снегу радужными искрами. Лешек вышел на берег Выги, никем не замеченный. Коня он взять без разрешения не посмел.

К торгу вели два пути: один по льду Выги, другой — через лес, пересекая Луссу. Лешек всмотрелся в даль ледяной дороги и увидел всадников, спешивших ему навстречу: наверняка это Дамиан, едет к князю требовать назад своего пленника. Интересно, он взял с собой хрусталь? Лешек благоразумно свернул на лесную дорогу и зашагал вперед. Никому не придет в голову его искать, всем очевидно, что он прячется в княжеском тереме. Но на всякий случай он всегда сможет свернуть в лес и не слишком наследить при этом.

Три версты Лешек прошел не запыхавшись не более чем за полчаса. У него не было никакого замысла, по дороге он ничего придумать так и не сумел и надеялся на удачу. Народу на улицах села было немало: в субботу здесь собирався торг — не только сельчане, но и окрестные жители приезжали торговать. Лешек пробрался к

постоялому двору сквозь толпу — его никто не заметит. В таком шуме и толчее, да еще и поменяв свой полушубок на чужой, он пройдет куда захочет, и ни один монах ничего не заподозрит.

Изба, где ночевали авва с Дамианом, стояла сразу за постоялым двором, и поблизости монахов не было видно, хотя у коновязи стояли две лошади и снег у входа был примят: Лешек вспомнил неподвижные тела оглушенных дружников, пошарил вокруг и выдернул из снега копьё. Что ж, это лучше, чем ничего. Он радучись поднялся на крыльцо, прислушался, но никаких голосов за дверью не услышал. Он приоткрыл двери и тут же наткнулся глазами на авву, сидевшего за столом с ложкой в руках: игумен завтракал в одиночестве. Лешек, привыкший видеть его на праздничных службах в сверкающей ризе и камилавке, на секунду замер: перед ним сидел сторбленный старик, неопрятный и серый, со всклокоченной бородой и круглой лысиной на макушке — в нем не было ни величия, ни внушающей уважение уверенности, ни присущей авве неспешности в словах и движениях. Ел игумен торопливо и жадно, будто боялся, что кто-то застанет его за этим занятием.

Лешек закрыл за собой дверь. Лицо аввы вытянулось от удивления, и похлебка тонкой струйкой побежала по бороде. Еще секунда, и он закричит, призывая на помощь монахов. Только его никто не услышит — монахов рядом нет.

— Тихо, старик, — кивнул ему Лешек и приподнял копьё. — Сиди молча, или я убью тебя.

— А... — протянул авва, словно собирался что-то сказать.

Лешек подошел ближе и осмотрелся.

— Где хрусталь? — спросил он, не увидев его на столе.

— А... — снова затянул авва, все еще не пришедший в себя от изумления.

— Я убью тебя, убью прямо сейчас, ты понимаешь это, старик? Отдай мне хрусталь, и останешься жить. Он не принадлежит тебе.

Авва откинулся на спинку стула — удивление на его лице сменилось страхом. Он не привык ни к таким переделкам, ни к такому обращению. Он слишком долго был аввой, и никогда не был просто стариком, которому

может угрожать молодой и сильный парень. Лешек еще раз оглядел стол и заметил, что левая рука игумена, лежавшая на столе, подозрительно подрагивает и ползет к краю.

— Подними руку, — велел Лешек и приготовился метнуть копьё авве в грудь: он бы не промахнулся, это не трудней, чем бить острой скользкую, шустрюю рыбу. — Ну?

Авва не посмел не подчиниться, прочитав в глазах Лешека свой приговор. Крусталь блеснул в мутном свете слюдяного окошка, Лешек усмехнулся, без страха подошел к дрожавшему игумену и забрал крусталь себе.

— Лови души как-нибудь по-другому, — выдохнул Лешек в лицо отцу-настоятелю, — прощай.

Он вышел из избы, отвязал коня и, запрыгнув к нему на спину, поскакал в сторону зимника, ведущего на Красный ручей. Авва выбежал на улицу вслед за ним, и кричал, и звал на помощь, и, наверное, эта помощь должна была вскоре к нему подоспеть.

Теперь, когда сияет такое яркое солнце, никакая погоня не сможет его остановить. Авва сам подал Лешеку эту мысль, разговаривая вчера с Дамианом: сила крусталя повернется против монахов.

И погоня не заставила себя ждать. Лешек услышал топот копыт за спиной, не проехав и четверти пути до зимовья углежогов. Он оглянулся и увидел, что догоняет его не меньше двух десятков конных монахов, и впереди — он мог не сомневаться — впереди ехал Дамиан, верхом на вороном жеребце. И рядом с ним скакал брат Авда. Отец Авда, на самом деле — отец Авда. И белое его лицо, похожее на череп, сливалось со снегом. А дальше, догоняя монахов, на помощь Лешеку спешили люди князя, и их было больше, еще больше, чем дружников Дамиана.

Лешек, чуя, что его догоняют, остановился на повороте, чтобы солнце светило ему в спину, спешился и поднял крусталь. Радужный свет хлынул на всадников, и они начали прикрывать глаза руками и старались спрятаться от его лучей за шеями своих коней. А кони храпели и не хотели им подчиниться. Лошадь, на которой ехал Лешек, вдруг встала на дыбы, шарахнулась в сторону, словно от дикого зверя, и вырвала повод из рук: ему некогда было ловить коня.

Лешек помедлил немного, собираясь с духом и глотая слюну. И увидел, как Дамиан вырывается вперед, и в руке его зажато копьё, которым он метит Лешёку в грудь.

— Стойте! — крикнул он, но приказ его прозвучал слишком поздно — копьё вырвалось из руки Дамиана и ударило его под ключицу, едва не сбив с ног. Лешек отлетел на несколько шагов назад, но устоял. Ничего. У него есть хрусталь. Боль нарастала постепенно, но Лешек не замечал ее, не хотел замечать.

— Сойдите с коней! — крикнул он, и всадники подчинились. И монахи, и люди князя. Лица их испуганно вытянулись, глаза наполнились отчаяньем, и Лешек рассмеялся, глядя на их беспомощность.

— Замрите! — выкрикнул он и потряс хрусталем над головой. Сила лилась в него с неба вместе с солнечным светом, и он наслаждался этой силой. Они замерли, словно соляные столбы, в тех положениях, что застал их приказ. Кто-то не успел спешиться, застрял ногой в стремени, и лошадь, испуганно заржав, рванулась в сторону: воин с неестественно вывернутой ногой потащился за ней, не издав ни звука.

Лешек рассмеялся снова. Власть... Как это, оказывается, сладко!

Он опустил глаза и с удивлением увидел копьё, торчавшее из-под правой ключицы. Ничего себе! Лешек крепче взялся за древко и с силой рванул его из своего тела. Хлынула кровь, но это не испугало его. Он оперся на копьё, как на посох, и поднял голову.

— Ну что? Куда вашему Юге до нашего Змея? — он захохотал, на этот раз злорадно, и сам испугался своего смеха. Змей. Лешек однажды чувствовал в себе бога, и теперь другой бог говорил с людьми его устами. Бог подводных глубин и мрачных подземелий, гневный и жестокий. И людишки, замершие перед ним, показались мелкими и жалкими, какими им и положено быть.

Кони рвали поводья из рук воинов и в испуге разбегались по сторонам. Морозный воздух взвевал и дрожал, солнечные лучи падали на землю косыми струями, подобно тяжелым стрелам, мир вокруг напрягся, натянулся, словно сведенный судорогой мускул, и замер в ожидании страшного конца.

Это война бога против людей. Гневного бога. Вот они, беспомощные, застыли, и смотрят с ужасом, и не смеют шелохнуться. Потому что Лешек (а на самом деле Змей) отдает им приказы. И если он пожелает, все они рухнут на колени и поползут целовать ему ноги. Как вчера целовали ноги своему Юге.

Против хитрости и лжи чужого ревнивого божка — мощь Змея. Против сухого ветра далекой пустыни — холод глубоких северных озер. Против золоченых дворцов Царьграда — глухие леса и топкие болота.

Лешек (Змей) изливал на людей свою власть, и они трепетали перед ним так, как не трепетали перед Югой. Темная сила бога, настоящего бога — не жалкого тщеславного божка — повисла над зимником, и слезы лились по щекам воинов, закаленных в боях.

Это война бога против людей. Только в одном колдун был неправ: никогда Змей не захочет храмов и песнопений свою честь. Сила не нуждается в лестях. Силе не нужны доказательства преданности и потоки слов любви — она возьмет свое сама, когда и как захочет. И никогда Юга не создаст ничего подобного хрусталию: Лешек (Змей) знал это точно. Тщеславный божок будет являть миру свои смехотворные чудеса, но никогда не обретет силы северных богов.

— Ну что? — снова спросил Змей у содрогнувшихся воинов. — Сравнили? Поняли разницу? Жалкие твари! Вместо того, чтобы уподобиться богам, вы предпочли уподобиться червям! Ползайте и дальше, если вы больше ни на что не способны!

Лешек испуганно прикрыл рот рукой. Это не его слова. Это не его сила, не его власть — сладкая власть над своим извечным врагом. Это война бога против людей, гневного бога. Змей купил колдуна, купил способность исцелять болезни и мгновенно затягивать раны. И колдун не смог отказаться от подарка.

Лешек медленно опустил хрусталь на лед и отступил на шаг. Нет. Он не хочет этой силы. Он не хочет этой власти. Она слишком велика для него, она раздавит его своим весом, превратит в бессловесное орудие Змея. Он пел людям песни, и они плакали вместе с ним. А теперь они плачут, глядя на него, и боятся его, и готовы целовать ему ноги, а он смеется им в лицо. И говорит с ними

голосом бога — темного бога подводных глубин. Нет. Так нельзя. Это война бога против людей, это нечестно. Охто говорил, что не применил бы этой стороны хрустала даже для спасения своей жизни. Знал ли он о том, как это будет? Знал ли он, какая сила таится в этом кусочке кварца? И куда обратится эта сила, если попадет в руки Дамиана? Или Златояра? Или Невзора?

Голос волхва, соблазняющий, завистливый, вдруг зашептал ему на ухо: «Ты станешь великим пророком, мальчик, и ты будешь решать, как ему поклоняться. Возьми хрусталь и иди по земле, ты покажешь всем, на что способны северные боги, когда они рассержены!»

Лешек качнул головой, стяхивая наваждение. Охто не захотел стать пророком Змея. Охто лечил людей.

— Я не хочу быть пророком, — ответил Лешек тихо. — Я и так расскажу людям о богах.

Войны богов не будет, Юга не примет вызова Змея, он спрячется за спинами людей. И бог подводных глубин сочтет их в бесплодной попытке добраться до своего врага.

Лешек поднял копьё и посмотрел в полные слез глаза Дамиана. Мсть? Гневный бог в нем кричал о мести, гневный бог готов был наказать убийцу, беспомощного, рыдающего убийцу. А Лешек? Что мог Лешек? Он не смог даже перегрызть ему горло, только укусил...

Это не сложнее, чем бить острой скользкую, шустрюю рыбу.

Он размахнулся и снова посмотрел Дамиану в глаза, ощущая острое наслаждение от его отчаянья, ужаса и бессилия, а потом ударил острием копья в центр хрустала. Осколки осыпались в снег шуршащей шелухой — чешуей Змея.

— Прости меня, темный бог, — выдохнул Лешек, — ты сделал все, что мог. Но такой помощи мне не надо.

Боль от глубокой раны сразу засосала под ключицей, и кровь потекла с новой силой. Он выронил копьё и прижал руку к ране. Воины все еще стояли неподвижно, но Лешек знал: скоро они придут в себя. Может быть, он еще успеет уйти?

Вокруг расстелился Большой Ржавый мох, гладкий и пустынный, только редкие деревца торчали из-под снега и не могли укрыть одинокого путника от чужих глаз.

Лес чернел по правую руку в полуверсте от зимника, и Лешек, пожав плечами и осмотрев унылую картину, развернулся и медленно побрел в его сторону. Голова кружилась, и снег слепил глаза. Никто его не догонял.

Он дойдет до леса и снова станет свободным. В лесу никто не станет его искать — зачем монахам жалкий певчий? Кровь капала на снег, ноги по колено в снегу заплетались, и Лешек шагал вперед из последних сил. Где же его удача? Наверное, он был неправ. Ну и пусть.

Он не сразу заметил, что рядом с ним идет колдун.

— Только не останавливайся, малыш, — сказал он.

— Охто, я так устал... — проворчал в ответ Лешек.

— Иди. Доберись до леса, хотя бы до леса, а там — Выга и Ближнее Замосье, люди помогут тебе.

— Охто, я разбил его, ты видел?

— Видел. Мне жаль, но я с тобой согласен.

— Мне тоже жаль, — вздохнул Лешек.

Он упал в снег лицом и лежал несколько минут, переводя дыхание.

— Малыш, поднимайся, — сказал колдун. — Ты замерзнешь, если не будешь идти.

Лешек угрюмо кивнул и медленно, неуклюже встал на ноги — рана болела, но кровь перестала течь, ее остановил холод. Болото закачалось перед ним, когда он выпрямился, и хотело снова уложить в снег, но Лешек уже двинулся вперед. Он дойдет до леса и тогда немного отдохнет. Он не спал почти трое суток, и теперь сощуренные солнцем глаза слипались и голова падала на грудь.

Лес встретил его безмолвием и покоем. После двух дней непогоды мороз ударил резко и сильно и прочно заковал ветви деревьев в иней. Неподвижные синие тени на снегу сомкнулись за спиной, солнце перестало нещадно жечь глаза, и Лешек вздохнул с облегчением: теперь его никто не увидит.

— Не останавливайся, малыш, — повторил колдун, — это еще не все.

— Охто, я больше не могу, мне так больно, — ответил Лешек, всхлипнув.

— Иди, малыш, иди вперед. Дойди до Выги, сегодня торг, по реке поедет много людей.

Лешек кивнул и взялся рукой за оранжевый ствол тонкой сосны — может быть, она даст ему немного силы?

Нет. Мороз крепко держал в кулаке все вокруг, и Лешек не почувствовал в дереве ни капли жизни.

Он шагнул вперед, но споткнулся и снова рухнул лицом в снег. Боль и холод немного разогнали сонливость. Лешек протер снегом глаза и со стоном поднялся.

Он падал еще несколько раз и лежал в снегу, надеясь чуть-чуть передохнуть, но колдун заставлял его вставать и двигаться на запад, к реке. Сквозь стылый, безжизненный лес, мимо кружевных заиндеветших ветвей, по глубокому снегу. Никто не станет его искать в лесу, он никому теперь не нужен. Монахи могли бы догнать его, пока он шел по болоту, но теперь — нет, они поленятся ради него слезать с коней.

Лешек упал снова, поднялся и упал опять — белые кружева множились и водили перед глазами хоровод. Это бесполезно. На то, чтобы подняться, уходит столько сил!

— Малыш, совсем немного. Осталось совсем немного, — уговаривал его колдун, и Лешек пополз вперед.

Ползти было тяжелее, чем идти. Рана под ключицей застыла от холода и не горела, а мучительно ныла, выворачивая душу, — правой рукой Лешек вообще не мог пошевелить. Если бы не уговоры колдуна, он бы давно сдался: в голове его мутилось, пальцы посинели и потеряли чувствительность, лицо жгло и кололо острыми льдинками, прятавшимися в снегу. Лешек смотрел вперед, и стволы деревьев двоились в глазах. Холод. Холод подкрадывался к телу, вился над головой, заползал под полушубок скользкими змейками, хватал за колени. Скоро он доберется до сердца и стиснет его в ледяном кулаке, выжимая жизнь.

Лешек не сразу понял, что просвет между деревьев — это река. А когда понял, захотел встать, но ноги заковали так сильно, что не послушались его. Он прополз еще несколько саженей и решил немного отдохнуть, перед тем как подняться. Колдун отговаривал его и умолял ползти дальше, но Лешек только всхлипнул в ответ — он вдруг понял, как хорошо лежать в снегу, как мягко, словно на перине. И солнце пробивается сквозь расступившийся лес и так сладко прогревает спину. Ему надо всего несколько минут, и он сможет идти. Всего несколько минут.

Лешек положил мягкий рукав полушубка под подбородок и повернул голову набок. Несколько минут. Ему некуда спешить, за ним никто не гонится. Крусталья больше нет, а без крусталья он никому на этом свете не нужен. Кроме колдуна.

— Охто, не уходи, хорошо? — шепнул он, закрывая глаза.

— Я скоро вернусь, малыш. Я попробую позвать кого-нибудь, — грустно ответил колдун и направился к кромке леса.

За деревьями был виден высокий берег реки, только не заснеженный, а летний, красный, словно ягодный кисель, и молочная река Смородина катила белые воды мимо засыпавшего Лешека, и вокруг расцветали зеленые сады, и мама в легкой вышитой рубахе махала ему рукой с противоположного берега.

— Он не дошел до реки каких-то десяти сажений, — с довольной улыбкой сказал больничному Дамиан, — но когда мы до него добрались, он уже окоченел.

Лытка сжал кулаки и уткнулся лицом в стену.

Дружина вернулась в Пустынь в воскресенье вечером, лица братьев были хмурыми и усталыми. О том, что послушник Алексей замерз в лесу, как того и следовало ожидать, насельникам объявили на повечерие, авва проклял его и обещал плохой конец и геенну огненную ему и всем, кто станет хулить Божье имя. Тело язычника не стали предавать земле, а еще в Лусском торге бросили собакам, как оно того и заслуживало. Ярыш плакал прямо на службе, и Миссаил догадался увести его из церкви, с глаз Дамиана и иеромонахов.

И только на следующее утро Паисий рассказал Лытке, что Дамиан ранил Лешека копьем, но тот все равно успел разбить хрусталь и ушел в лес, истекая кровью. Дружников же задержали люди князя и навязали им неравный бой, поэтому догонять Лешека отправились только к вечеру и по следам легко нашли его тело.

Лытка впервые за много лет не нашел утешения в молитве и, успокаивая Ярыша, сам не верил в свои слова о том, что Господь Лешека простит и примет к себе в небесные чертоги. Он пошел к больничному по привычке и с горечью вспоминал о том, как этой же дорогой они ходили с Лешekom вдвоем, и как Лешек был ласков с больными, как неизменно улыбался им, и какие знал верные средства для их исцеления. Он вспомнил, как Лешек спас мальчика, упавшего в колодец, несколько не испугавшись ледяной воды, и как потом дрожал и не мог согреться.

Что для Господа важнее? Какая чаша весов перевесит — его богохульные речи или его добрые дела?

В больнице хватало работы: несколько вернувшихся дружников были ранены людьми князя, и больничный сбивался с ног, поэтому помощь Лытки пришлась ему как нельзя кстати. Работа отвлекла от отчаянья, а когда в больницу заглянул Дамиан, Лытка нашел в себе силы если не для прощения, то хотя бы для равнодушного взгляда в его сторону.

— Посмотри и перевяжи мне шею, — велел ойконом Пустыни, — что-то мне не нравится эта рана.

Больничный покорно оставил на Лытку дружника, которого кормил завтраком — у того были перебиты обе руки, — и занялся архидиаконом.

— Что это, Дамиан? — больничный снял старую, грязную от времени повязку.

— Мерзавец укусил меня. Ха! Хотел перегрызть мне горло, да оказался слабоват.

Лытка замер, и слезы едва не полились у него из глаз: только в отчаянье Лешек мог кинуться на своего убийцу! Он не испугался, он защищался до последнего! Он разбил хрусталь! Значит, гибель его не была напрасной. Господь должен простить его, за этот подвиг Господь должен его простить!

— Плохая рана, Дамиан. Как ты себя чувствуешь?

— Преотлично, — хмыкнул архидиакон и пустился в долгий и хвастливый рассказ о преследовании беглеца.

Лытка замер, уткнувшись в стену, и шептал слова молитвы: он хотел, чтобы Господь укрепил его и не позволил ненависти вырваться наружу. Надо уметь прощать своих врагов, прощать, а не мстить им за убитых. Но как же это, оказывается, трудно!

Вечером, после ужина, Дамиан снова пришел в больницу. Только на этот раз он уже не был доволен собой: тени лежали вокруг его мечущихся глаз, он озирался по сторонам и вздрагивал от каждого резкого звука. И Лытка знал, что вызвало эту перемену: авва объявил об изменении в уставе обители — теперь к должности ойконома добавилась должность воеводы Пустыни, и должность эту отдали отцу Авде. Отцу, а не брату, — это и подкосило архидиакона, и без того сломленного потерей хрусталя. Его утренняя похвальба была не более чем попыткой сохранить лицо перед братией, теперь же и на это у него не осталось сил.

Больничный осмотрел его рану на шее и покачал головой:

— Если бы колдун был жив, я бы послал за колдуном, — сказал он тихо и подозревал Лытку.

Рана на кадыке архидиакона, совсем небольшая по размеру, опухла, и кожа вокруг нее приобрела бледный водянистый цвет, более подходивший покойнику, а не живому

человеку. Из раны сочилась зловонная зеленоватая слизь, а под обеими челюстями набухли плотные желваки.

— Оставайся на ночь в больнице, Дамиан, я привяжу рану солью и буду часто менять повязки, — вздохнул больничный.

— Солью? Это все, что ты умеешь? — фыркнул архи-
диакон.

— Колдун знал другие способы... — уклончиво отве-
тил больничный.

— Нет уж, здесь я не останусь, спать я пойду к себе. Пусть он, — Дамиан ткнул пальцем в Лытку, — идет со мной и меняет повязки.

Лытка пожал плечами — молиться он может и в келье архидиакона, а уход за больным убийцей станет испытанием смирения и кротости.

Ночью Дамиану стало плохо: его начал бить озноб, сменявшийся потом и жаром, и Лытка то кутал его в одеяло, то, наоборот, менял ему белье и обтирал влажным полотенцем. И молился. Молился, чтобы Господь послал ему силы выдержать испытание. Но, глядя на распятие, видел огромные сухие глаза Лешека и яблочную кашицу, стекавшую на подушку из уголка рта. Он не мог не вспоминать, как держал зубами руку архидиакона и как монахи не сумели сразу разжать его стиснутых челюстей. Дамиан убил Лешека во второй раз. Господь спас тому жизнь, а Дамиан убил его снова. Как будто довершил начатое когда-то.

— Что? Молишься за упокой души своего безбожного дружка? — хмыкнул Дамиан, и в темноте блеснули зубы, оскаленные в усмешке.

— Я молюсь за твоё выздоровление, — кротко ответил Лытка. — Чтобы Бог послал мне силы не убить тебя.

— Вот как? Ну-ну, — снова усмехнулся архидиакон. — Убийство — страшный грех, юноша. Я знаю это лучше тебя.

— Да, отец Дамиан. Тебе это должно быть известно лучше, чем мне, — оскалился Лытка в ответ.

— Ты всегда был волчонком, парень. Еще в детстве, помнишь? Когда авва поймал тебя на подслушивании? Ты и тогда огрызался, ты и тогда не боялся меня, правда?

— Я всегда тебя ненавидел, — кивнул Лытка, — а теперь ненавижу еще сильнее.

— Скажи мне, почему ты, волчонок, вдруг решил стать агнцем? Зачем?

— Тебе этого не понять, отец Дамиан.

— Да, мне этого не понять. Я и сам был волчонком, но я стал волком, а ты?

Лытка промолчал и, повернувшись к распятию, обратился к Богу.

Весь день Дамиан провел в горячке, Лытка же исправно заходил к нему каждые два часа, менял повязки, поил малиновым настоем, вытирал ему пот. Лицо архидиакона побледнело до синевы, а шею раздуло так сильно, что опухоль мешала ему дышать. Больничный велел прикладывать к ране лед, и Лытку освободили от службы, чтобы лед на горле архидиакона никогда не таял.

К ночи Дамиан начал впадать в забытие и бормотал что-то еле слышно, и хрипел, и вскакивал с постели: Лытка терпеливо укладывал его обратно и сидел на кровати, придерживая его плечи прижатými к подушке.

После повечерия больничный призвал в келью архидиакона семерых иеромонахов во главе с аввой, и святые отцы соборовали несчастного. И когда на лоб ему лег Благовест, архидиакон вдруг расплакался, держась руками за шею, и сквозь слезы попросил:

— Позовите колдуна. Пожалуйста, позовите колдуна. Ну что вам стоит?

Авва кашлянул, а иеромонахи возвели очи горе, делая вид, что не слышали его слов. Лытка, уже привыкший к тому, что Дамиан бредит, вдруг почувствовал острую жалость: Господь услышал молитвы, ненависть ушла из сердца.

Но когда иеромонахи молчаливой цепочкой покинули келью, унося с собой горящие свечи, настроение архидиакона изменилось. Он снова начал мерзнуть, и подтягивал одеяло к подбородку, и неотрывно смотрел в темный угол кельи, около окна, и подбородок его дрожал так, что стучали зубы.

— Свечи. Зажги свечи, — прохрипел он Лытке. — Он там, я знаю, он там... Ждет, когда ты уйдешь.

— Там никого нет, отец Дамиан, — вздохнул Лытка.

— Зажги свечи, и ты увидишь. Он там, я вижу его. Он пришел за мной. Он хочет утащить меня в огненную бездну.

— Ты говоришь о враге рода человеческого? — сочувственно спросил Лытка: вот кого Дамиану сейчас следовало опасаться более всего.

— Нет! Конечно нет! Это колдун, колдун!

Лытка зажег свет, чтобы архидиакон мог убедиться в том, что в келье нет никого, кроме них двоих. Но тот не успокоился и снова начал плакать, тонко подвивая, как маленький волчонок, которым он когда-то был. И когда Лытке пришло время спуститься за льдом, Дамиан схватил его за руку и зашептал:

— Не уходи, слышишь? Не надо этого льда. Хочешь, я покаюсь тебе? Тебе одному?

— Не надо, я даже не монах еще, я не могу принять исповедь, — испугался Лытка.

— Что исповедь — это пустой звук. Я покаяться хочу, — Дамиан закашлялся и схватился за горло, — впрочем, и покаяние — пустой звук. Все напрасно... Ничего нет. Ничего не будет. Бог — он обманул меня, обманул. Обвел вокруг пальца. И тебя он тоже обманул, он обманул нас всех.

Архидиакон расплакался, и слова его превратились в бессмысленное бормотание. Лытка сходил за льдом, а когда вернулся, застал Дамиана сидевшим на постели и прижимавшим колени к груди. Его ввалившиеся глаза горели огоньком безумия, он указывал пальцем в угол комнаты и хрипел.

Лытка уложил его, поменял повязку и сел в изголовье, стараясь успокоить. Дамиан прижался лицом к ногам Лытки и судорожно схватился за его руку.

— Он ждет меня, — плакал архидиакон. — Его выкормыш нарочно укусил меня, чтобы колдун мог меня забрать.

По спине Лытки пробежала дрожь.

— Я смеялся над ним, я плевал на него и вытирал об него ноги. А он нарочно... укусил... Чтобы я не смеялся. Я не смеюсь, не смеюсь! Все? Тебе достаточно? — Дамиан приподнялся и взглянул на подсвечник. — Или еще мало? Что вы хотите от меня? Что я вам сделал?

— Ты убил их, Дамиан, — ответил Лытка.

Архидиакон повалился на подушку, несколько минут бормотал что-то неразборчивое, а потом закричал:

— Тела-то не нашли! Не нашли тела-то! Вранье, все вранье! Вся жизнь — вранье. Место, где он лежал, нашли, но тела-то не было! Авва врет мне, я вру авве. Мы вместе врем братии. Авда станет настоятелем, вот увидишь. Когда старый хрыч подохнет, Авда станет его преемником. Он тоже жрец.

Лытка терпеливо слушал бред архидиакона, но тот вскоре перестал говорить и только хрипел, снова

показывая пальцем в угол, и тряся, и пытался подняться. И тогда Лытка подумал, что, чего доброго, архидиакон умрет без причастия. Он взял на себя смелость разбудить авву, и тот безропотно спустился вниз, взяв с собой потир и облачившись в епитрахиль поверх подрясника.

Дамиан сидел на полу, возле кровати, он сорвал повязки и держался руками за шею, лицо его покраснело, и каждый вдох сопровождался судорожным хрипящим стоном. Но едва увидев авву, архидиакон замотал головой и замахал руками, не в силах выговорить ни слова. Авва осенил себя крестным знамением и, не обращая внимания на сопротивление, накрыл голову Дамиана епитрахилью, одними губами прошептал обрывки разрешительной молитвы, зачерпнул из потира преждеосвященных даров и попытался сунуть их в рот Дамиана. Но тот забился и захрипел, и в глазах его плескался такой ужас, что Лытка отступил на шаг.

— Что? Не хочешь? — авва захихикал. — Помоги мне, юноша, поддержи его. Даже если отец ойконом в бреду, мы не можем позволить ему умереть, пока он не вкусил плоти и крови Христовой.

Лытка кивнул и взял Дамиана за руки. Тот мотал головой и хрипел, по щекам его бежали слезы, словно авва пытался дать ему смертоносного яда. Авва властно взял архидиакона за челку, запрокинул ему голову и протолкнул серебряную лжицу в рот, раздвигая ею стиснутые зубы.

А на следующий день Лытке приснился сон: молочная река с кисельными берегами, о которой ему в детстве рассказывала бабушка, а на берегу этой реки стоит Лешек и машет ему рукой. И лицо у него счастливое, и румянец играет на щеках, и глаза сияют — большие светлые глаза, которые не помещаются между висков. Лытка проснулся в слезах и хотел помолиться за упокой его души, но вдруг ему в голову пришла радостная и запретная мысль: а что если колдун не соврал? Что если он и вправду ждал Лешека на реке Смородине, у Калинова моста? Эта мысль теплой волной затопила грудь, и Лытка не стал ее прогонять.

Молодой послушник Виссарион, попросту — Вешня, пришел в монастырь по своей воле, когда два неурожайных года подряд породили в деревнях небывалый доселе голод. Он был счастлив уже тем, что его приняли в стены обители, и старался постичь монастырскую жизнь не за страх, а за совесть. Инокон он стать не рассчитывал, «рылом не вышел», но по сравнению с мытарствами в миру Пустынь казалась ему раем на земле, а монахи — небесными ангелами. Он с радостью хватался за любую работу, желая угодить всем, и вскоре его усердие и опрятность были замечены: вместо скотного двора Вешню отправили в помощники иеродиакона Никодима, который учил его обрабатывать кожи для пергаментов, готовить перья и чернила и другие принадлежности для письма — иеродиакон вел летопись Пустыни.

Вешня, как и все его односельчане, читать не умел. Но, оказавшись рядом с летописцем, не удержался от честолюбивой мысли: если он научится читать и писать, то рано или поздно станет монахом, воляется в число небесных ангелов, перед которыми благоговееет и трепещет. Эта мысль настолько прочно поселилась у него в сердце, что он использовал каждую возможность пополнить свои знания. Разумеется, отец Никодим не спешил обучать деревенского парня, но на вопросы изредка отвечал, да и лекала для красных строк назывались так же, как и литеры, на них запечатленные.

И через долгие месяцы у Вешни стало получаться складывать буквы в слова — с трудом, конечно, медленно, но верно он начал читать летопись Пустыни. Никодима это несколько не обрадовало, но он не стал препятствовать послушнику в его начинании.

Однажды летним утром, после трапезы, по монастырю пронеслась весть: дружина наконец сумела разыскать и повязать волхва — проклятого язычника, который своими гнусными словами порочил светлое имя Бога, кощунствовал, путешествуя от деревни к деревне, и смущал народ, надеясь ввести его в грех и толкнуть к врагу рода человеческого.

Событие для обители было радостное, и все насельники с нетерпением ожидали, скоро ли волхва доставят в

Пустынь и предадут заслуженной казни. Поэтому, когда на следующий день ворота распахнулись и во двор ввели волхва, весь монастырь высыпал на него посмотреть. Вешне повезло, он помогал глуховатому отцу Никодиму слушать и запоминать, поскольку о казни волхва, несомненно, следовало сделать запись в летописи Пустыни. Так он и оказался в первом ряду и мог рассмотреть и расслышать все происходящее.

Волхв был вовсе не стар, по виду — моложе отца Никодима, которому недавно сравнялось пятьдесят пять лет. И больше всего Вешню поразили его глаза — ясные, широко открытые, молодые. Волхв с любопытством осматривался по сторонам, словно не на казнь его привели вовсе, а на прогулку, и хмыкал в белую, аккуратно постриженную бороду. Кроме загорелой кожи, белым он был весь: выбеленные временем волосы, белая рубаха, белые штаны, белый кожаный пояс. Волхв уверенно ступал босыми ногами по двору, и Вешне казалось, что этим он оскверняет святость обители. Его худые, тонкие руки за спиной стягивала веревка, но плечи все равно оставались расправленными, и голову волхв держал высоко поднятой, стараясь смотреть на братию сверху вниз.

Костер давно ожидал его, и монахам оставалось только привязать волхва к толстому столбу и зачитать обвинения, которые и так были хорошо известны всем насельникам. Волхву предложили раскаяться в грехах или сказать что-нибудь в свое оправдание, и неожиданно молчать он не стал: голос у него оказался зычным и молодым, он говорил так громко, что его услышал и отец Никодим.

— На краю света, за далекими непроходимыми лесами, меж кисельных берегов течет молочная река Смородина. Там, за Калиновым мостом, на самом краю солнечного зеленого Вырия нас ждут наши прадеды. Мне нечего бояться и не о чем жалеть.

— Ты будешь гореть в аду, проклятый язычник! — не удержался игумен, и братия подхватила его слова.

Отец-настойтель принял из рук благочинного странную деревянную вещь — такого Вешня никогда не видел, но догадался, что это скорей всего те самые поганые гусли, о которых рассказывали монахи. Игумен расколол гусли о колено, струны звякнули беспомощно, и только тогда по

лицу волхва пробежала еле заметная тень, как от неожиданной боли. Расколотые гусли кинули ему под ноги, и отец-настоятель обратился к насельникам с проповедью, которую волхв слушал с легкой улыбкой на устах. словно не ждал его через несколько минут жуткий конец, словно он не боялся ни костра, ни смерти, ни ада, следующего за ней. Кое-кто из братьев не выдерживал и выкрикивал слова проклятия ему в лицо.

Но неожиданно всем пришлось замолчать — от испуга и удивления. Из дальнего угла двора, тяжело опираясь на клюку, к летней церкви шел старый схимник, бывший экономирх обители, отец Ликарион. Более пяти лет никто не видел и не слышал его, с тех пор как он принял схиму и удалился в свою келью навсегда. И, хотя келья стояла в стенах монастыря, о том, что отец Ликарион еще жив, убеждались только по исчезнувшему куску хлеба и пустому кувшину с водой в узкой прорези окна. В сильные морозы подвижник забирал приготовленные для него дрова, но если мороз был не слишком силен, то оставлял их нетронутыми.

Отец Ликарион был очень стар. Его подбородок дрожал, согбенные временем плечи тянулись к земле, босые почерневшие ступни с трудом несли его бременное тело — каждый шаг давался святому старцу великой мукой. Пепельно-серая седина перемежалась с большими проплешинами, длинная борода редкими прядями спускалась на грудь, а синеватая кожа на лице и руках блестела, словно старый, много раз вытертый пергамент. Черная ряса и мантия обратились в лохмотья, сквозь них проглядывал аналав и многочисленные язвы, покрытые мокрым зеленоватым налетом. Правая рука схимника пряталась в обрывках мантии — он держался за левую сторону ребер, словно испытывал сердечную боль. Тусклые старческие глаза, подернутые пленкой, не мигая смотрели на волхва, и Вешне показалось, что старик безумен.

Братия замерла, приветствуя подвижника в едином поклоне, и расступилась, пропуская его к месту казни. Голос схимника скрипел, как ворот старого колодца, но слова его прозвучали осмысленно и четко:

— Авва, позволь мне самому свершить казнь язычника. Я заслужил это долгим и честным служением Богу.

Игумен, удивленно глядя на отца Ликариона, мог только почтительно склонить голову. Отец ойконом, сжимавший в руках давно зажженный факел, протянул его схимнику, и тот отбросил клюку в сторону, не отрывая правой руки от сердца.

Вешня думал, что старик выронит тяжелый факел из рук, но тот стиснул его в кулаке неожиданно крепко и подошел к волхву вплотную, пристально глядя тому в глаза. Черный старик смотрел на белого, и взгляд его был ласков и полон нежности, и Вешня снова решил, что схимник сошел с ума.

— Я сразу узнал тебя, Лытка, — улыбнулся волхв. — Я всегда сразу узнавал тебя, даже со спины.

— Значит, такая моя судьба — трижды пережить твою смерть, — тихо ответил отец Ликарион, — и на этот раз чуда не произойдет. Я услышал твой голос и вышел из кельи, благодаря Господа за твое чудесное воскресение, но я не властен спасти тебя в третий раз.

— Не надо, Лытка, я ничего не боюсь. Я уже не тот маленький Лешек, поверь мне. Не надо меня спасать.

— Ты всегда боялся боли, с самого детства. Иди с миром, лети к своей реке Смородине, к своему колдуну, что ждет тебя на Калиновом мосту. Пусть этот костер станет твоей крадой. Прощай.

Схимник неожиданно выхватил правую руку, спрятанную на груди, и братия ахнула, увидев в ней длинный широкий клинок. И в ту же секунду нож ударил волхва в сердце, заливая кровью руку отца Ликариона и окропляя ею бледное его лицо и черные лохмотья мантии.

— Спасибо, — успел шепнуть волхв, прежде чем обмяк в стягивавших его путах, а черный старик отступил на шаг и швырнул горящий факел ему под ноги. По щекам святого старца текли мутные слезы.

Пламя взвилось вверх в один миг, как по волшебству, и было белым, словно солнечный свет.

ЭПИЛОГ

Он был облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: «Слово Божие».

Откр. 19: 13.

Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным...

Откр. 19: 15.

Порыв ветра захлестнул волосы и отбросил их с лица. Земля, еще зеленая и голубая, серебрилась в дымке предрассветного тумана: она не ждала беды. Вода — чистая и прозрачная — еще струилась в реках; первые лучи солнца тронули облака, и они зарделись, наполняя воздух розовым свечением; лес встряхнулся, умываясь росами; по золотым полям, беременным хлебом, волной прошел радостный вздох, и птичья трель понеслась над землей, возвещая о восходе солнца.

Земля не успела заметить жаркого, сухого ветра на своей груди — она просыпалась, блаженно потягиваясь и жмуря глаза, когда первый тяжелый толчок ударил ее безмятежное тело. Ветер взревел и, словно озлившийся пес, в клочья изорвал ее сияющую туманную накидку.

Бог подземелий и подводных глубин стоял и смотрел на это со стороны, и сердце его, не знающее боли, жаждало мести и истекало ненавистью. Что ему до земли? Что ему до неба, до солнца? Все идет своим чередом! Разве не это было обещано? Разве не к этому шло?

Вот он, Сидящий на престоле, и двадцать четыре старца в белых одеждах лижут ему ноги, и скоро все, кто останется в живых, к ним присоединятся. И Агнец ломает печати одну за другой, и четыре всадника скачут по земле, ведя за собой войны, болезни и предательства. И вопиют души его мертвецов: «Ты обещал, ты обещал им всем лютой смерти, сколько мы будем ждать? Жги их, рви на части, закапывай живыми в землю! Ты обещал нам!» И отвечает им Сидящий на престоле: «Погодите. Вас слишком мало! Пусть они убьют еще немного моих слуг, и тогда чаша моего терпения переполнится».

Черный вихрь, порожденный громовым ударом по земле, выкатился из-за горизонта и взметнулся вверх, опутывая солнце, и сияющий диск накрыло пигментное пятно, поросшее жестким, темным волосом. Он изуродовал солнечный лик, и земля зажмурилась от отвращения и страха. Небо потемнело, и звезды проступили на нем, словно капли холодного пота. Луна не отразила света — он плюнул кровью в ее бледное лицо, и бардовые сгустки ползли по ее щекам. Еще один удар — и звезды осыпались на землю, и небо треснуло, как кожа барабана, и расползлось в стороны, зияя огромной дырой, открывающей ничто.

Отец-Небо и Мать-Земля... Убить отца, чтобы вдоволь надругаться над матерью... Бог подземелий и подводных глубин стоял и смотрел, и по щекам его катились слезы.

Ангел с востока, убедившись, что небо убито, крикнул четверым своим собратьям, чтобы не трогали землю, и бог удивленно вскинул лицо: неужели ошибся? Неужели они пощадят ее?

— Сначала отметим наших слуг, а потом начнем! — весело крикнул ангел.

Кадильница, полная пламени, с грохотом упала на землю, изрыгнув из себя молнии, и по земле пробежала судорога. Ликующий трубный глас разнесся над землей, над которой только что пели птицы, и в землю полетели камни и огонь, смешанный с кровью. Откуда Сидящий на престоле взял столько крови? У кого цедил и где хранил столько времени?

Лес, высушенный пустынным ветром, вспыхнул, и пожары огненными волнами покатались по телу земли. Визжащее зверье металось в огне, рев, ор и топот огласили землю, но бежавшие не находили спасения: огонь падал с неба, и птицы с хриплыми предсмертными криками теряли высоту, перья их вспыхивали ненадолго, и они свистящими факелами валялись вниз. Кровь густыми шлепками орошала пожар, пузырилась и запекалась на теле земли. Смердный чад растянулся там, где только что серебрился туман.

Золотые поля почернели: хлеб — плод чрева Матери-Земли — побили камнями, выжгли огнем и утопили в крови.

Снова взревела труба, и раскаленный камень скатился в море — воды вскипели и превратились в смердящий рыбный бульон, сваренная заживо рыба всплывала со дна кверху брюхом, а потом вода покраснела и тяжелый сладкий запах теплой крови, смешанный с рыбным, спазмом сжал богу горло. Он не боялся крови, он был уверен, что может бестрепетно увидеть море крови... Увидеть — да. Но вдыхать этот запах оказалось выше его сил.

Светящийся шар, отвечая трубному гласу, прокатился над землей, отравляя ручьи и колодцы.

Что еще тебе надо, ты, Сидящий на престоле? Тебе все еще мало?

Орел, каркающий подобно вороне, пронесся там, где только что было небо, обещая людям трех ангелов с трубами. И люди просили у земли защиты, как дитя ищет спасения в материнских объятьях, но она умерла и ничем не могла помочь своим детям.

Бог подземелий и холодных озерных глубин лил слезы и проклинал самого себя. Себя и глупых, несчастных людей, не пожелавших взять в руки его оружия.

Над догоравшим трупом земли ветер нес пепел и запах гари, и торжествующая труба пятого ангела заставила бога вздрогнуть и обхватить плечи руками. Из распоротого брюха неба повалил дым, и из этого дыма на мертвую землю саранчой посыпались чудовища. Нет, они пока не убивали — они лишь истязали людей. Тех, кого ангел не отметил печатью на лбу.

Бог подземелий и холодных озерных глубин вытер лицо и всхлипнул, как маленький мальчик. Многоголосый вой разнесся над мертвой землей. Женщины закрывали собой детей, а мужчины — стариков и женщин, люди корчились в муках, но ядовитые скорпионьи жала не щадили никого. Поначалу они еще держались, еще сохраняли в себе что-то человеческое, но всему есть предел, и вот уже мужчины в страхе бежали прочь, нагоняемые чудовищами-палачами, и матери извивались на земле, забыв про своих визжащих от боли детей, и старухи тонко кричали, закрывая руками лица, и хрипели старики. Они не умирали, нет. Это было бы слишком просто!

Бог подземелий и холодных озерных глубин исподлобья посмотрел на Сидящего на престоле и спросил:

— Нравится?

Сидящий на престоле не ответил — он во все глаза смотрел на землю, и плотоядная улыбка играла на его губах.

— И это за то, что они не пожелали поклониться тебе? Не приползли к тебе на коленях? Ты надеешься, что после этого они полюбят тебя, как родного отца? — бог сплюнул.

Сидящий на престоле не слышал его: крики истязаемых заглушили голос бога.

Но и это не стало концом — Сидящий на престоле долго ждал и долго копил силы. Шестой ангел протрубил, призывая убийц, и всадники на огнедышащих лошадях кинулись избивать замученную толпу — каждого третьего, будь это женщина, старик или ребенок. Кони жгли их горячей серой: кожа надувалась и лопалась, кипела — на лицах, на спинах, на ногах, — и страшные вопли оглашали пространство, которое уже не было землей.

И властитель подземелий, страж смерти и ее слуга, содрогнулся и зажмурил глаза: он видел жестокость, он сам умел быть жестоким, но всякая жестокость должна быть чем-то оправдана! Чем же можно оправдать эту? Жаждой власти? Долгожданной мстью? Зачем?

— Что ты делаешь? — прошептал он еле слышно. — Что ты творишь? Ты — безумец! Алчный, завистливый, ревнивый безумец!

Люди в белых одеждах с печатью ангела на челе смотрели на избиение толпы, и лица их светились гордостью. Они всю жизнь истязали себя милосердием, теперь же сострадание не трогало их сердец. Белые одежды развевались на фоне красно-черных пожарищ и красно-черных язв, оставленных огнем на человеческих телах. Люди в белых одеждах заслужили право смотреть на муки тех, кто не поклонился Сидящему на престоле. Они гордились своим богом, торжеством его потерявшей разум силы!

Бог подземелий и подводных глубин закрыл лицо руками. Поруганная земля лежала у его ног, небо с распоротым брюхом свисало над головой, изуродованное солнце и оплеванная луна... Ярость... Ярость разрывала грудь, выжигала глаза, вскипала на губах раскаленной пеной, и он заревел подобно зверю, и кривые когти царапнули мертвую землю, и крылья взметнулись над гибким чешуйчатым телом.

Ярость изрыгнулась из семи глоток огнем, выплеснулась в пространство: крылатый ящер хотел сражаться, крылатый ящер готов был умереть.

Но Сидящий на престоле не принял боя — у него нашлось довольно слуг, да и что он мог сделать сам? Только лить на землю реки крови: кровь живых, кровь мертвых, кровь рыб, зверей и птиц. Он шевелил пальцем, и десятки слуг, вопия о его могуществе, спешили исполнить приказание, и впереди них стоял архангел с огненным мечом в руках — воевода Сидящего на престоле.

Крылатый ящер напрасно старался дотянуться до престола, напрасно кидался грудью на острия копий, горел в кипящей сере и подставлял головы под огненный меч: ярость его стала отчаяньем. Он был один, один, и горстка измученных людей стояла за спиной, людей, которые, увидев его, обрели тень надежды.

Чешуя раскалилась добела и сияла подобно новому солнцу, и люди плакали от радости, тянули к нему руки, хотели его победы. Он был страшен и прекрасен, как всякий воин, идущий на смерть. Но кто сказал, что боги не чувствуют боли, когда их жгут огнем? Крылатый ящер неистово бился об ошетилившийся копьями заслон, и боль превращала отчаянье в исступление. Если не веришь в победу, остается дорого продать свою жизнь. Он налетал на врагов в белых одеждах, обогранных кровью, он метался меж ними, дышал огнем, но они не умели отступать: не потому что были отважны — они были безумны. Ореол безумия ложился на все, к чему прикасался Сидящий на престоле.

Кожистые крылья, истыканные копьями и обожженные серой, поднимались все тяжелей, и каждый взмах давался ящеру с усилием. Он слышал, как рыдают женщины за его спиной: они поняли, что он не победит. Но они не отступились, они не предали его — люди, которых он презирал, над которыми смеялся, которых проклинал! Горстка людей — вот все, на что он мог рассчитывать, вот все, за что ему оставалось бороться. Жалкие, израненные, потрясенные, убитые горем, они не оставили его. И крылатый ящер черпал в их вере последние силы и бросался вперед, пока огненный меч не разрубил крыло, ломая тонкие кости и разрывая кожу, державшую его наверху.

Он не сразу понял, что падает, — азарт битвы застил ему глаза. Тело, потеряв опору, несколько раз

перевернулось вокруг себя, второе крыло вывернулось и хрустнуло у основания — крылатый ящер комком огня и боли летел вниз камнем, сверкающей звездой, и изломанные крылья не могли удержать падения.

Мертвая земля не смягчила удара — он рухнул на острые скалы и замер, не в силах шевельнуться. Ярость, отчаянье, иступление — на их место пришла тоска. Он не смог. Он, темный бог подводных глубин, он, прежде всемогущий, потрясавший основы движением глаз, падающею валялся на камнях и радовался, что они остужают сжигавшее его пламя.

И опомнились, поднялись другие боги. И была война, и боги, прежде сильные и уверенные в своей силе, против Сидящего на престоле оказались наивными детьми. Когда-то они смеялись над ним, когда-то, считая себя мудрыми, и вели себя мудро. Только у войны другая мудрость. И бог подземелий и подводных глубин мог бы рассказать им об этом раньше, но раньше они не слушали его.

Поздно они поняли, что война эта началась давно: война за души людей. Поздно они догадались, откуда у Сидящего на престоле моря крови. И ужаснулись, увидев его кровавую жатву: подобны созревшим виноградным гроздьям были для него люди, и выжимал он их кровь, как винодел выжимает сок из ягод.

И снова в муках умирали люди с именами богов на устах, и горела в огне богиня любви и плодородия, и бросали богов в озеро кипящей серы, и слетались птицы-трупоеды на пир Сидящего на престоле — пожирать мертвые тела убитых.

Нетрудно было связать поверженного змея и посадить его на цепь. Но пройдет лишь тысяча лет — что для бога тысяча лет? — и освободится змей. И пойдет по земле тайными тропами, собирать новое войско на войну с Сидящим на престоле. И неизвестно, кто в этой войне победит.

Бог мрачных подземелий и подводных глубин потерял щекой о камни своей темницы-бездны и смежил веки: через тысячу лет все будет иначе.

Литературно-художественное издание

ДЕНИСОВА ОЛЬГА ЛЕОНАРДОВНА

ОДИНОКИЙ ПУТНИК

Редактор *Елена Липлавская*

Компьютерная верстка *Ольга Денисова*

Корректор *Елена Липлавская*

Подписано в печать 13.04.2013

Формат 84×108 1/32. Гарнитура «Баскервиль». Отпечатано с готового оригинал-макета по технологии Print-on-Demand. Усл. печ. л. 18,58. Уч.-изд. л. 17.13.

Заказ книг на сайте **www.old-land.ru**

Издательство «Сморода», 2013